

СОДЕРЖАНИЕ

Страница главного редактора3
НЕИЗВЕСТНАЯ КЛАССИКА

Илья Сургучев
Ротонда (роман)..... 5

ПОЭЗИЯ

Антология ставропольской поэзии
Александр Мосинцев
Стихотворения..... 143

Станислав Касперский
Стихотворения..... 231

Наталья Окенчиц
Стихотворения..... 235

Анатолий Шевякин
Стихотворения..... 239

ПРОЗА

Станислав Подольский
Новеллы..... 155

Владимир Крыласов
Сказы ставропольских казаков 187
Новое имя

Наталья Романова
Моёр 213

ПУБЛИЦИСТИКА

Виктор Кустов
Как о хлебе насущном... 243

КРАЕВЕДЕНИЕ

Николай Маркелов
Ужасный край чудес!..... 261

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Вячеслав Головки
М. Е. Салтыков-Щедрин в творческой
судьбе Я. Абрамова 301

Елена Иванова
О детской литературе и "крякающих
комариках" 311

Сведения об авторах..... 319
Главный редактор альманаха
«Литературное Ставрополье»

В. БУТЕНКО



Литературное

Ставрополье

№ 4 (2015)



© Правительство
Ставропольского края



ББК 84 (2 Рос = Рус) 6
УДК 821.161.(470.630)-8
Л 64

Редакционная коллегия:

**И. Аксенов, Н. Блохин, Е. Гончарова, В. Звягинцев,
Е. Полумискова, С. Скрипаль, О. Страшкова,
Т. Третьякова-Суханова,**

**Л 64 Литературное Ставрополье. Альманах. –
Ставрополь. 2015 г. № 4.**

Адрес редакции:

355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.

Тел.: (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Технический редактор: А. Ю. Шаталов

Дизайн, верстка: А. П. Черкашина

Сдано в набор 30.09.2015. Подписано в печать 17.08.2015.

Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Гарнитура «Georgia». Усл. печ. л. 10,0. Уч.-изд. л. 8,26.

Заказ № Тираж 979 экз.

ООО «Полиграфпром», г. Минеральные Воды,

ул. Фрунзе, 33, тел.: 8 (87922) 7-67-17.

ISBN 978-5-905726-25-5

Чувство отчей земли

В сентябре побывал я в моей благословенной Дарьевке, навестил родительские могилки. По дороге, спускаясь с горы в райцентр, слободу Родионово-Несветайскую, взволнованный панорамой степи, разливом садов и узором улиц, невольно подумал: здесь, в этой точке планеты появились на свет не только мы с сестрой, но и наш отец, – и земля эта воистину отчая, коренная. Воображение разыгралось, – интересно, что окружало меня, что ощутил в первую минуту, когда родился майской ночью, накануне лета? Наверное, как обычно в эту пору, небо было звёздным, вдоль берегов Несветая, текущего близ больницы, в зарослях ивняков выщелкивали соловьи, с ближних холмов тянуло теплом и запахами разнотравья (которые и поныне вызывают у меня слезы восторга, ибо навек связаны с памятью о детстве, о родителях), а с околицы доносились обрывки песни загулявших слобожан...

На следующий день узнал я совершенно случайно из разговора женщины, одна из которых оказалась фельдшером «Скорой помощи», что в Родионовке закрыли роддом, и рожениц со всего района возят теперь в Ростов, до которого из дальних сел не менее восьмидесяти километров. Тот, кто проезжал по этой двухполоске, разбитой большегрузами, сплошь в заплатках и колдобинах, может представить, что ощущает женщина, у которой начались родовые



**Страница
главного
редактора**





схватки! Более того, на въезде в областной центр сходятся три трассы, и заторы там бывают несусветные, сквозь которые никакая спецмашина с «мигалкой» и звуковым сигналом не пробьется. К тому же, проезд по городу-гиганту займет больше часа, – знаю это на личном опыте.

Вся ответственность за такую «заботу» о молодых жительницах района, конечно, лежит на местной администрации и областном министерстве здравоохранения. К сожалению, тенденция по закрытию сельских лечебных учреждений распространяется по всей стране. На встрече с медиками наш президент призвал власть предрержащих к бережному отношению к людям, которые должны получать своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Но, как говорится, до бога высоко, а до царя далеко...

Крутые перемены продолжают на селе. Сельхозугодыя выкуплены чужаками, и жители сёл выживают, кто как может: одни ездят маршрутками на работу в Ростов, за десятки вёрст, другие открывают магазинчики, третьи разводят скот, четвертые ищут заработки в Москве и на «северах». И этот процесс, по всему, необратим. Хуторяне утрачивают чувство сроднённости с землей, на которой жили и трудились предки. Из душ уходит «чувство родины», сопричастности к старшим поколениям. Да, урожаи зерна, благодаря новым технологиям, высоки. А кто думает о великих духовных и нравственных потерях казачьих потомков, о том, что происходит в их сердцах?

Теперь вот и роддом закрыли. И у моих будущих земляков местом рождения станет отныне город Ростов-на-Дону. А как же с «малой родиной»? На ней, выходит, перестанут рождаться люди?

Без чувства родной земли не может быть человек счастлив и духовно полноценным. И дело не только в почитании старших, в канонах православия. Отчуждаясь от традиций и отчего края, мы исподволь теряем и ощущение Отчизны, своего народа. Это – путь в духовное и душевное обнищание, в никуда!

Жаль, что земляки мои оказались столь безмолвны и смиренны. Убежден, что долг каждого, кто беззаветно любит страну, противостоять бездушию и произволу чинуш. Я – откровенный бунинец и шолоховец, приверженец писателей, кто своим творчеством увековечил эту простую истину.

Ротонда

Роман

1. Антверпенские приключения

Я знаю толк в дожде. Посмотрев на небо, обложившее Антверпен сизым куполом, разглядев стеклянных человечков, танцевавших по асфальту улицы, я понял, что этому царствию конец не скоро наступит. Дождь зарядил, самое меньшее, дня на два.

Сзади меня был вокзал. Прямо – линия табачных, меняльных и ювелирных лавок. На вывесках непонятные слова, в которых много буквы «йот». Чувствуется город богатый, заваленный деньгой, старый: щеки у людей двойные, оседающие складками вниз, и если материал, из которого сделан обыкновенный средний человек, стоит на рынке, по ученым подсчетам, рубль восемь гривен, то антверпенца меньше чем за два двадцать не купить.

Вот вспыхнули огнем буквы, стоящие вертикально одна на другой: Hotel. Пришел: ход в отель через пивную. Длинные столы, груды кружек с гербами,



**ИЛЬЯ
СУРГУЧЕВ**

***Неизвестная
классика***





пахнет табаком, пивом и сыром. Хозяйка заговорила со мной на французском языке, похожем на латинский. Скоро я очутился в небольшой комнате без проточной воды. Зато у подножия камина была маленькая газовая печь, которую я сейчас же затопил и которая быстро накаляла огнем свой радиатор. От башмаков лишь пошел пар.

Вскоре в комнату, легко постучав, вошла миловидная и ласковая девушка, которая спросила, не хочу ли я с дороги чаю.

– У нас есть три сорта, – сказала она, – китайский, цейлонский и мандариновый.

Я спросил цейлонского – и минут через пять она принесла мне его с ромом и лимоном, сама налила чашку и, пока я его с действительным наслаждением пил, стояла против меня и улыбалась. Я спросил ее, не хочет ли и она чаю, – девушка улыбнулась и ответила, что попозже с удовольствием, но сейчас она занята. И, приветливо махнув рукой, исчезла.

Когда я уходил, хозяйка удивилась, что у меня нет непромокаемого плаща.

– Вам плохо придется в Антверпене, – сказала она, – здесь сейчас период дождей. Мы вам дадим зонтик. Он не в полной исправности, но все-таки не каждая капля капнет.

И действительно, зонтик был похож на крышу римского Пантеона: в самом центре его была круглая дыра.

Обедал я в русском ресторане «Добро пожаловать». Когда я спросил водки, то хозяин прежде всего открыл окно на улицу и минут пять смотрел то налево, то направо – и потом сказал:

– За продажу сего напитка меня на днях женили на пять тысяч. В Антверпене можно пить только пиво.

И вдруг, как у фокусника, у него неизвестно откуда в руках очутилась бутылка с разведенным спиртом. Он дал мне выпить, я выпил, и мгновенно же со стола с такой же таинственностью пропала рюмка.

Я спросил, много ли русских в Антверпене.

Хозяин ответил:

– Раз-два да и обчелся.

– Зачем же тогда ресторан?

– А как же без ресторана? – ответил хозяин и заявил:

– Советую вам пойти сегодня во французский театр. Идет «Веселая вдова». Если составите компанию, то и я с вами соберусь.

Ровно в восемь часов он потушил огонь, наложил на дверь висячий замок, и мы пошли в театр. Тихий дождь делал свое дело, и было странно, как в такой сырости могут гореть веселые рекламные огни.

– Я не люблю кинематографа, – сказал хозяин. – Пока он молчал, его считали великим. А когда заговорил, то оказалось, что он – болван.

Пошли с актерского хода. Длинный сводчатый коридор. В какой-то комнате было много людей в смокингах. Оказалось: музыканты. Хозяин крикнул:

– Василий Иванович, можно вас на минутку?

И сейчас же от группы отделился человек, чрезвычайно обрадовавшийся хозяину. Он жал ему руку, хлопал по плечу, обнимал за талию и потом куда-то исчез с необыкновенной торопливостью. Через пять минут мы сидели во втором ряду, и театральная прислуга отнеслась к нам с чрезвычайной почитательностью. Когда наполнился оркестр, то оказалось, что Василий Иванович играет на кларнете.

Началась «Веселая вдова».



Кругом нас сидели люди в смокингах, с бархатными воротниками и дамы в бальных платьях. От дам пахло шипром Коти, но в ушах сверкали бриллианты изумительной силы. Я бесцеремонно рассматривал их, и дамам это нравилось. Они покачивали головками, и из бриллиантов струились ослепительные, калейдоскопические дерзкие огни. В бриллианте много свойств: он волшебным образом освещает лицо, омолаживает кожу, высекает из глаз таинственные искры, в бриллианте есть способность из каждой женщины делать немного королеву. И мне казалось, что я сижу среди сомна королей: французских, испанских, итальянских, шведских, датских.

Когда же я поделился своими впечатлениями с хозяином, то он ответил пренебрежительно:

– Все это – лавочницы. Если у вас есть деньги, вы можете в антракте у любой из них купить то, что вам нравится.

Я очень люблю театральные разъезды. Вот из дверей здания, похожего на дворец, выходят люди, которые в продолжение трех часов были во власти странной, неправдоподобной жизни, придуманной каким-то давно умершим чудаком. Какие-то другие чудаки, намазав лица красками и натянув на головы чужие волосы, притворялись влюбленными, добрыми, злыми, богатыми и бедными, дрались на дуэлях, принимали яд, пили вино из пустых стаканов, играли на лютнях, на которых струны были из ниток, – и эти пустяки волновали тысячную залу, смешили, радовали, исторгали слезы, заставляли вздыхать. Как интересны люди, верившие в этот вздор!

На площади стоял ряд трамваев с разными номерами. И я видел моих королей, стоящих в очереди.

– Где же их бриллианты?

– Они спрятали их в футляры и спрятали в сумочки. А завтра опять разложат их на подоконниках своих магазинов, – объяснил хозяин.

Я хотел пригласить его поужинать со мной, но он явно торопился и вскочил на площадку трамвая номер три.

– Сейчас только начинается жизнь, – пояснил он мне, – после полуночи я торгую чаем. У меня превосходные сорта: китайский, цейлонский и мандариновый. Приходите завтра: сегодня вам хочется спать.

Тихо, распластав над головой пантеон, я поплелся домой. И в этом есть большое очарование: идти ночью по незнакомому городу. Незнакомые пустынные улицы, незнакомые тротуары, профиль незнакомых домов – и только вдали знакомое желто освещенное полнолуние вокзальных часов. Стрелки стоят под прямым углом: очевидно, четверть первого.

Моя пивная заперта. Долго, минут двадцать, одеревеневшим пальцем звоню. Никого. Ни души. Ни признака жизни. Только – дождь. Стучу в дверь зонтом. Какое-то движение вверху. Вспыхивает в окне свет и показывается фигура с чулком на голове.

– Кто там?

– Ваш квартирант.

– Разве вы не читали правил, что мы впускаем только до одиннадцати часов?

– Нет, не читал.

– Надо быть внимательным. А теперь идите ночевать в «Мажестик».

– Где это?

– Вторая улица направо.

Отыскиваю «Мажестик». Громадный подъезд, слабо освещенный холл, ветвистые пальмы, канделябры и свежий, за день выпавшийся, в зеленом



сюртуке швейцар, бывший солдат, отчетливый, умный, сразу разгадавший мою трагедию и потребовавший деньги вперед.

Через две минуты я очутился в традиционно удлиненной комнате, с громадным трехзеркальным умывальником, со снежным бельем на кровати, с горячей гармонией отопления и с бордовыми занавесками на окнах. Полки шкафа были устланы «Бертинер тагеблат». Очевидно, до меня здесь обитал немец. Прессованные полотенца висели на металлических стержнях, и тут я вспомнил, что у меня нет мыла, и позвонил. На звонок явилась прелестная женщина в бальном длинном платье. Она подошла ко мне, положила руки мне на плечи и спросила:

– Какого прикажете? У нас есть три сорта: китайский, цейлонский и мандариновый.

– От этих сортов у меня бывает сердцебиение, – ответил я, – я пью только тибетский.

– Тибетский? – удивленно спросила женщина. – Первый раз слышу.

– Вообще, ваш город поотстал, – сказал я недовольным тоном и нахмурился.

Я не решился заговорить о мыле, а она мирно и необидчиво ушла.

За дверью в коридоре послышался разговор в виде вопросов и ответов, и она, пришедшая ко мне, звонко засмеялась, – и тут я вспомнил, что от удивления я не рассмотрел ее лица: у меня в памяти остались только слегка немодный покрой платья, светлые, не то синие, не то зеленые глаза и тембр голоса.

И все время в коридоре шла какая-то жизнь: то четыре ноги идут по ковру, то слышится небрежный шепот, бесцеремонно переходящий порой в тона дневного разговора, то позвякивают чашки о серебряный поднос, то проносится тихий посвист

лондонской песенки, – в конце концов, это было таинственно и приятно, но разгоняло сон, и с лица никакими усилиями нельзя было прогнать улыбки.

И вдруг за соседней стеной я услышал слезы. Прислушавшись, поднявшись на локтях, я понял, что они – мужские и одинокие. Кто? Что? Почему? В таких неожиданных случаях всегда просыпается желание помочь, но соображения о том, как это сделать и не нарвешься ли на неприятность, ослабляют первые человеческие, не светские и не фальшивые движения души. Тяжело тянется на басовой ноте звериный, приглушенный одеялом вой. Какая нота? Вероятно, фа. Вот всхлипнул в полутон – фа диез, и опять фа. Зажигаю лампу, смотрю в потолок и невольно начинаю думать о горестях собственного существования. Потом присоединится сосед с левой стороны, и дружный вой огласит наш великолепный «Мажестик». Собачья психология. Надо крепиться.

Утром тихонько приоткрываю дверь и жду: кто же выйдет из этой комнаты? Кто плакал?

Смотрю: выходит старик, осанистый, с гордой белой бородой, прекрасно одетый, в котелке.

«И чего тебя разбирало?» – думаю не без досады, снова ложусь в постель и на этот раз вижу сны: покупаю в Москве у Ноева розы, чтобы подарить их артистке Художественного театра, ощущаю московский мороз, слышу скрипенье саней по твердому лоснистому снегу и мечтаю о судачке под польским соусом.

Проснулся поздно – уже шла уборка комнат и все двери в коридор были открыты.

– Кто это здесь живет рядом со мной? – спросил я горничную.

– А он плакал? – ответила та.

– Да.

– Ха-ха! – сказала она без улыбки. – Заплачешь.



Еще полгода тому назад у человека было четыре миллиона, дом и помещение театра-варьете. Теперь у него осталось только вот это. – И она показала на отличный небольшой чемодан, стоявший посреди стола. – Зайдите взглянуть, что в чемодане. В конце концов, вы имеете право: он, наверное, не дал вам спать.

Потихоньку, на цыпочках, кляня глупое профессиональное любопытство, я вошел в комнату и заглянул в чемодан. Там лежало отлично сделанное чучело маленькой комнатной собачки из породы пекинуа.

II. Влюбленность

Спускаясь в лифте, я ощутил тревогу, почти гипнотическую. Несколько раз уже случалось, что, впервые встретившись с женщиной, я запоминал только цвет ее глаз и тембр голоса. Все остальное не оставляло впечатления, и это всегда было началом большой и мучительной влюбленности.

Прошли многие и суетливые годы. У меня завелся специальный чемодан для хранения неизданных рукописей. В этом чемодане лежат: две неоркестрованные оперы, две симфонии, из которых вторая – не окончена и кажется мне сладостной, я порою слышу ее во сне, и странно: дирижирует ею всегда вертлявый и приплясывающий Иоганн Штраус; поверх этой симфонии лежит концерт для скрипки; все это – в неразборчивых больших тетрадях, с которыми я не расстанусь и которые не доверяю даже банковскому сейфу. Иногда во время остановки, вроде теперешней, антверпенской, я правлю их и тенору вместо до диеза даю ля: пусть блеснет тот, мой неведомый певец, который таится во мгле времен. Такая пустяковая работа – заманчива.

Теперь же, в моей сегодняшней ипостаси, я – ломовая лошадь. Я состою дирижером труппы странствующих интернациональных лилипутов.

Лифт твердо стукнулся о пол и крикнул. Увы, в холле я уже не вижу швейцара, который ночью впустил меня в «Мажестик». Его сменил толстый, брюзгливый и, вероятно, богатеющий старик, похожий на Максима Ковалевского. Так же зачесанной вверх паутиной прикрыта дряхлеющая лысина, такие же умные, потухшие, но беспокойные глаза, та же желтоватость и легкая припухлость кожи, которая говорит, что ее обладатель окончит дни свои от водянки.

Он сразу оценил, что я пассажир нехлебный, но все-таки приподнялся, отчетливо щелкнул каблукми и вежливо склонил ухо.

Я спросил у него о женщине, которая явилась ко мне в номер ночью, когда я позвонил в сервис.

– Если вы звонили в сервис, то могла прийти только горничная, – ответил он французским языком, каким говорят в восьмом квартале Парижа.

– Странно, – сказал я, – у вас в «Мажестике» горничные ходят ночью в бальных туфлях.

Старик страдальчески покраснел.

– Наш отель, – наставительно ответил он, – один из первых в Европе. Нам принадлежат лучшие дела Ниццы, Остенде и Биаррица. Маскарадов мы не допускаем. У нас горничная есть горничная и должна быть в белом фартуке и с белой наколкой на голове.

– Ко мне приходила прелестная женщина в бальном платье, – настаивал я.

– К вам приходила температура, – ответил швейцар с насмешливостью на губах, ставших злыми и запрятавших злость под усы, – и я должен вас предупредить, что приезжему человеку шутить с сырым климатом Антверпена – очень опасно.



И он каким-то неуловимым, игуменским жестом дал понять, что аудиенция окончена.

– Тогда оставьте за мной комнату, – сказал я.

– Очень сожалею, но не могу, – ответил швейцар, припрятывая удовлетворенную злобу поглубже в усы. – Вы вчера заявили, что снимаете комнату только на одну ночь, учинили расчет, и поэтому сейчас мы сочли себя вправе сдать ее другому лицу.

– Тогда дайте мне другую комнату.

Швейцар ядовито улыбнулся, выпустив злобу на нижнюю, искривившуюся губу.

– Очень рад был бы служить, но не могу: все занято. «Мажестик» переполнен.

Ясно: своими расспросами я сделал «гафф», и «Мажестик» спасал свою европейскую репутацию. «Мажестику» было больно превращаться в место предосудительных свиданий. В холле «Мажестика», на видном месте, висела огромная фотография Эдуарда VII с гипсовой короной на ореховой раме. Неподалеку от него красовалась размахисто и с огнем написанная картина, изображавшая утреннюю кавалькаду в Булонском лесу: этой картиной «Мажестик» символически устанавливал свои связи и близость с Парижем. В салоне стояла мебель Людовика XV, может быть, подлинная. Под плакатом бременской пароходной линии висел ящик для воздушной корреспонденции: бытие и значительность «Мажестика» было официально признано почтой его величества...

И теперь «Мажестик», поскользнувшийся в трудностях пути, нашел все-таки силы, чтобы выбросить меня на улицу, на которой не переставал идти дождь, надоевший самому себе. Я хотел вернуться и по-человечески сказать швейцару о влюбленности, которая уже привязалась ко мне, как болезнь, но не посмел, предполагая, что он снова напомнит о тем-

пературе. Я вынул часы и, всматриваясь в маленький кружок, по которому скачет секундная стрелка, высчитал, что пульс у меня не больше восьмидесяти и что, значит, я здоров как бык.

Антверпенцы привыкли к дождю, но антверпенские псы явно мучились: все было смыто, все было пресно и скучно – понюхать нечего, собаки бегали, тревожно и уныло заложив хвосты меж ног.

В четыре часа с брюссельским поездом прибыли лилипуты. Их было девятнадцать душ, английских, немецких и русских. Они объехали всю Европу и ничему не удивлялись. Всех девятнадцать их посадили в одно такси и привезли прямо в театр на оркестровую репетицию. Музыкантов я уже подготовил, то есть сыграл бурный вступительный марш Легара и ту музыку, которую меня принудили сочинить к японской пантомиме. Почти все это произведение я украл у Джонса из «Гейши» и называл его поэтому хопен-мюзик. Прежде всего нужно было проверить аккомпанемент, и поэтому я первым вызвал русского лилипута Васеньку. Васенька жаловался на зубы, но все-таки подошел к суфлерской будке и тихеньким голоском пропел:

– Деньги есть – веселюсь и на толстенькой жеманю.

Работал я машинально и внутренним слухом наблюдал, как в душе начинает жить моя так не нужно родившаяся влюбленность. Поначалу она мне всегда кажется похожей на маленькое белое облачко. К концу репетиции ко мне подошел импресарио и сказал, что, слава Богу, все билеты проданы и интерес к лилипутам – очень большой. Это никого не обрадовало. Лилипутам было все равно. Они жили своей собственной тайной жизнью. Из дел общечеловеческих их интересовали только открытки с влюбленными парочками, целующимися при луне.



Особенно безразличны ко всему были русские. В немцах и англичанах жила все-таки бацилла патриотизма, и они иногда на этой почве дрались, но мирились скоро и потом пили пиво из высоких кружек, обязательно и многозначительно чокаясь. Когда они болели, то доктора прописывали им лекарства в детских дозах. Все они – пузатенькие, щеголеватые, и головы их похожи на моченые яблоки.

На спектакле лилипуты проделывали все человеческое; но в театре было тихо и скучно, когда лилипуты смеялись, и все грохотало от смеха, когда они плакали. Лилипуты размахивали японскими мечами, ходили в японских костюмах, устраивали гадости богдыхану, похищали его любимую накрашенную жену – и во всем этом непереносимо остро отражалась смехотворность и ложная значительность всех человеческих чувств, в том числе и моей влюбленности. Я был благодарен лилипутам и уже успокаивался, как вдруг почувствовал укол гипноза. Я повернулся и в одной из лож второго яруса увидел те глаза, которые мне запомнились. Я оробел и только в антракте из-за занавеса рассмотрел женщину, которая сидела, положив руку на бархатный барьер. Ей сопresentствовали старая дама во вдовьем черном платье и пожилой господин в отличном смокинге. «Она – романтически грустна», – думал я, придавая слову «романтически» оттенок насмешливый, как это делают критики, приверженцы реалистической литературы. Но никакая насмешливость не помогала и не уничтожала утвердившегося облачка, а пульс отсчитывал около ста.

В начале второго отделения меня, неизвестно за какие заслуги, встретили большими аплодисментами, и я отчетливо почувствовал, что таких рукоплесканий никогда не вызовут ни мои оперы, ни мои симфонии, ни мой скрипичный концерт. Залих-

ватски взмахнув смычком, я бурно проиграл свою хопен-мюзик и решил преследовать незнакомку до дому. Но, увы, когда окончился спектакль и удар барабанщика поставил ко всему спектаклю точку, ее уже не было в ложе. Смокинг и вдова, надевая макинтоши, помогали друг другу. Она, не дождавшись конца, сбежала, и вероятно, в «Мажестик».

Импресарио отсыпал мне мой заработок большими монетами, похожими и на серебряные, и на оловянные. Груз этот весил больше русского фунта и оттягивал карманы. Я устроил кутеж в ночном ресторане, сидя на плюшевом диванчике, и по бокам у меня находились две молоденькие женщины, которые, как в итальянской комедии, прикрыли мои ноги углом своих юбок. Они поочередно целовали меня, но глаза их были у черта на куличках. Я сидел и чувствовал свою связанность с какими-то вещами, казалось, совсем посторонними. Я чувствовал связанность с Антверпеном, с его дождями, с небом, с его пароходными гудками и, может быть, с тем туманным, но не рассеявшимся наслаждением, которое здесь было создано Рубенсом и теми артистами, которые у него учились и живописи, и беспутству. В самом деле, если теперь, сидя в Париже у деревянного ящика с серебристыми лампочками, можно слышать декламацию московского актера, то отчего не предположить, что скоро будет найден такой ящик, который покажет нам продолжающуюся и властную жизнь тех, кого мы считаем мертвецами и которых много сот лет тому назад зарыли в подземельях самых торжественных соборов?

Около двух часов ночи я был в «Мажестике» и молил доброго ночного швейцара:

– Пусти меня на ночлег, я заплачу за неделю вперед.

– Нет, – ответил он сурово, – нет! Вы утром устроили невероятный скандал. Вы – некорректны



и не принадлежите к приличному обществу. Вам нужно жить не в «Мажестике», а в «Восточном экспрессе» или в «Бирюзовой собаке».

– Но ведь здесь же живут наши лилипуты.

– Это хорошие и честные господа, хотя и спят втроем на одной кровати.

– Но ведь я же дирижирую у них в оркестре! Я очень важное лицо у них.

– Врете, сударь. Я был в театре, я видел дирижера, аплодировал ему, и, увы, это были не вы.

– Но смотрите же, вот мой фрак и лакированные ботинки.

– По-моему, вы были в каком-то клубе и сильно проигрались.

– Вот тебе деньги. – И я высыпал на прилавок горсть скверно звучащих монет. – Скажи мне, где я могу встретить ее?

Швейцар задумался и смахнул деньги к себе, как сор. Потом развернул какую-то продолговатую и узкую книгу и после долгой паузы неохотно ответил:

– Приходите завтра в пять часов дня к дому Фауста, и она вас там встретит около двери, обшитой железом. Но будьте скромны и знайте, что язык – самый большой враг из всех врагов человека. До свиданья.

Если у утреннего швейцара были манеры игуменские, то у этого они были генеральскими. Я не спал ночь, сидел на вокзале и от волнения пил пиво с солью.

III. Дом Фауста

Часов около трех ночи в вокзальном ресторане было пусто, душно и накурено. Табачный дым, прошедший через человеческие легкие, ослабел и

отдавал чем-то кислым. Лакей принес мне пиво, похожее на жидкий янтарь со сливками, и спросил, почему я в него сыплю соль.

– Чтобы отбить горечь, – ответил я.

Лакей усмехнулся и сказал:

– Напитки придуманы не глупыми людьми, и вы бьете мимо цели. Пиво и создано для того, чтобы горечью убивать горечь жизни. Водка – для того, чтобы остроту жизни чувствовать еще острее, а шампанское – чтобы разогреть интерес к женщинам. Неужели вы не знали таких простых вещей?

Ночевать я пошел в «Восточный экспресс». Его вывеска была выведена каллиграфическими голубыми ртутными буквами и манила к себе. Лохматый парень в летнем пальто с поднятым воротником отвел мне ночлег. Парень боролся со сном и не находил в себе сил, чтобы прошептать мне проклятие. Согрев телом простыню и пододеяльник, я быстро заснул и с тревогой ловил свою последнюю земную нетвердую мысль: встать в десять часов. Потом я умер и воскрес, когда по линии плохо задернутой занавески белой струей светил дневной нещедрый свет. Тело оказалось послушным и точно отсчитало время: было ровно десять часов. Кофе подали мне с удивительным хлебом, похожим на православную просфору. Я взглянул на себя в зеркало: о, как я был помят, бледен и худ! Сон не исцелил тело от усталости, но голову мою сделал прозрачно-свежей: исчезла память, хранилище опыта, странная библиотека, – и вместо нее были внутренние мерные толчки, которые били в лобную кость и говорили: иди, иди, иди.

Я спросил у лакея, где находится дом Фауста, и тот посмотрел на меня удивленно и вместо ответа принес путеводитель с планом, сложенным в восемь долей. Я перелистал книгу с лихорадочной



быстротой, порвал в двух местах план, но никаких указаний на дом Фауста не нашел. На перекрестке я спросил об этом у полицейского. Тот взглянул на меня недоверчиво, отдал честь и потребовал паспорт. Прочитав на его обороте множество фиолетовых печатей, не всегда хорошо оттиснутых, полицейский послал меня на вокзал, в бюро справок. В бюро мне ответили:

– В Антверпене дома Фауста не числится.

Ясно: ночной швейцар из «Мажестика» обманул меня и даром забрал мои деньги. Но в четыре часа, когда я шел по улице с опущенными как плети руками, меня осенила следующая мысль: все время я разговаривал с людьми малокультурными и малоинтеллигентными. Вот навстречу мне идет почтенный седовласый человек с квадратно остриженной белой бородой, под шелковым зонтом, в прекрасных прочных перчатках, в прекрасно сшитом прочном пальто, в плюшевой прочной шляпе: профессор государственного права, экономист, писатель, домовладелец, редактор газеты, строитель доходных домов. Я подошел к нему и спросил о доме Фауста.

Улыбнувшись, он ответил с доброй готовностью:

– Напрасно в этом городе вы ищете дом Фауста. Дом Фауста находится в Праге. В Лейпциге есть погребок Ауэрбаха, из которого Фауст вылетел на бочке. В этом погребеке до сих пор служат неплохим рейнским вином.

Господин вежливо приподнял свою плюшевую шляпу и прошел в табачную лавку. Я видел, как он выбирал сигары, нюхал образцы, с сомнением покачивал головой и как приказчик лазил для него на верхние полки и доставал оттуда продолговатые ящички с олеографическими бандеролями. В рассеянности я натолкнулся на оконное стекло и по-

нял, как оно отлично, до иллюзии чисто протертое водянисто-прозрачным, застывшим водопадом отделяет пространство.

Когда господин вышел из лавки, я, обессиленный, глупо-униженный, сказал ему смиренно:

– У вас в доме должен быть рояль.

Господин удивленно ответил:

– Есть. Настоящий «Бехштейн».

– Не разрешите ли вы мне на самое короткое время прикоснуться к нему?

– Вы настройщик?

– Я – музыкант.

Господин первым делом взглянул мне на ноги, сапоги были чисты. В «Восточном экспрессе» их натерли до ослепительного блеска.

– Вы, верно, путешественник и соскучились по инструменту?

– Да, – ответил я, радуясь, что он быстро схватывает мысль.

– Я вас понимаю, – одобрительно сказал господин и со странной евангельской мягкостью взял меня под руку и подвел к наемному автомобилю. Я ощутил запах свежесвыдубленной кожи и рукой нащупал пуговицы, глубоко вдавленные в нее. Господин смотрел на меня так, как ученый смотрит на кролика, предназначенного для эксперимента.

Рояль не просто стоял, а присутствовал в большой зале, артист среди глупой и низменной мебели. Поставив около меня пепельницу и распечатав коробку сигар, господин удалился, и я молитвенно положил руку на очаровательно-скользкие клавиши. Когда проснулись тихие, бархатные басы, мирно спавшие в левом углу «Бехштейна», я понял, что мне хочется услышать свою сладостную симфонию, которую я так хорошо начал и никогда не мог окончить. Басы разбудили весь хор, и черный зверь,



созданный Бехштейном, – подчинился мне, признал хозяина, лизал мне руки и служил с ласковой послушностью. Я с тревогой ждал этого момента, на котором полгода назад остановилось мое обесилевшее перо, и – о счастье, когда дошел до этого предела, то помню, что в душе моей собрались силы, с которыми я могу дерзнуть на все. Когда-то я не знал, что мне предстоит делать за чертой последнего, таинственного такта, – теперь было ясно басы, басы, басы!

Я повелительно крикнул:

– Дайте перо и нотной бумаги!

– За нотной бумагой сейчас пошлем в лавку, – ответили мне издалека.

– Награфите карандашом по пяти линеек на простой бумаге, – командовал я. – Зверь в моих руках.

И скоро мне подали листок обыкновенной коммерческой бумаги с торопливо нарисованными карандашными линиями.

– Напишите скрипичный ключ с двумя бемолями! – командовал я.

Кто-то точно исполнял мои приказания, и, не отрывая левой руки от басового гнезда, правой чертил на бумаге головастиков, которые, казалось, прыгали по лестнице. Я знал, что делать и куда идти. Весь лес был знаком мне, со всеми лужайками, тропинками, с птичьими селениями, с медвежьими берлогами, с подземельями муравейников, с змеиными ходами, с ритуальными танцами фламинго, с любовными битвами оленей, с соловьиными песнями и с пророческими криками кукушек.

Потом меня кто-то тронул за плечо, и я снова увидел улыбающегося господина.

– Пойдемте обедать, – сказал он, – уже восемь часов.

– Восемь часов? – в ужасе спросил я. – Но мне же нужно в театр.

И тут я увидел: на дворе был вечер, в зале горела электрическая люстра со множеством ламп, на рояле по обе стороны пюпитра были зажжены и уже сильно оплыли стеариновые свечи. Сигарная коробка была наполовину пуста, и пепел рассеялся по полу, по клавишам, по чернильнице.

– Мне стыдно, – сказал я, – я ворвался в ваш дом, насвинил, причинил вам беспокойство и выкурил множество сигар.

Я дал понять, что во мне проснулся современный, корректный, светский человек.

– А вы разве к нам больше не придете? – спросил третий голос.

И тут я в первый раз увидел девушку: семнадцатилетнюю, испуганную, прекрасную, чистую, с аметистовым крестом на шее. В глазах ее горел золотой свежий огонек церковных лампад. Промелькнула одуряющая мысль, что он зажегся предо мною, – и я отчетливо и гордо укрепил ее в своей душе.

– Наш дом всегда открыт для вас, – робко и просительно говорила девушка.

– А в вашем доме не жил Фауст? – спросил я полусерьезно, полушутливо.

Девушка не поняла, но отец ее дружески хлопнул меня по плечу.

В театре я неистовствовал. Я был весел, как щенок. Скрипачей и виолончелистов я запарил до тринадцатого пота, и они то и дело вытирали лбы не особенно свежими платками. Я заразил всех, и даже Васенька пел свои куплеты с не присущим ему шиком. Он становился около суфлерской будки, щелкал пальчиками, держал наотмашь свой шапокляк, касался пола носком туфли, кокетни-



чал с невидимыми красавицами зрительного зала, моченое яблочко его расцветало улыбкой, и, кланяясь на аплодисменты, он отбегал до задней кулисы и делал там комические антраша.

Нестерпимо хотелось есть, и в антракте в уборной Васеньки я пожирал бутерброды с сырым, мелко нарубленным мясом. Васенька, который мог, не согнувшись, пройти под столом, смотрел на меня насмешливо и коряво и вдруг спросил:

– Так ты говоришь, что я карлик, что я – ничтожное существо?

– Болван! – ответил я. – Ведь это я тебе сделал успех.

– Не об успехах идет речь, – сказал Васенька гордо, – ты вот лучше посмотри, что здесь написала мне одна неплохая бабенка.

И Васенька с предосторожностью, не давая мне в руки, показал открытку, на белой стороне которой было написано карандашом: «Лучшему любовнику, какого я встречала, – гениальному артисту Васеньке».

Я вырвал у него открытку и взглянул на лицевую сторону. Это была фотография той, которую я искал, – но глаза ее были мертвы, глупо наглы и фамильярны: глаза обыкновенной, средней, лет пять практикующей девки.

Мне было уже все равно. Я был счастлив и стоял на твердой почве. Хотелось выяснить точно одно обстоятельство: не обсчитал ли меня директор в платежах за эти дни? Он тонкий психолог и не упускает того, что плывет в руки. По моим подсчетам, очень приблизительным, он за это время, как говорит хозяин русского ресторана, женил меня франков на полтора года. И только это обстоятельство теперь занимало меня.

IV. Письмо

Меня всегда раздражает этот ухарь-купец, который лихо носит борсалиновские шляпы и именует себя художественным директором лилипутов. Он зверски эксплуатирует этих людей, уже немолодых и весящих по 18–20 кило. Он нажил на них отличный текущий счет в «Сосьетэ Женераль» и – его обычная похвальба перед газетчиками – пишет об их жизни роман во многих частях.

В уборной, в которой пахло клеем, старой паутинной и лейнеровской пудрой, он сидел, склонившись над рапортиками, которыми надо было надуть: авторов фиск, владельца театра, общество электрического освещения, прокатчиков театральной мебели и газетные конторы. Я сказал ему:

– Отдай мне 168 франков, которые ты зажулил у меня в эти три дня.

Я не знал, сколько он зажулил, и сказал приблизительную цифру. Его надо было пугать точностью.

Он пальцем сдвинул борсалино на затылок, обвел меня горячим глазом и ответил:

– Вагнер! Берлиоз! Римский-Корсаков! Ты получил все до копейки, и вот твои драгоценные автографы. Очисти это помещение и не сиди над моей душой. Я не виноват, что ты «гений, или беспутство».

– Ты меня обсчитал, и я требую свое.

– Ответь, пожалуйста, – сказал директор, – кто деньги делает: я или правительство?

– Если ты не заплатишь, – ответил я, – то я сегодня не дирижирую!

– Будет дирижировать первый скрипач, – сказал директор.

– Он не пойдет на это. У нас, слава Богу, есть этика.



– Тогда я буду дирижировать сам. У меня абсолютный слух, и я не в консерватории только по недоразумению.

– Оставляю мои деньги тебе на гроб и на свечи! – торжественно сказал я.

– Слушай, – ответил директор, – я готов заплатить оттого, что ты считаешь меня таким ослом, которого могут испугать гроб, свечи и панихида. В чем дело? И он пренебрежительно поднял правое плечо.

В дверь постучали, и в ложу просунулась сначала голова театральной консьержки в папильотках из газетной бумаги, а потом рука, видимо, привыкшая к кухонным работам.

– Вам письмо! – сказали длинные, вытянутые шнурком губы.

И в моих руках очутился великолепный, солидный, словно накрахмаленный конверт, с позолоченной полоской на том углу, который приклеивается. Листок такого же цвета, как и конверт, оказался записанным со всех сторон. Почерк был женский, и строчки шли с кривизной вниз. Я вглядывался в буквы, видел а, b, с, d, но в таких комбинациях, которые мне ничего не говорили.

– Письмо написано по-английски, – с досадой сказал я.

– Но я же существую на свете, – ответил директор, надвинул шляпу вниз, чтобы свет лампы не резал глаза, и начал переводить, предварительно молча пробегая текст.

«Многоуважаемый господин! Простите, что я вам пишу и отнимаю от вас время. Папа – большой шутник, когда приходится занимать гостей, и, забывая о моем присутствии, очень часто говорит следующее: когда хочешь завладеть вниманием женщины, то постарайся прежде всего поразить ее воображение. («Я коряво перевожу, – сказал дирек-

тор, – но ведь тебе важен не стиль, а содержание. И кроме того – папа умница и понимает дело. Я однажды поразил воображение одной красавицы, послав ей полпуда шоколада, и имел успех»). Вы поразили мое воображение. Вы пришли к нам в дом самым необыкновенным образом. («Гм с твердым знаком», – сказал директор и испытующе-вопросительно взглянул на меня.) Я сидела у себя в комнату («В комнате», – поправил я), как вдруг в зале, на моем рояле послышалась неизвестная мне музыка. Я не успела удивиться, как вошел мой отец и сказал, что так как в молодости он долго жил по делам в Африке, то привык к приключениям и скучает без них в пресном Антверпене. Я, сказал папа, привел в дом неизвестного мне музыканта. Он показался мне странным и искал дом Фауста. («Ты что, – спросил директор удивленно, – объявил ненормалитет?») Я запретила отцу говорить. («Держу пари, что она у него единственная», – сказал директор.) Я начала слушать. Я закрыла глаза, и вдруг мне показалось, что я мчусь на арабском скакуне. («Она уже мчится. Ей семнадцать лет»). В душе моей стало тревожно, а отец сказал: «Я оставлю его обедать. Я люблю всяких новых людей. Это обогащает опыт». Я тихонько раздвинула портьеру и увидела вас. («Она увидела вас, Мендельсон-Бартольди»). За роялем сидите вы, и каждая капля вашей музыки падает мне на сердце, как удар молоточка. («Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo»). Я поняла, что это ваше собственное сочинение, и оно показалось мне прекрасным. («Болезнь входит пудами.»).

– Послушай, – сказал я директору, – или ты читаешь без комментариев, или заберу у тебя письмо.

– Так я тебе его и дал, – ответил директор, – еще минута, и я найду, куда подевались твои 168 франков.



«Уходя, вы забыли три листочка, которые попали под ковер. Я схватила их, накинула на плечи шубку и, вопреки протестам папы, побежала за вами и не могла вас догнать. Но зато я увидела, что вы вошли в театр, и по этому адресу посылаю вам настоящее письмо. Папа и я приглашаем вас обедать. («Страшно ценная деталь: у нее нет мамы».) Мы не знаем, кто вы, потому что ваша музыка была не французская, не немецкая и не английская. Мы не знаем, какие блюда вам могут понравиться. Кто вы? Откуда? Какой вы судьбы? Те свечи, при которых вы играли, я спрятала далеко, как драгоценность. Приходите за вашими листками. Я хотела их сыграть, но нельзя было угадать, где четверть, где осьмые, где половинки. Все спуталось».

– Вот-т, – сказал директор, возвращая мое письмо, – вот все, чем я мог служить вам.

– Ты не прочитал постскриптума, – заметил я.

Директор перевернул письмо и снова надел пенсне.

– Ага! – сказал он. – Постскриптум: «Антверпен – город маленький, и сплетен здесь многое множество. Так, про папу говорят, что он в Абиссинии и Конго торговал рабами и на этом нажил богатство. Не верьте, если услышите. У папы богатство от трамвайных концессий. Не верьте, пожалуйста».

– Гм с твердым знаком, – сказал директор, призадумавшись, и лицо его стало напряженно-серьезным, – это уже важнее.

Он взглянул на меня с уважением и добавил:

– Теперь я припоминаю, что в расчете с тобой я действительно ошибся, но колес на девяносто, не больше. Вот тебе бумага, – и он подал мне стофранковку, – сдачу отдашь потом.

Затем он хлопнул меня по коленке и сказал:

– Имею к тебе разговор. Слушай меня внимательно, друг мой Горацио. Ты – идеалист. Я боюсь идеалистов больше, чем змей, больше, чем баб, управляющих автомобилями. Идеалисты – это на три четверти умные ребята, умеющие на ходу срывать подметки. Но ты, к сожалению, не из этой категории. Ты из тех, которых за глупость даже в рай не пускают. Слушай меня внимательно. Тебе выпадает головокружительная карта. Во-первых, девица семнадцати лет, бубновая дама. Помни, что тебе уже сорок лет и в твои годы пророк и царь Давид клал себе на ложе Ависагу. Она грела его и восстанавливала угасающие силы. Тебе, при твоих талантах, снимаю шляпу, при твоих ненапечатанных операх и симфониях, – когда угасает дух и подламываются способности, Ависага – приятный алкоголь. Это – во-первых. Во-вторых, папа – червонный король. Поди к нему обедать и посмотри внимательно, какие он носит брюки. Если они – в полоску, то будь покоен, что пресный Антверпен прав. Лица, любящие брюки в полоску, склонны к ростовщичеству, а отсюда вышесказанная Абиссиния и Конго. Слушай меня внимательно. Всегда полезно присутствовать, когда люди считают деньги. Потерять ты ничего не можешь, найти что-нибудь есть шанс. Слушай меня внимательно. Я тебя давно знаю, и по моим наблюдениям, у тебя динамо-машина хорошая, но сортировочная плохо работает. Доверься мне, как гиду, как проводнику через Днестр, как Вергилию. Доверься мне, брат мой и сын мой! Мы с тобой сделаем золотое дело, иди к ним обедать. Закажи им борщ и битки по-азиатски. Они сделают. Скажи, что ты русский. Объясни им про бархатные книги, самое главное, напиши девочке письмо и, самое главное, дай мне его перевести на английский. Я его переведу так, что она на крыльях твоей музыки, на араб-



ском скакуне, поскачет за тобой в Париж. Мало? А потом, в купе первого класса, туда же приедет и ее папа, любитель приключений. Но уже будет поздно. Мы устроим так, что у папы, на закате дней, опыт обогатится еще больше и ему останется одно: торговать прессованным дымом. И это будет праведно перед Богом, ибо что может быть хуже, что может быть презреннее, чем работорговля в дни юности? Папа должен испить чашу искупления – этого жаждет его бессмертная душа. И высшая справедливость сама ставит на его путях тебя и меня! Мало? Ты думаешь, – хам, бурбон? Дорогой мой, я – дальнорюк, я знаю жизнь и, самое главное, хорошо отношусь к тебе, желаю, чтобы не я у тебя, а ты у меня был бы директором. Мы откроем оперу, заведем оркестр в сто двадцать человек музыкальной элиты, ты сядешь за альт, тебя охватит волна творческого счастья – и со сцены польются твои мысли, твои вдохновения, твои прозрения, твои параллельные квинты, которых я в своем театре тебе не разрешаю. А лилипуты в красных фраках будут рассаживать зрителей на места и продавать программы. А на кассе чудотворная и живительная надпись: все билеты проданы. Мало?

Директор замолчал на секунду, скосил на меня глаз и беспечно добавил:

– Вижу, что глаза твои горят гневом, и печенка твоя делает желчь. Мысленно ты величаешь меня негодяем и шарлатаном. («Почему же мысленно», – сказал я.) Пусть. Поди выпей коньяку и постарайся заснуть. Если не придет сон, пей сахарную воду. Утро вечера мудренее. И завтра я посмотрю, куда упало мое зерно: на добрую почву или на каменную. А сейчас я готов тебе дать аванс не свыше ста. Распишись в этой графе и не делай своих дьявольских росчерков. Ты мне портишь ансамбль.

Покуда я расписывался, директор хищным жестом схватил письмо, которое я не успел спрятать в карман, внимательно и жадно рассмотрел место, на котором были написаны имя и адрес, поднял голову, напряженно и глубоко закрыл глаза и что-то, видимо, отпечатал в своей памяти.

V. Человек из маскарада

У Канта есть четырнадцать доказательств бытия и бессмертия души. Я лично обладаю свойством, которое, может быть, присуще всем людям и которое я считаю тоже доказательством существования души.

Став перед зеркалом, я минут десять упорно смотрю себе в глаза и думаю: неужели это тот человек, который имеет что-то общее со мною? В это время вы освобождаетесь от врожденного гипноза, рождается чувство острого и зоркого понимания, и вы начинаете видеть, как уродлив и некрасив человек, как глуп и бездарен выступ человеческого носа, как наивен и топорен разрез рта, как грубо сделаны раковины ушей. Совершенно гениально задуманы и созданы только глаза, два акробата над пропастью, и в особенности зрачок, впитыватель света.

Эти размышления приводят к тому, что от нас отделяется незримая тень, уходит в угол комнаты и оттуда смешливо спрашивает и отвечает:

– Неужели это – тот мальчик, который когда-то, в августовские воскресные утра, любил бегать на гору, к кафедральному собору, и ожидать, как придет служить обедню епископ Евгений? Как вороные кони, радостно и дисциплинированно работая ногами, понесут к подъезду архиерейскую лакированную карету, как затрезвонит на втором этаже колокольни гугнивый Тарас? А облаченное и торже-



ственное духовенство, с крестами и кадилами, стоит у входа и держит наготове фиолетовую мантию с золотыми медальончиками? А протодиакон, промочивший горло мартовским пивом, уже покашливает, вызывая низы голоса, и начинает в профундо свое торжественное, величаво-неторопливое и однотонное «Достойно есть». И в обязательный и в рассчитанный диссонанс ему певцы, разместившиеся на хорах, грянут: «Да возрадуется душа твоя», – совершенно гениальный Бортнянский, – и баритон Антоненко, обезвредивший казенку огуречным рассолом, легко, давая любоваться простором голоса, начнет царское слово: «Облече бо тя». Топот коней, звон Тараса, шуршание резиновых шин по гравию, профундо протодиакона, Бортнянский диссонанс, бряцание кадильных цепочек, Антоненко, шарканье ног по церковным плитам, тихое звяканье медячков у свечного ящика, утреннее солнце и отражение цветных стекол – это начало такой симфонии, композитор которой не пришел еще в мир.

– Тот мальчик давно умер, – отвечает на свой же вопрос существо, ушедшее в угол.

Потом в зеленых геометрически четких кружках глаз я вижу ночь, густой и старый бульвар с запущенными аллеями, аллеями и площадками, с суворовскими каменными скамьями, вижу высоко и снежно бьющий фонтан, громадный дом губернского ампира и над ним – колесо месяца, прикатившееся сюда со стороны. Заласканный, в белом кителе, идет студент Петербургского университета, которому, обвинив шею, только что шептали, что он – самый лучший, самый очаровательный, самый первый человек на земле. Только что он пил вино, совершал воровское и сладкое преступление, за которое расплачиваются жизнью. Где он, этот студент?

– Превратился в тебя, – отвечает из угла существо, – но смотри, как жидки стали его волосы, как опускаются уже углы щек, как выделяются припухлости под глазами, как надулась на правом виске артериосклерозная жила, как тускнеет лак глаза, как потрескались губы, как около ушей пролегли малые, но самые убийственные морщины.

Оно никогда не лжет, это существо, а смертно только то, что может лгать.

И вот я вижу семнадцатилетнюю девочку, дочь работоторговца, и присущим мне, натасканным, как у собаки, чутьем понимаю, что, несмотря на припухлости, артериосклероз и этот ослабевший блеск глаз, еще сохранились остатки былой притягательной силы. И что же? Послушать директора? Тряхнуть стариной? Напечатать в Лейпциге свои ноты, и напечатать не как-нибудь, а с медных досок, с немецкой сверхъестественной четкостью, – и превратить негритянские слезы в шедевр типографского искусства, которому потом присудят большую золотую медаль?

И существо из угла шепчет:

– Оставь, уйди, не бери нового греха на душу, не создавай нового горя, не пользуйся ошибкой, которую ты хорошо и точно понимаешь. Для тебя существует сорт других женщин, легких, веселых, любящих вино, которые за сто франков создадут тебе всю иллюзию. А этой напиши хорошее письмо и ответь на ее трогательный вопрос: кто ты и какой судьбы?

И вот я – за маленьким ломберным столом. Пером, ржавым и расщепленным, вывожу на дешевенькой бумаге с печатным штампом «Восточного экспресса», с номерами его телефонов и с пунктиром для даты:

«Милая барышня! Кто я? Человек из маскарада. Вы спросите: что за маскарад? Отвечаю. Вы, конеч-



но, из географии знаете Черное море и Крымский полуостров. Вот однажды, лет десять тому назад, от этого полуострова отвалило шестьдесят больших перегруженных кораблей. На них поплыли: генералы, офицеры, солдаты, архиереи, писатели, священники, художники, адвокаты, газетчики, купцы, нотариусы, актеры, музыканты и множество женщин. Высадившись на чужом берегу, эти люди повели неслыханный маскарад. Кто превратился в чистильщика сапог, кто – в продавца газет, кто – в ресторанный прислугу, кто – в даму с камелиями, кто обрядился в синюю блузу, кто – в силача на ярмарке, кто – в собачьего парикмахера, кто – в танцора с кинжалами, кто – в учителя бриджа, кто – в ночного сторожа, кто – в поварского помощника. Вы в Европе живете и не замечаете, сколько около вас ряженных и загримированных людей. Бал затянулся слишком долго, но танцевальная зала заперта на ключ и выхода нет. В зале уже жарко, буфеты – опустошены, а музыка играет. У этих людей создалась маскарадная психология, и даже в их искусстве укрепились маскарадные тенденции.

Председателя домового комитета из Одессы они облакают в наполеоновский костюм, то есть в серый сюртук, в ботфорты, в треуголку, и на живот ему накладывают театральную толщину. Аптекарь из Тирасполя облачают в платье Екатерины Великой, а на старичка Доливера, скрипача из Ставрополя-Кавказского, напяливают парик Бетховена, взятый из костюмерной «Одеона». Маскарады, маскарады, маскарады. В этой маскарадной зале вытанцовываю и я».

Написав все это, я порвал послание и бросил в корзину. Потом взял другой листик с теми же штампами, оповестил мою корреспондентку, что я – русский, приду к ней завтра в час и вежливым

штампом уверил ее в своем искреннем почтении. Бой, отправившийся с этим письмом, вернулся преисполненным ко мне величайшего уважения. Его, очевидно, щедро одарили, и он вручил мне ответ, написанный уже по-французски, и просьбу: привести с собой к завтраку какого-нибудь русского приятеля. Это было ушатом холодной воды. Стало ясно, что богатые люди, скучающие в Антверпене, хотят видеть диковинных зверей, и предполагать о какой-то влюбленности мог только квалифицированный нахал, кумир швеек.

Лицо мое залилось краской, и странно: в то же время в душе явно отложилась непонятная, неожиданная и тяжелая горечь, мне стало стыдно, и я даже прибег к уловкам, чтобы отцепиться от нее и забыть. Наигранно посвистывая, я взялся за рукописи, и они показались ничтожными. Эти листики, которые я наполнял нотными значками с такой жадностью, показались смешными, и без всякого почтения, нарочно спутав нумерацию, я их сунул под старое белье, предназначенное в штопку. Я походил по комнате, ушиб ногу о кровать и сложно, по-итальянски, выругался. Затем пришла в голову злобная и мстительная мысль: отыгаться на директоре, и часа за два до спектакля я увлек его в русский ресторан.

В русском ресторане царствовала суматоха, и, приняв наш заказ, хозяин тотчас же забыл о нем, хотя заказ был доходный: мы спросили красной икры, сельдь, маринованных бычков, и это служило только началом. Директор думал, что его наставления упали на чернозем, потирал руки и смотрел на меня свысока, по-генеральски. Хозяин же обмозговывал что-то свое, часто смотрел в потолок и все время делал нервные записи в новеньком блокноте.



– Что с вами, наш почтенный амфитрион? – спросил наконец директор, который должен был знать все.

– Ах! Боже мой! – ответил хозяин. – Я так волнуясь, будто только что начинаю свою карьеру.

Представьте – мне дан заказ из одного богатейшего антверпенского дома.

– Что за заказ? – покровительственно осведомился директор.

– Сделать русский завтрак на пять персон.

– Цена?

– О цене не было даже разговора.

– Так что же думать? О чем размышлять? Вали икру свежую, вали икру паюсную, семгу, балык белорыбий, осетрину по-царски, замаринуй хороший, без кости, шашлык, а потом гурьевскую кашу. Водки quantum satis и бордоское вино. Только – бордоское. Бургундские – тяжелы.

– Шашлык не может иметь успеха, – сказал хозяин грустно, – для шашлыка нужна молодая баранина, а где ж теперь ее возьмешь?

– Вы знаете что, – сказал я, – после осетрины дайте скромные пожарские котлеты с зеленым горошком. Уверяю вас, что это будет успех.

Хозяин, с видом советующегося человека, присел к нам за стол и начал машинально вырывать из блокнота листочки.

– Ведь знаете, – страстно заговорил он, – хочется из кожи вылезть, а угодить. Сделаешь хорошо – понесется известность, скажут другим, войдешь в моду и раздуешь кадило. Ведь это – очень важно. Ведь к этим чертям не так легко пробраться. Живут замкнуто, за высоченными стенами, капиталы колоссальны, тебя за человека не считают.

– Делайте пожарские котлеты! – настойчиво советовал я.

– Но почему именно пожарские? – тоскливо спрашивал хозяин. – Может быть, лучше – киевские или драгомировские с шампиньончиками?

– Этот завтрак будем есть мы, то есть я и мой вот этот друг.

– Sans blague! – сказал хозяин холодно.

– Вот и приглашение. – Я показал письмо.

Хозяин привстал, прочитал адрес, низко поклонился и, виновато улыбаясь, отошел на цыпочках от стола.

Директор, сначала оживившийся, вдруг впал в задумчивость.

– Что за черт? – бормотал он. – По моим расчетам выходит так: их двое и нас двое, итого четверо. Завтрак заказан на пять персон. Кто же этот пятый, убей его цыган трубкой, а цыганка – молотком?

И было ясно, что его озабочивает не этот пятый. Директор явно ощутил ту же горечь, что и я, и приглашение его не обрадовало. Я торжествовал над его умом и проницательностью. Воздушные замки рушились. Незаметно, но внимательно, косым взглядом, осмотрев меня в профиль, он слегка фыркнул. Что значило, что и старый воробей иногда попадает на мякину.

– Це дило трэба разжувати! – наставительно сказал он самому себе.

Я помалкивал, постукивал пальцами по столу и чувствовал, что директор читает мои мысли и злится.

VI. Завтрак

Принесли выутюженный костюм. Как-то случайно обратил внимание: какое в нем множество карманов и как это напоминает человеческое жилище. В одном кармане я держу портсигар и зажи-



галку – это курительная. В другом – бумажник: казначейство. В третьем – паспорт и записную книжку: кабинет. В боковом – гребенка: будуар. В нижнем – носовой платок: бельевая.

Оделся и начал поджидать директора. Он был точен и явился ровно в полдень. Таким франтом я никогда его не видел. Все в нем было преувеличено. Жилет демонстративно не застегивался на нижнюю пуговицу и разъезжался пальца на четыре. Платок на четверть аршина высовывался из верхнего карманчика. Галстук был подобран в цвет жилета, торчал упругим горбом, и в центре этого горба величалась булавка из потухших жемчугов в форме бурбонской лилии. Белье было упруго, как эмалированная жесть: очевидно, в крахмал, по особому заказу, подбавили буры. На подкладке котелка сверкал золотой герб со львами, вставшими на задние лапы. Пиджак был обшит широкой шелковой тесьмой, как у редакторов американских газет.

Я с места в карьер заявил ему, что, если он не засунет платка в карман и не уберет бурбонской лилии, я никуда из гостиницы не выйду. Директор ждал всего, но не этого. Он взглянул на меня ошарашенно-удивленно и пробормотал:

– Посмотрите на него, люди добрые! Петроний! Брюммель! *Arbiter eligantiarum!*

– Не могу же я такое чучело огородное ввести в буржуазный дом! И потом – твои духи, – говорил я не без удовольствия. – Что ты? Маркиза Помпадур? Духи у мужчины – признак того, что ему неизвестен такой распространенный предмет, как ванна.

– Откуда говорят? Номер вашего телефона? Ваш точный адрес? – иронизировал директор, желая понять, шучу я или нет.

Я не шутил, и директор, запрятав платок и вынув бурбонскую лилию, шутливо-горько проговорил:

– Природа не щадит установлений даже монашеского чина.

По пути мы заехали в цветочный магазин. Там уже были клиенты, довольно странные: три китайца покупали орхидеи.

– Вероятно, скончался китайский консул, – предположил директор.

Каждый цветочный магазин похож на морг. Кто замечал оттенки аромата, который отличают цветок живой и цветок убитый? Все цветочные магазины, по непонятной ассоциации, напоминают мне московскую Петровку.

Директор настаивал, чтобы купить большую корзину с вьющейся зеленью на ручке. Я выбрал фиалки, триста стеблей: в Антверпене они продаются на стебли. Продавщица, проникшаяся благоговением к шелковой тесьме директора, была явно разочарована, закутала фиалки в зеленые листы от малины и на восковую бумагу приклеила рекламный ярлычок.

В зале нас встретил папа, похожий на президентов почтенных и не очень старых республик. Мне почему-то не хотелось взглянуть ему в глаза, и пока он с директором радостно разговаривал о погоде, я осматривал залу, знакомый рояль, окна и старинную многоэтажную люстру. По стенам висели морозные зимние пейзажи, похожие на клеверовские. На почетном месте, гордость дома, находилась Елена Фурман, и я сразу узнал ее знаменитые, упругие, как мяч, груди, светлые красиво-бессмысленные глаза и грубоватую обувь, выглядывавшую из-под шелкового очень просторного колокола юбки. Ни-



где в зале не было самого малого намека на Африку: ни божка, ни черного дерева, ни слоновой кости. Мебель была луи-филипповская, камин с мраморными зверями, вероятно, из дворянского охотничьего домика.

– Ни слова об Африке, – успел шепнуть мне директор, когда папа направился к внутренней двери, – будем говорить о севере, о морозе, о тройках и валаамском монастыре. Африка – веревка повешенного.

– Дениз! – крикнул папа в дверь, как в кулису.

Ее появления я ожидал не без тревоги. В глубине души я был тронут тем впечатлением, которое на нее произвела моя музыка. В конце концов, это случилось в первый раз, когда я в своем искусстве ощутил присутствие хмеля. Мне очень не хотелось, чтобы она хоть в чем-нибудь была похожа на отца. Больше всего я боялся сходства рта. У отца он был ангельский, с пухлым сердечком посередине, розовый, как у человека, регулярно пьющего потребную ему минеральную воду.

И вот она вошла, поздоровалась со мною и познакомилась с директором, сделавшим великосветское лицо. Да, ей семнадцать лет. Все в ней – девическое, и только глаза еще не поспели. Она воспитана по-английски, причесана на прямой пробор, и в ее платье есть неуловимый спортсменский оттенок. Сразу замечаешь губы, чуть тронутые кармином, и грудь. Это образует какой-то воображаемый сильный круг, и внутри этого круга, на молодом теле, лежит ожерелье из матовых янтарей. У ней рельефно и высоко вырезаны ноздри, и на правой из них, в нежной скобочке, есть маленькая бархатистая родинка. Эта родинка играет роль хитро приспособленного потайного фонарика. Он освещает нежность лица, румянец с

туманно-белой серединой и ресницы, приподнятые вверх таинственным и неосязаемым ветерком. Глаза ее – темны, но кажется, что цвет их еще может измениться.

Она пошла в мать. От отца у нее ничего нет. Отец ее слишком похож на человека, исполнившего долг до конца, и не было ли здесь когда-нибудь драмы?

Дениз подала мне листки, забытые мною, и на рояле я заметил оплывшие свечи. Она по-светски начала расспрашивать меня о Париже, о нашем театре и о России. Мне показалось, что она была на нашем представлении, видела лилипутов, слышала мою хопен-мюзик, деликатно об этом не вспоминала, но все это обесценивало ее первые впечатления. Где-то тихо позвякивали ножи и вилки. Мы явно кого-то ждали, и вот без стука, из внутренних покоев, появился молодой человек в совиных очках. Все, кроме Дениз, поднялись, и лицо папы осветилось радостью. Молодой человек неторопливым шагом, как привыкший к поклонению принц, подошел к Дениз, придворным поцелуем коснулся ее лба, и она меня с ним познакомила, сказав:

– Аль, мой жених.

Тем же придворным шагом, по диагонали зала, он направился к будущему тестю. Тесть сказал директору, не без гордости взяв принца под руку:

– Туз нашего табачного дела, черт возьми!

Принцу же доверчиво сообщил:

– Сегодня в этом доме, по случаю случившегося случая, в первый раз по возобновлению, едят настоящий русский завтрак.

Завтрак был накрыт, как в отдельном кабинете тестовского трактира: конусообразные салфетки, излишне твердые, лед вокруг коробки с икрой, се-



ледка с петрушкой во рту, косо нарезанный балык и крутое масло, сделанное в форме поросенка. В ведре стояла водка в традиционной бутылке, но с неприятным парижским ярлыком.

– Мы, собственно, не знаем, как происходит церемония русской еды, – сказал папа, рассматривая тарелки через пенсне.

– Прежде всего, – командующим тоном ответил директор, – полагается продезинфицировать кишки.

– Каким образом? – почтительно спросил папа.

– А вот каким, – ответил директор и осторожно, но со сладострастием разлил водку в рюмки, узкие вверху и широкие у дна. Потом отломил у масляного поросенка хвост и заднюю ногу, размазал их по хлебу, сверху, как мороженое, положил столбик икры и, крепко сжав челюсти, начал выжидать, когда то же самое сделают остальные.

– Теперь ам! – сказал он по-русски, и все поняли. После третьей рюмки папа разговорился и поглядывал на нас так, будто за хороший завтрак мы приняли на себя обязанность его одобрять.

– Дорогой мой, – говорил папа принцу, развивая соображения, давно, видимо, начатые, – тебя соблазняет политическая карьера? Понимаю. Здоровье есть, деньги есть, молодая жена будет – хочется власти, хочется посланничества, министерского портфеля. Это естественно. Но, мой друг, тогда слушайся меня. Иди в левый сектор: только там тебе дадут ход. У нас ты сто лет будешь мальчиком на побегушках, а там, при твоих денежных возможностях, ты сразу – ас. В воздухе – беспокойно, пахнет делами нерадостными. Если ты будешь даже социалистом, наше государство все равно охраняет твои капиталы. Вспыхнет революция – тебе, в левом секторе, будет легче вывернуться. Не

случится революции – ты лет через десять перейдешь к нам, и тогда мы тебя встретим как заблудившегося епископа, заколем на радостях козленка и, самое главное, обеспечим тебе твой высокий сан. Скажем: был дураком, ошибался, красивые слова, головокружительные лозунги, благородные позы и так далее. А быть левым – это очень легкая штука. Делай что хочешь, говори что хочешь, требуй чего хочешь – все сойдет. Помилуйте! Он левый! У него – благородное сердце! Не так ли? – обратился он к директору.

Тот моргнул, но поддержал.

– Совершенно верно, – сказал директор, – то же самое происходит и у нас в театре. Актеры страшно любят играть сумасшедших. Делай что хочешь: поди там разберись.

– Здесь то же самое! – радостно ответил папа.

– Здесь ты – друг народа; поди разберись.

Дениз неуловимо милым движением глаз поманила меня в зал, к роялю. Я не люблю, когда музыкант играет свои вещи или писатель читает свои рассказы. В этих случаях у слушателей бывают или глупые, или фальшивые глаза. Выручил Шопен, которого в дни юности я играл недурно. Играть Шопена на «Бехштейне», на мягкой клавиатуре, – большая радость. Но когда я поднял глаза на Дениз, то увидел, что она взволнована волнением, которое к музыке отношения не имеет. Белое пятнышко, которое было в середине румянца, распространилось по всей щеке.

– Вы недовольны моим Шопеном? – спросил я.

– Вы играете очень хорошо, – ответила Дениз, – но почему вы выбрали именно эту вещь?

– Не знаю, – в недоумении сказал я, – так – вспомнилось.

Дениз невесело улыбалась.



– Вы – музыкант, и вы, конечно, знаете, что этот вальс Шопен играл на свадьбе девушки, которую он любил.

– Право, я этого не знал, – ответил я смущенно.

– Прочтите биографию Шопена, – сказала тихо Дениз, и мне показалось, что меня поймали в каком-то нелепом мошенничестве.

VII. Серенада Мефистофеля

На другой день после завтрака мы с директором с самого утра засели в пустынном кафе. Директор похмелялся. Перед ним стояли четыре посуды из-под спа, которое, если верить ярлыку, стимулирует деятельность почек, прекращает нефритические колики и незаменимо для подагриков.

У директора упорно не хочет гореть сигара. Он поправляет разлезающиеся табачные листики и, похрипывая, говорит:

– Вот видишь? Позавтракали мы с тобой по-русски, восприняли по старинке алкоголя, и вспоминается мне теперь город Армавир. Директор тамошней музыкальной школы – отличный пианист и лучший в мире аккомпаниатор. Он говорил: «Я – аккомпаниатор по природе; я люблю, когда мне приказывают». В то же время он был королем пьяниц, моим родителем и имел вечно воспаленную печенку. И вот видишь? Пью я мало, но по наследству имею папину печень.

Пауза. Спа, стакан – в три жадных глотка переходит в директорское горло.

– Россия погибла от многих причин, – философствует директор, – но одна из них кажется мне главной. Это – русская еда и русское питье. Русская еда – несравненна, но в России не было философии еды. Жрали много, тяжело, ужинали в полночь.

«Гневом горит моя иссохшая печень!» – восклицал Ювенал. Гневом горели добровольно замученные русские печени. Только теперь, сев на пищу святого Антуана, подлечившись на эмигрантском режиме, освободив печень от мясных и алкогольных ядов, мы понемножку протерли глаза и стали отдавать себе отчет: «Черт возьми! Да почему мы, собственно, были так недовольны Россией? Что, собственно, в ней, по сравнению с Европами, было плохого?» Если даже согласиться с митрофанами, что свободы было мало, то уж, черт возьми, независимости у нас было много. Правительство ошибалось? Ошибалось. Бывали бездарные министры? Бывали. Но, брат мой, страдающий брат, выдь на Волгу и укажи мне такую обитель, где правительства не ошибаются и где все министры – с гением на челе. Полиция была в участках? Била. А укажи мне такие великие декорации, где полиция по головке гладит мордомочителей. Но суд наш – лучший в мире, и на глазах русской Фемиды повязка была не из марли, а из голландского полотна! Жизнь была дешева, просторна, работай, кто хочет, русский ты или иностранец, не спрашивали. А железные дороги? А волжские пароходы? А университеты? А наука? А печать? Разве я мог бы дерзнуть пойти в русскую редакцию и за щербатый двугривенный купить театральный отзыв, как это я делаю здесь, в самых безукоризненных демократиях? А деньги? А мой батюшка-рубль? Э-эх! А возьмешься за литературу, голова кружится. Панихида. Надгробные рыдания. Скучные люди, хмурые люди, тяжелые люди. Откуда? В чем дело? А оказывается, чеховский желудок не мог переварить даже тертой ветчины. Конституции! Дай конституцию! Не конституции спасли бы, а «Ессентуки» номер семнадцатый, карлсбадская соль и вода из Виши!



И директор снова взялся за спа.

– Говорить об еде, заниматься едой считалось мещанством, – гремел он на все кафе, – и никому в голову не приходило, что именно она, еда, в значительной степени влияет на образование национального характера. О еде, о культуре еды надо в университетах читать. Что у немцев? Колбаса, сосиски, пиво. Тяжелый и неподвижный национальный характер. Француз напирает на зелень, на салаты, сыры, ягоды, усердно пьет настойки из липы и ромашки, вино, и без того слабенькое, разбавляет на сорок процентов водой, – отсюда живость характера, смешливость, остроумие, веселость незамысловатых песенок, доброе отношение друг к другу. Макароны сделали итальянцев приятнейшим народом мира, а малопрожаренные бифштексы, виски и эль родили английский сплин. А меня возьми. Позавтракал вчера по-русски, обрадовался, – сегодня всем морды бить хочется. Что это? Я – злой человек? У меня плохие дела? Ничуть. В чем же причина? Она, проклятая, играет. – И директор ткнул пальцем в мой правый бок.

И действительно, глаза его отдавали тяжелым свинцовым блеском, щеки горели, и руки, вместо стакана, часто и судорожно хватались за порожнюю бутылку.

– По существу, – говорил директор, – я – счастливый и удачливый человек. Но сейчас мое пребывание на земле кажется отвратительным. Ясно сознаю, что живу в суете, морочу голову с лилипутами, когда на земле есть совершеннейшие формы искусства, изворачиваюсь, ношу монокль, чтобы лгать не моргая, грош к грошу приклеиваю кровью, добиваюсь женской любви миллионами сложнейших фокусов, – какая это утомительная и каторжная чепуха!

– Что и говорить! – подзадориваю я.

– Цыганский романс однажды выпалил глубокую истину: «Любовь идет сама, свободна и легка». И как я завидую тебе, чертова кукла!

– Не говори глупостей. У Дениз есть жених по имени Аль, – возражаю я.

– Чихать она хотела на этого Аля! Я следил за нею. Я видел, как ее глаза останавливались на тебе. Как они жили, эти глаза, как они путешествовали в каких-то тайных областях, как через них все сонмы ее дедушек и бабушек смотрели на тебя. Деда были против, но бабки – за. Что они нашли в твоём высокоблагородии?

– Не знаю, – задорно и небрежно отвечал я.

– И посмотри на себя. В тебе появилась лёгкость походки, перестал блестеть нос, сократились поры на щеках, посвежели губы, повеселели глаза, прижались к черепу уши – ты помолодел, мой друг! Твои десны стали много краснее. Ты начал пить из чаши, которая в первом акте подается Фаусту.

– Но мне кажется, что я не подписывал никаких обязательств, – отшучивался я.

– Тем лучше! В гроб ты можешь лечь в одежде францисканского монаха.

– Друг мой! – сказал я. – Через три дня я буду сидеть в Париже, на Монпарнасе, и забуду, как выглядит Дениз.

– Фаусты, – ответил директор, – до самого четвертого акта находятся в одурении. Мефистофель всегда должен петь за них серенаду, дарить драгоценности и заклинать цветы. Гарсон! Дай чем писать! – скомандовал он в буфет и добавил, – я и забыл, что мне нужно составить деловое письмо.

В глазах директора блеснул тот сигнальный огонек, который я знал и который всегда показывал, что в его черепную коробку упало новое



зерно, которое может произрасти самыми неожиданными и проказливыми всходами. Он пересел за соседний стол, разложил бювар с серебряными буквами аперитивной фабрики, потер пальцем переносицу, вдохновенно улыбнулся и предался труду.

Я был рад остаться без разговоров о печени, без булькания спа, без директорских свинцовых глаз. И странно: в первый раз за много лет я не ощутил одиночества. Директор подсказал мне что-то. Он, как талантливый художник, обратил мое внимание на то, чего обычно сам не замечаешь. Вот зазвенело в правом ухе: признак того, что о тебе где-то вспомнили. Прислушиваешься к этой таинственной нити, которая, как провод, тянется издалека, пронизывает антверпенский дождь и зеркальное окно кафе. Стараешься уловить и расшифровать странный, тихий и протяжный звук. Вдруг сжимается сердце и понимаешь, что это – не болезнь, не физическая спазма мышц, а постороннее, волшебное и сладкое воздействие, похожее на сигнал таланта, что ты слегка заколдован и уже не всецело подчинен себе, что в твоей воле есть изъян, что жизнь твоя, как поезд, готовится перейти на другие рельсы и уже щелкнули стрелки.

В чем дело и не так ли начинается любовь? Я знаю одно: время мчится невероятно быстро, и директор уже окончил послание к римлянам, как он называет свою корреспонденцию.

– Проводи меня до почты. Все равно тебе делать нечего, – говорит он.

– Почему нет? – отвечаю ему на одесском языке.

Идем по мокрым и глянцевитым тротуарам. Почта находится в глуховатой улице. То и дело чередуются лавки, на окнах которых – бездны табаку и

шоколаду. Странно: по отношению к бельгийскому табаку я стал испытывать некоторую враждебность. И кроме того, директор прав: я ощущаю, что моя походка стала легче и стремительнее, словно от подошв моих отстала полоса сильного и липкого клея.

Вот почта. Директор бросает письмо в отверстие с надписью «Город».

– Ты слышишь, как оно стукнуло? – спрашивает он.

– Слышу.

– Поздравляю тебя. Это – первая нота серенады. В этом письме пошло к Дениз твое объяснение в любви. Твоя гондола поплыла.

– Моя гондола стоит на месте, и ты сейчас же это письмо возьмешь обратно! – говорю я и для верности беру директора за шиворот.

– Я пошутил, – отвечает директор, – это – деловое письмо.

– Деловое или не деловое, но я его буду иметь в руках, – настаиваю я, – или тебя ждут большие неприятности.

– Болван! Это письмо в контору нашего театра. Клянусь тебе совестью!

– За твою совесть не даю двух су.

– Ты меня задерживаешь. Мне надо идти на вокзал. Я сегодня вечером уезжаю в Париж! – восклицает директор.

– Я тебя не выпущу до тех пор, пока не буду иметь этого письма. И не надо терять времени, ибо ты знаешь: левой рукой я выжимаю пуд, а иногда ружья начинают стрелять сами.

Директор молчит и посиневшими губами шепчет молитву.

– И отчего твоя мама не сделала аборта, когда забеременела тобой? – вдруг злобно-плаксиво спра-



шивает он и, под моим водительством, вступает на лестницу почтамта.

Сторож с медалью объясняет нам, что письмо изъять можно, но для этого нужно сообщить точное его содержание и точный адрес.

– Письмо адресовано в контору французского королевского театра, – сухо говорит директор.

Сторож записал показание в блокнот.

– Содержание письма? – спрашивает он.

Директор косо смотрит на окошечко, в котором принимают заказную корреспонденцию, и говорит:

– Я прошу контору извинить меня за мой неожиданный отъезд и сообщаю, что долг, числящийся за мной по электричеству, по оплате рабочих, по печатанию афиш, по газетным паблисити, я не могу оплатить сейчас, ибо гастроли дали большой убыток. Все это я вышлю из Намюра. Больше ничего.

Сторож спешно и деловито исчезает во внутренних помещениях.

– Когда же мы едем в Намюр? – миролюбиво спрашиваю я.

– Когда выпадет карта! – загадочно и миролюбиво отвечает директор.

Через несколько минут возвращается сторож и говорит, что выемка уже произведена и письмо будет выдано только завтра утром.

– Что ж. Придется прийти завтра утром! – говорит директор, с независимым видом выходит на улицу и насмешливо напевает мне в ухо – Сквозь аккорды струн певучих слышен сердца стон, поцелуев твоих жгучих страстно молит он!

Странно: я на него уже не сержусь, и в его пении даже указываю неправильности.

VIII. На олимпе

В мае семнадцатого года петербургские торговки вынесли на Невский проспект кошелки, расставили их вдоль тротуаров и открыли торговлю яблоками. Это обстоятельство нагнало на меня смертную тоску. Я понял, что Петербург умирает и начинается тление. На вокзале мне сообщили, что плацкарты выдаются только пассажирам, уезжающим не ближе Тифлиса. Я купил билет до Тифлиса. Не все ли равно, куда ехать. И вот тогда, раскрыв чемодан, чтобы уложить вещи, я заметил в его углу комочек серой пыли. Тут же лежало стальное перо с цифрой 84 на спинке и огрызок фиолетового сургуча. Мне жаль стало выбрасывать их, и с тех пор они путешествуют со мной.

Глядя на них, я всегда почему-то думаю, что прадеды, деды и отцы наши за все свое столетие не испытывали и не узнавали того, что мы – за один день. Наше поколение, хотя порою и завидующее мертвецам, все же самое интересное, что появлялось в русской истории. И если через 200–300 лет на земле будет прекрасная жизнь, то все же наши потомки иногда вздохнут, позавидуют нам и скажут: «Вот когда люди жили по-настоящему!» И если бы мне предстояло бы еще раз явиться на землю, и если бы в царстве неродившихся душ мне сказали бы, что в моей новой земной судьбе снова будут и война, и революция, и эмиграция, – я бы принял их без всякого колебания.

Этот чемодан купил мой отец, собирая меня в университет. Он обит внутри русским сероватым полотном с голубыми полосками. Спинки его оклеены ярлыками из гостиниц всей Европы. На него падали карпатские снега, его мочили стоходские дожди, его прожигало солнце Канарских островов.



Он честно поработал на своем веку, мой чемодан, он знает прилавки почти всех таможен, и его замки были верными собаками. Он носил и коллекции французских духов, и китайские книги Мэн-Цзы, и испанские шали, и египетские табаки, и каприйские кораллы, и тюбики болгарского розового масла – и все это неизменно соприкасалось с частицами русской пыли, с пером № 84 и фиолетовым сургучиком.

Антверпенские гастролы закончились, и директор, собрав лилипутов, как раков в мешок, выехал с ними в Париж ранним поездом: директор страдает дорожной лихорадкой и любит утренние поезда. Мне не хотелось вставать, и я решил уехать вечером. Мне жаль покидать Антверпен: чем-то он напоминает Петербург, а его главная улица решительно походит на Большой проспект Петербургской стороны. Я мысленно распланировал здесь Введенскую улицу, (Матвеевскую, Зверинскую и Большую Зеленину). Может быть, что-то петербургское есть в небе, в температуре дождя или в том запахе свежей огуречной мякоти, который говорит о близости холодного, рыбного моря.

Раздался стук в дверь и почтительный возглас груга, зовущий к телефону. Перескакивая через три ступени, бегу в бюро и прикладываю к уху тепловатую трубку. Я не сразу узнал важный басовитый голос, произносящий букву «б» с легким уклоном в «п». Телефонировал отец Дениз и просил прийти к нему сейчас же, не теряя времени.

Дверь открыл он мне сам и сам же помог мне снять и повесить пальто. Иногда в этих маленьких услугах и сопровождающей их улыбке сказывается воспитание, равное королевскому. В квартире стоял тот род тишины, который говорит об отсутствии женщин. После путешествия по залу мы вступили

в область комнат, мне неизвестных. Чувствовался особый, проникший всюду и отстоявшийся до пленительного аромата, запах сигар. Мы остановились у высокой, кованой, с золотыми инкрустациями двери, которую папа открыл большим, похожим на молоток ключом.

Когда мы вошли, то первое, что бросилось мне в глаза, был огромный стол, сделанный полуовалом и покрытый отполированным голубоватым мрамором, похожим на лед при лунном освещении. Перед столом, полукругом, было расставлено шесть мраморных же табуретов. Не было никаких обычных человеческих вещей: ни чернильниц, ни книг, ни картин. На хозяйском месте стояло музейное рыцарское кресло с высокой остроконечной спинкой. И тут же рядом помещался обыкновенный венский стул с плетеным кружком, на который я, по приглашению, почти высочайшему, почтительно сел. Окон не было, свет падал из стеклянных ртутных труб, проведенных у карнизов, и был он с примесью легкого розового оттенка, похожего на раннюю летнюю зарю. Что-то во всем этом напоминало богатую усыпальницу, вроде флорентийской часовни Медичи.

Тоном городничего из «Ревизора» папа торжественно сказал:

– Вы, конечно, догадываетесь, зачем я пригласил вас. Я прошу вас быть совершенно искренним: Дениз передала мне то письмо, которое вы ей написали.

Я почувствовал, что ноги мои коснулись горячей земли.

– Не избегайте моих глаз, – успокаивающе говорил папа, – вам придется смотреть в них.

Глаза были серые, старчески дальнзоркие, но правильными интервалами в них вспыхивали, как



у хищных зверей, бенгальские зеленые, мельком проносящиеся огни. Он разложил на столе послание, сочиненное директором, содержание которого было мне неизвестно. Я понял, что объяснять его происхождение – глупо, и надо принимать вещи так, как они сложились.

– Поклянитесь мне, – сказал папа, блеснув тигровым огнем, – что все, что вы узнаете сегодня в той комнате, навсегда останется тайной двух джентльменов.

Я молча пожал плечами, и папа истолковал это как клятву.

– Вы – чужой и неизвестный нам человек, – продолжал он с прокурорской серьезностью, – мы с улицы приняли вас в дом как гостя, посланного судьбою. Мы были рады служить вам, чем могли. В доме есть молодая девушка. У нее есть жених. Откушав нашего хлеба, вы пошли в кафе и написали ей оттуда о любви. По человеческой логике это – как будто ничтожно, не правда ли?

– Да, – ответил я.

– Теперь скажите мне, как у вас, русских, выражается самая сильная форма презрения?

– Вы можете плюнуть на меня с высоты тринадцатого этажа, – ответил я.

Папа улыбнулся и сказал:

– Только с тринадцатого? – и добавил: – А я плюю с высоты двадцать шестого этажа, и не на вас, мой милый друг, а на человеческую логику. Поняли? Я бы поднялся и выше, но сердце, какие-то там клапаны не позволяют. Вы поступили правильно, мой друг, спросив в кафе чернильницу. То, что вы написали, прекрасно. Так должно и быть. Вы мне можете поверить, что на своем веку я людей видывал. И разбираться в них научился. Я уверенно говорю, что корыстных целей у вас нет... А если че-

ловек пишет о любви – то что тут плохого? Теперь: ваши намерения?

– Я мог послать письмо, но никаких намерений у меня не смело быть, – ответил я.

– Ваши планы?

– Я сегодня вечером уезжаю в Париж.

– Дениз выехала в имение, – сказал папа. – Это километров восемьдесят отсюда. Я еще многого не понял, но мне кажется, что она по отношению к вам не сохраняет безразличного спокойствия.

Свою мысль папа облек в только приближающиеся к ней слова, как министр, отвечающий на запрос в английском парламенте. Я постарался попасть в этот стиль и ответил:

– Если я вам скажу, что в моем сердце не вспыхнуло сожаления, вы можете мне не поверить.

– Почему же сожаление? – удивленно спросил папа.

– Я вспоминаю, что у Дениз есть жених, Аль.

Папа встал и торжественно выпрямился во весь свой большой и величественный рост.

– Друг мой! – сказал он. – Вы, вероятно, успели понять, что перед вами – человек (папа тонко улыбнулся), которому можно верить. Так вот, благоволите понять, что мне важен не Аль, не вы, не третий, не десятый и не сто первый. Мне важно одно: счастье моей дочери. И если Дениз захочет пойти к вам, я ее пошлю к вам. Если она через три месяца уйдет от вас к Алю, я не стану поперек дороги и не буду говорить жалких человеческих глупостей. Вы меня понимаете?

Я хотел ответить, но папа перехватил паузу и добавил:

– Знаете ли вы, милостивый государь, что женщине дан дар никогда не ошибаться. Если вы одной



из них скажете это, она первая рассмеется вам в глаза, но это так. Знаете ли вы, что если бы женщинам не мешали и не ставили препон ваши законы, ваши правила, ваша мораль, то земля была бы населена не сопляками, а полубогами? Знаете ли вы, что земля и женщина – одно естество?

Папа с шумом оставил рыцарское кресло и пошел в другой конец комнаты. Только теперь я заметил, что в углу была еще одна узенькая и тоже железная с золотом дверь. Он отпер ее другим и опять-таки замысловатым и большим ключом, жестом пригласил меня приблизиться и предупредил, поднимая палец:

– Ни один человек не переступал этого порога!

Я вошел. Посреди небольшой готической часовни, на мраморном постаменте, возвышалась статуя обнаженной женщины с чертами Дениз.

– Это не Дениз, – сказал папа, поняв мои мысли, – это ее мать.

Как в павильоне Венеры Милосской, по стенам часовни висели длинные полотнища синего спокойного бархата.

– Смотрите, как полна и стройна ее грудь, – говорил папа, – любуйтесь линией плеч и шеи, царственностью живота и ног. Видите, под ее ступней могла пролететь ласточка, – греческое требование красоты. Стоило из-за этого хотя бы Богу бросить небеса, спуститься на землю, облачить тело в ваши бездарные пиджаки и жилеты и заниматься тленом человеческих дел?

Я не понял вопроса, но, взглянув на зеленые огни, горевшие уже бесперывно, глухо ответил:

– Стоило.

– Что и было сделано, – ответил папа и сейчас же спросил: – Сколько, по-вашему, нас было,

когда мы с вами разговаривали у мраморного стола?

– По-моему, нас было двое, – не без жути ответил я.

– Двое! – с усмешкой сказал папа. – Сейчас вы начнете считать меня сумасшедшим, но нас было восемь, мой друг!

И папа, не моргая, смотрел мне в глаза.

– На мраморных табуретах сидели: Юнона, Венера, Меркурий, Посейдон, Бахус и Марс. Это был семейный совет. И больше скажу вам: вы им понравились.

Я тайно благословил парижский Монпарнас и его население, которые за десять лет выработали во мне привычку прежде всего – ничему не удивляться.

– Вы думаете, – продолжал папа, приближаясь ко мне вплотную, – перед вами чудаковатый, скрыто сумасшедший купец, жадный работороговец? Мое настоящее имя известно вам с детства. Я – Юпитер, мой друг!

– Хвала тебе, великий Бог! – смиренно ответил я, склоняя голову.

– Дениз – полубожественного происхождения, и если я вам первому открываю свою тайну, то потому, что вам суждено, быть может, приблизиться ко мне, как к отцу. И потом я помню слово джентльмена, не правда ли? Тайна – и позорная, рабская смерть за ее несоблюдение? Да?

– Да! – клятвенно подтвердил я.

– Теперь я открою вам, как все это случилось.

В часовне все время слышался ритмический однотонный звук. Только сейчас я понял, что это по стеклянной цветной крыше выстукивает свои песни упрямый, вечно бодрствующий, бессонный антверпенский дождь.



IX. Чудо Юпитера

– Жил лет сорок тому назад некий бельгийский купец, – так начал Юпитер и, немного подумав, добавил: – Мерзкая и темная личность. В те веселые и предприимчивые времена царствовал отличный коммерсант, талантливый король Леопольд, – и наш купец оперировал в Конго и по жестокости и жадности был первым из европейцев. Деньги и только деньги было его девизом. Он любил девушку, жившую здесь, в Антверпене. И вот однажды с высоты небес я заметил ее. Вам, конечно, известны и некоторые мои истории, и картины Тициана и Корреджио, на которых эти итальянцы написали якобы моих любовниц. Очень глупы все эти сказки с лебедем, с облаком, как у берлинского Корреджио, с денежным дождем. И Катерина Корнаро, которая охотно раздевалась в мастерской Тициана, совсем не в моем вкусе. У ней – жестковатый живот, слегка уродливый пупок и некрасивая ступня, без той горки подъема, которую вы видите в этой мраморной ноге. – И Юпитер нежно и задумчиво погладил ногу статуи. – Когда этот мерзкий бельгиец переполнил чашу моего терпения, я выгнал из его тела душу и вселил ее в змею. И вот он теперь. Если угодно, взгляните.

Юпитер подошел к черному ящику и, как демонстратор в музее, сдернул с него кусок бархата. В ящике, за железной решеткой и зеркальным стеклом, лежала огромная рыжеватая змея, одновременно блеснувшая копьём жала и бесстыдно злыми глазами. В этом взгляде сдерживался такой напор ненависти, который заставил меня вздрогнуть. Змее было тесно, и своим телом она образовала шесть концентрических кругов. Под днищем ящика стояла цинковая ванночка с те-

плой водой, а под ванночкой – стеклянная спиртовая лампа. Ее голубоватый и беззвучный язычок лизал цинк.

– Видите? – с мстительным выражением лица говорил Юпитер. – Как ему сладко здесь, бельгийскому прохвосту, какой ценой он искупает свои дела? Видите, ему даже пошевелиться нельзя, он никогда не может развернуть своих колец. Он отдал бы жизнь за возможность потянуться или хоть минуту проползти по траве. Вот ад, которого заслужил этот мерзавец. Он понимает все наши разговоры и мучается ревностью. Смотрите, как он слушает нас.

Змея действительно слушала с пристальным и презрительным вниманием. Между прочим, она ни разу не взглянула на меня, но на Юпитера смотрела с такой ежесекундно увеличивающейся ненавистью, которую даже со стороны было трудно вынести.

– Ты помнишь, – спрашивал ее Юпитер, – александрийский рынок, караван эфиопских мальчишек, которых ты поотнимал у матерей? Ты продавал их на вес, как кроликов. Ты бросал в колодезь негрятят, заболевших корью. Эти вопли, эти стоны сверлили мозг, но ты жил одной мыслью: там, на севере, в Антверпене, тебя ждет красавица – не чета Катерине Корнаро, с которой сластолюбивый Тициан написал бы не пять, а пятьдесят пять портретов... Этот зверь хотел овладеть совершеннейшей красотой, но тут получил от меня щелчок. Я всегда держу этот ящик при себе, и даже отправляясь в путешествие, беру его с собой и навожу ужас на таможенных надсмотрщиков. Сам же я вселился в его тело, приехал в Антверпен и, богатейший купец, зависть всех гильдий, завладел девушкой. В его облике я исполнил все ваши человеческие обряды,



отстоял службу в брюссельском соборе св. Гудулы, нас венчал смешной бритый архиепископ в красной мантии, и я даже целовал перстень на его пахнувшем табаком пальце. Надо вам сказать, что две тысячи лет я не появлялся на Земле. Эта маленькая и своенравная песчинка устремилась к другим богам, изгнала меня и разрушила все мои храмы – даже римские! Я подумал: хотите жить без меня, по своим новым правилам? Пожалуйста. И вот через двадцать веков я снова захотел взглянуть на человеческое стадо. Ну и устроились! Костры, тюрьмы, казни, войны, пытки, homo homini lupus est. Знаете ли вы, что такое Земля?

– Маленькая и своенравная песчинка? – повторил я его же слова.

– Не то! – ответил Юпитер. – Это мой черновой набросок. Если хотите – это мой маленький театр, который я устроил от скуки. Сократ – герой-резонер, Клеопатра – героиня, Юлий Цезарь – первый любовник, Нерон – комик-буфф. Несложная бутафория, четыре декорации: зима, лето, весна, осень. Думал: понравится – создам жизнь на других, более обширных мирах. Увы! Люди оказались таким безнадежным быдлом и такими бездарными комедиантами! Рубят воздух руками, и хуже: глупостью своих страданий смеют оскорблять путь звездный! Сколько идиотского мозга, претензий, самовлюбленности, гордости, неуважения и к жизни и к смерти!

– А что вы считаете самым большим человеческим идиотством? – спросил я тоном интервьюера из солидной газеты.

– Вашу цивилизацию, – ответил Юпитер.

– Почему? – спросил я.

– Слушайте, – сказал он, – в вашей религии вы привыкли к притчам. Ну так вот. Некий человек

ждет гостей и с вечера зажарил добрый кусок телятины.

Ночью его собака стащила эту телятину и съела. Что делает утром человек? Он бьет собаку и выгоняет ее из своего имения. Что делает собака? Она плачет, скулит, визжит и царапает когтями дерево ворот. Это – естественно. Но что бы вы сказали, если бы собака в припадке раскаяния вдруг смастерила бы штаны, надела бы их и в таком виде явилась к вам? Вы подумали бы: собака взбесилась. Теперь. Вы, люди, нарушили данную вам заповедь, и вас выгнали из рая. Естественно, что вы должны были бы плакать, биться головой о стену, грызть кулак или вырвать язык, чувство вкуса. Что же делаете вы? Вы вдруг ни с того ни с сего начинаете стыдиться вашей наготы. Почему? При чем тут нагота? Чем она была виновата в данном случае? Но, устыдившись наготы, вы надели вокруг пояса связку виноградных листьев, то есть первый вариант штанов. Что это такое? Где логика?

– Логики как будто нет, – ответил я.

– Почему же это люди сделали?

– Не могу понять.

– Не можете понять? – сурово спросил Юпитер.

А на самом деле все очень просто. От горя люди сошли с ума и поэтому ни с того ни с сего напялили на себя штаны. Поняли?

– Понял, – ответил я. – Но я не могу понять, в какой связи это стоит с цивилизацией?

– В какой связи? – сказал Юпитер. – В связи самой очевидной. Ибо вся ваша цивилизация построена на этом стыде наготы, на стыде необъяснимом, нелогичном, сумасшедшем. На ложном стыде люди построили ложную цивилизацию, и вот тот источник, который отравляет вашу жизнь. Рай – это Земля, и



вы, действительно, изгнаны из него. И только одна собака добровольно ушла с вами. Все остальные: звери, птицы, насекомые, оставшиеся в раю, ненавидят вас, изгнанников. Вместе с вами все зверье ненавидит и изменницу – собаку: вот почему кот всегда готов ей выцарапать глаза. Вам было дано тридцать чувств: из них двадцать пять вы уничтожили шерстью ваших пиджаков, крахмалом ваших воротничков, кожей ваших сапог. Тысячи лет вам нужно было ждать Коперника, чтобы догадаться о движении Земли, а самый обыкновенный петух знает это через две секунды после своего появления из яйца. Он не только знает его, это движение, он наслаждается им, как каруселью, и его крик, его кукареку означает команду: «Крутись веселей!». В голове самого ординарного воробья больше знаний, чем в голове самого прославленного вашего профессора. И эти ваши знания! Ваше последнее яблочко, сорванное с райского дерева, аэроплан. Весь пернатый мир грохнул со смеху, когда вы на этом чудовище, треща мотором и воня бензином, поднялись к облакам! И добро было бы, если бы на нем сидел поэт, но вы ведь первым долгом посадили туда солдата. И вот следующее яблочко, которое вы сорвете, будет газ, в полчаса разрушающий такой город, как Париж. И в один неизбежный момент, от яблочек, вы, и ваши дети, и ваши цивилизации – все умрете смертью, как вас и предупреждает о том, самыми ясными словами, первая глава Бытия. Вы ничего не слышите, не видите, не понимаете вокруг себя. Вы вот музыкант. Что слышите вы сейчас?

– Шорох дождя на стеклянной крыше, – ответил я.

– Шорох дождя, только шорох! – презрительно сказал Юпитер. – Это называется человеческие

уши! Вот я сейчас натяну колки вашей барабанной перепонки. Что слышите вы теперь?

Странно: шорох капель обратился в журчание музыкального ящика. Через секунду я понял, что он играет приятную песенку, вроде тех, которые любил сочинять Люлли.

– Слушайте дальше. Я еще более подтягиваю ваши колки! – сказал Юпитер.

И через секунду я слышал странный, огромный рояль, не меньше чем двенадцать октав. Исключительный пианист, которого я не мог бы сравнить ни с одним из современников, играл что-то, напоминающее Первую бетховенскую сонату.

– Неплохо, не правда ли, звучит антверпенский дождь? – иронически спросил Юпитер.

– Вы совершили чудо, великий Бог! – ответил я.

– Ничего здесь нет чудесного: это обыкновенная музыка дождя, – ответил Юпитер. – Послушайте-ка вот это теперь.

И я услышал оркестр. Но, Боже мой, что это за оркестр! Только за скрипичными пюпитрами сидело не менее ста первоклассных музыкантов. В сравнении с их инструментами каким ничтожеством оказались бы самые прославленные страдивариусы! Виолончели, действительно, превратились в небесные голоса: так должны играть ангелы в райских картинах Беато Анжелико. Какие альты, трубы, флейты, фаготы, валторны! Тромбоны – вероятно, из тех, которыми создаются июньские громы.

Вот прозвенели по полутонам арфы, к струнам которых прикоснулись пальцы ветра, – и вдруг меня охватил ужас, я затаил дыхание и чувствовал, как каждая капля этого ужаса превращается в несказуемый восторг. У меня перестало биться сердце, ибо этот несравненный, никогда не слышанный



на земле оркестр играл мою симфонию, которую несколько дней тому назад я окончил в этом антверпенском доме. Но как жалки были мои человеческие мыслишки, моя изобретательность, мой темперамент, воспламенившийся от серых глаз девки из «Мажестика», как неуклюже и аляповато было мое *andante* – и как все это сейчас божественно разрослось, как полноводна стала река моей музыки, – и душа России раскрылась передо мною и затрепетала, живая, великая, буйная и бессмертная!

– Укрепи мою память, великий Бог! – крикнул я Юпитеру. – Я – слаб и несовершенен, я забуду все и не донесу твоего дара до конца!

И вдруг в музыку ворвались посторонние, сухие и ничтожные звуки. Кто-то стучал в дверь и вопил:

– Вы проспите ваш поезд, уже осталось только пятнадцать минут!

– Пошел к черту! – с отчаянием вскричал я и увидел свою комнату и отцовский чемодан.

– Вы сами просили отнести ваш багаж на вокзал. Откройте дверь! – кричал голос.

– К черту!

– С меня взыщет управляющий, если я не разбужу вас!

Я бросился к двери, чтобы убить кричащего, и увидел грума и улыбающуюся Дениз. Она была в кожаном пальто и такой же шапочке, и по ним струилась дождевая вода.

Х. Отъезд

Дениз смотрела на меня весело-вопросительно. Около нее вертелся грум, все время одергивавший сзади свою узкую курточку. На лице у него лежала озабоченность, осененная ярким желанием заработать. Чемодан манил его, как собаку – кусок мяса. Он

понимал, что появление Дениз еще больше осложнит путаницу.

– Простите, что я обеспокоила вас, – это были первые слова Дениз, – но я получила ваше письмо и ничего не могла в нем разобрать. По рассеянности вы написали его по-русски. Прочтите его вслух. Я хочу слышать, как звучит русский язык.

Раздельно, с чувством, с толком и расстановкой я начал читать хитроумное послание Мефистофеля.

«Милая Дениз! – писал он своим вычурным, специально выработанным, бьющим на шик и небрежность почерком. – Завтра я уезжаю и знаю, что по правилам вежливости надо бы зайти к вам и проститься. Но меня, первый раз в жизни, охватывает непонятная, невероятная робость, и я ограничиваюсь тем, что пишу эти строки. Пишу их по-русски с тем расчетом, что если вам захочется их перевести, то вы не так-то скоро найдете в вашем городе переводчика: во всяком случае, я в это время буду уже в Париже, на террасе какого-нибудь монпарнасского кафе, в которых я провожу все свои свободные часы. Благодарю вас и вашего отца за ту ласку и внимание, с которыми вы встретили меня, бездомного бродягу, которого ветер гонит по дорогам и жнивьям, как осенний желтый лист. Судьба странно столкнула нас, и, если хотите правды, я бы очень хотел еще раз повидать вас, но, конечно, без Аля, к которому как-то не лежит моя измученная душа. Прощайте. Будем, каждый по-своему, заполнять антракт, положенный человеку между его колыбелью на колясочках и колыбелью без колясочек. Кланяется вам и папа-директор, мой первый друг и веселый человек, человек московской, беспредельной души».

Дениз слушала меня, как слушают отдаленную музыку.



– Как хорош ваш язык! – сказала она. – Вам не кажется, что гласные буквы похожи на окошечки в стене согласных? «А» – стекло белое, «о» – желтое, «и» – синее, «у» – фиолетовое, «ю» – зеленое, «я» – голубое...

Я перевел послание.

С первой куклой у девочки начинают теплится огоньки материнства, а перед ней, уже семнадцатилетней, почти созревшей девушкой, стоял взрослый человек, душу которого осеняет робость и нерешительность, какими лисьими петлями директор предпринимал свое наступление!

– Когда вас навещают дамы, – спросила Дениз, – вы их приглашаете есть?

– Ах, Боже мой! – спохватился я, придвигая кресло с салфеточкой для головы. – Но, право, я – вежливый человек. Вероятно, я очень смешон.

Дениз достала из сумки зеркальце, переплетенное в кожу. Было трогательно, что и у ней оно было запущенное, как маленькие походные зеркальца всех женщин: на стекле следы пудры, отпечатки пальцев. Она протянула его мне, чтобы я убедился, смешон я или нет. Я комически встревожился и рассматривал свое лицо то одним глазом, то другим. Потом повернулся так, чтобы увидеть ухо, и, наклонившись, пригладил волосы, торчавшие на затылке. Дениз благосклонно, по-гимназически, смеялась над моей неуклюжестью.

– Наша труппа уехала еще утром, – сказал я, чтобы начать разговор.

– Ваша труппа благополучно находится еще на вокзале и уезжает только сейчас, – ответила Дениз.

– Как так? – спросил я, искренно удивленный.

– Очень просто. Вашего бедного директора задержала полиция. Он там что-то не заплатил, какие-то недоимки. Оказывается, вы прогорели.

Я от души рассмеялся.

– Вы смеетесь, когда ваш друг попадает в беду? – спросила Дениз удивленно.

– Но, однако, если мой друг уезжает сейчас, значит, он нашел в последнюю минуту чем заплатить?

– Ничего подобного, – ответила Дениз, – он позвонил к нам по телефону, и за все уплатил папа.

– Как?

– Ваш вопросительный знак – высотой до небес, – сказала Дениз. – Ну да, папа дал ему займы. В этом совсем нет ничего особенного. Всегда выручают друзей. Тем более, что он все обещал выслать из Намюра.

– Но наша ближайшая поездка предусмотрена в Испанию!

– А из Испании, значит, в Намюр! – упорно не сдавалась Дениз, и я почувствовал в ней отдаленное влияние того, что называется характером. Стало ясно, что она если верила, то умела верить до конца: это в ней было подлинной женской чертой.

– Боже мой, какой наглец, – невольно вырвалось у меня, – какой проходимец!

– Теперь у вас пошли знаки восклицательные, – отвечала Дениз, – и тоже преувеличенные. Вы учились по классу трагедии? Ваш директор – преблагороднейший человек. Папа предлагал ему на пять тысяч больше, но он отказался, и голос его блеснул светским холодком. Он сказал, что пусть лучше труппа поедет в третьем классе, но он никогда не возьмет лишних денег!

– Милая Дениз! Но мы же всегда ездим в третьем классе!

Дениз сначала посмотрела на меня недоверчиво, потом ее мысль, видимо, перешла в другие области, в глазах промелькнули золотисто-брызжущие



искры, и все это вылилось в легкий заразительный смешок.

– Ну а если он даже обманул и деньги пропали, то вам-то что? – спросила она и добавила: – Папа не обеднеет.

– Деньги не пропали, – ответил я, – деньги возвращу вам я. Я его ввел в ваш дом, я за него и отвечаю.

– Вас это не касается, – отрезала Дениз холодно.

– Недаром я во сне видел змею...

– К неприятностям, – серьезно сказала Дениз.

– Потом мне снилась музыка, великолепный оркестр...

– Ждите новостей, – тоном гадалщицы отвечала Дениз.

– Жаль, что я не успел записать музыки. Проклятый грум помешал.

– Проклятый грум и проклятая Дениз. Она тоже настаивала на вашем пробуждении.

– Вы – самая прелестная часть моего сна, Дениз, – ответил я. – Я с вами разговариваю второй раз в жизни, а на душе такая легкость и простота, будто я знаю вас лет пять. Сон продолжается. Глаза ваши – слегка насмешливы. Вы смеетесь над чудачком, в которого из невидимой леечки вливается яд влюбленности.

Дениз хотела ответить, но в это время грум опять стукнул в дверь. Она сказала ему что-то по-фламандски, он вошел в комнату и остановился, вытянул руки по швам и в своей форменной курточке, с разводами блестящих пуговиц, был похож на игрушечного солдата.

– Бери чемодан и неси его в мой автомобиль! – скомандовала Дениз.

Грум, показывая лихость, хотел рвануть с пола чемодан, и в этой лихости сказалось желание щегольнуть силой перед хорошенькой женщиной. Но рукописи дали себя знать, грум крякнул, и на лбу его около волос сразу выступили капельки молодого росистого пота. Замешательство, однако, было мгновенное, и, вызвав резерв сил, грум потащил чемодан, как ведро с водою, оставив левую руку для баланса.

– Куда вы намерены меня везти? – спросил я.

– На границу, – ответила Дениз. – Мы перегоним вашу труппу.

Дениз отвечала отрывисто, и мне показалось, что она рассердилась не то на мои слова о влюбленности, не то на появление грума.

– Где ваша мать, Дениз?

– Умерла.

– Вы ее помните?

– Слегка.

– Вы на нее похожи?

– Говорят.

Дениз была сердита.

Я встал, надел пальто. Привычный путешественник всегда испытывает особое чувство при расставании с комнатой, в которой он прожил какую-то частицу бытия. Есть комнаты дружеские, враждебные и беспокойные: особенно беспокойны те, в которых случались самоубийства или крупные карточные проигрыши. В эту минуту темноватая антверпенская показалась мне солнечной. Повинна в этом была, конечно, Дениз: от нее исходили и свет и тепло. Я улыбнулся своим мыслям. Дениз, следившая за всеми моими движениями, заметила эту улыбку и ничего о ней не спросила.

Ясно: Дениз – сердита.



Пошли по лестнице. По человеческим правилам, девушка, приходившая в подозрительную гостиницу к одинокому человеку, могла бы смутиться, тем более, что в таких случаях всегда поучительно-уничтожающими бывают взгляды кассиров и консьержей. Дениз шла, как по лестнице своего дома, и в этом отсутствии грязных тревог было то невозмутимое, не от мира сего, спокойствие, какое, вероятно, бывает у ангелов, когда им приходится ходить по грешным дорогам. Выйдя из отеля, она не посмотрела с беспокойством ни направо, ни налево (о, как я знаю этот взгляд!), а просто и не спеша подошла к автомобилю, около которого, с солдатской напряженностью, стоял маленький румяный, посвежевший на воздухе грум.

Автомобиль был длинный, похожий на барку, в центре которой воздвигнута маленькая двухместная каретка. К запаху отлично выделанной кожи примешивался аромат цветов, привешенных в продолговатом стаканчике у окна. Черным перчаточным пальцем с пустым концом Дениз прикоснулась, как к звонку, к перламутровой кнопке, и через секунду у меня возникло ощущение, которое бывает, когда трогаются сани и полозья начинают скользить по накатанной морозной, градусов на пятнадцать, дороге. Совершенно не чувствовалось движения колес. Судя по стрелке, скорость постепенно увеличивалась, но нельзя было заметить, когда это происходит. На поворотах улиц стрелка откатывалась налево, но за городом она твердо стала на цифре сто. Дениз закусила губы, глаза ее смотрели перед собой почти не моргая, и было в ней что-то похожее на амазонку. Сравнивая ее то с ангелом, то с амазонкой, пришлось понять, что я ею люблюсь. И потом, видя низкое бледное небо, асфальтовое шоссе, желтый

дым из колоннады фабричных труб, я еще понял, что ощущение санной езды получилось у меня по простой причине: до сих пор мне никогда не приходилось ездить в такой великолепной, спокойной и послушной машине.

За всю дорогу Дениз не сказала ни слова.

На невысокой насыпи показался поезд. Автомобиль начал догонять его с тем упорством, с каким собака преследует зайца. Вот стало видно, как покачивается задний вагон. Вагоны коротенькие, похожие на ярмарочные повозки – те самые, в которых, по коллективному тарифу, привыкла странствовать наша труппа. Вот мы уже поравнялись с серединой поезда. Первый и второй классы – пусты. В третьем, со множеством боковых дверей, пассажиры у окон играют в карты, едят, курят. Вдруг вижу бритую, остриженную ежом, старообразную рожу Васеньки. Машу ему платком. Васенька, сделав руки шорами, всматривается, узнает меня, радостно открывает рот и кого-то зовет. К стеклам возбужденно прилипает вся наша коротконогая компания. И вдруг, как Гулливер, показывается среди них директор. Шутовски раззявив рот, он вставляет в глаз монокль, критически всматривается в нас, узнает мою соседку, приходит в радостное состояние и, схватившись за петли, пытается опустить раму. Рама не поддается, и в это время я вижу, что рядом с радостным Васенькой, как привидение, сидит чужая и в то же время странно знакомая мне женщина. Сильно придавив веками глаза, я вызвал усилие памяти и понял: это была женщина из «Мажестика». Влюбленный Васенька увозил ее в Париж.

Стрелка колыхнулась направо и поползла к ста десяти. Мы, с гордой победоносностью, обгоняем поезд.



XI. Комедия

По автомобилю скользнула узкая косая полоса, потом вторая, третья... Боже мой! Я насилу понял, что это тени телеграфных столбов. Неужели солнце еще в силах пробуравить пласты небесных грифельных гор? Однако присмотревшись, я увидел среди них дыру, затянутую прозрачно-фиолетовой пленкой. По краям она была обведена серебристой лентой и походила на древнее египетское стекло. В то же время что-то похожее на согревающее дыхание вливалось в сырой воздух, из которого скорость автомобиля делала ветер, бивший по лицу с звериной силой. И как-то сразу стало ясно, что Франция – близко.

История с директорским займом меня бесила. Я проклинал себя, что ввел его в дом Дениз, ибо знал, что легче вынуть желток из неразбитого яйца, чем получить долг с директора. Злила его бесцеремонность и какое-то злокачественное отношение к деньгам. Было стыдно перед людьми, которые с такой доброй готовностью отнеслись к неизвестным и чужим пришельцам как к друзьям.

– Дениз! – сказал я. – Мы с вами друзья?

– Надеюсь, – ответила Дениз.

– У меня есть к вам просьба. Мне нужно разыграть перед директором маленькую комедию, и ваша помощь мне необходима.

– Тема вашей комедии? – спросила Дениз.

– Тема следующая: я влюблен в вас по уши; вы мне отвечаете тем же; Алю отказано; вы моя невеста и провожаете меня до границы.

Дениз удивленно взглянула на меня и спросила:

– А как будет заглавие вашей комедии?

– Ловля обезьян на жадность.

Дениз усмехнулась и ответила:

– Это интригует. Согласна.

На горизонте выросла точка какого-то строения, блеснуло красное пятно, потом окна отделились друг от друга, и стало понятно, что это – большой вокзал, что круглое – часы, красное – черепичная крыша, а темное – навес над поездом. На всем ходу обогнув цветник с фонтаном (как не нужны фонтаны в дождливую пору!), автомобиль резко стал у центрального входа, и я чуть не хлопнулся лбом о стекло.

– Плохо я вас везла, жених? – спросила Дениз, и в глазах ее были те же гордость и снисходительность, которые я замечал у всех хороших кучеров, начиная со своего калужского Андрея.

– Почему же «вас», моя дорогая? – наставительно спросил я. – Жениху говорят «ты». Спектакль скоро начнется, и нам надо репетировать.

– Плохо я тебя везла, мой дорогой? – спросила Дениз, и сразу послышалась та условность и повышенность тона, которая бывает у актеров, когда они начинают репетиции и читают роль по тетрадам.

– Ты везла меня отлично, – ответил я. – Но мне казалось, что ты слишком спешила. Мне казалось, что ты хочешь поскорее сплавить в Париж своего старого жениха, за которого выходишь не по любви, а по расчету.

И вдруг не по тетради, а совершенно естественно удивившись, Дениз спросила:

– Разве я похожа на женщин, которые выходят по расчету?

Это у режиссеров называется «вызвать у актера натуральный тон», и я тайно сам себя похвалил за мастерство.

– О, моя милая! – сказал я. – Прости меня. Ведь это я сказал от ревности, только от ревности.



– А ты к кому меня ревнуешь?

Боже мой, какая это актриса! Как она ведет диалог. Сколько искренности, темперамента, понимания обстановки, женского лукавства и любопытства! Как у нее заблестели глаза! И какое удовольствие ей ответить.

– Я тебя ревную ко всем. Вот ты сейчас вернешься в Антверпен, пойдешь в кафе Блюмера и будешь смотреть на обольстительных молодых людей, которые ходят, как коршуны – и так хорошо, отчетливо, по-гвардейски склоняют головы в знак приветствия. И у всех у них платочки уголком наружу.

Дениз поняла и, спрятав улыбку, спросила:

– Намек на принца Франсуа?

– На герцога Рейхштадтского намек, – ответил я тоном театрального Меттерниха и добавил: – Это отсебятина, Дениз. Никаких принцев нет. Все принцы ушли в небытие.

Я взял ее под руку, и мы солидной поступью пошли в буфет. Буфет был с тяжелыми дубовыми стульями, с декоративной резной стойкой, с горой сэндвичей. Солидно, как люди положительные, мы пили чай из фальшивых японских чашек и ели английские солоноватые бисквиты. Я упрекнул Дениз, что у нее перчатки с пустыми концами. Она испуганно ответила:

– Очень опасно провинциалке выходить за парижанина, все он замечает, все ему не так. Мы сейчас исправимся. – И она, невольно глядя на меня, начала разглаживать пальцы, и пустые концы исчезли.

– Чай он пьет непременно с лимоном, – почему-то упрекающе добавила она, и стало смешно.

Было досадно, когда на станцию вполз поезд, загородил окна, и в буфете сразу потемнело, зажглись нижние лампы люстр, появились новые ла-

кеи, и началось обычное пограничное оживление. В залу ввалились лилипуты, засели за табльдот, и Васенькина дама казалась среди них гувернанткой. Директор подсел к нам, заискивающе разговаривал с Дениз, но в глазах его сквозила скрытая тревога: по-моему, он вез большую партию игральных карт, боялся осмотра и для храбрости пил «Мартель» двойными рюмками.

– Дениз. – сказал я громко, – ты выйдешь со мной на платформу?

– Непременно, – ответила она, – я хочу проводить тебя до вагона.

– Тогда тебе придется пройти через таможню.

– Беда небольшая, – ответила она, – у меня ведь только вот эта сумочка. Я никого не задержу.

У директора выпал из орбиты монокль. Не моргая, словно только что проснувшись, он поочередно смотрел то на меня, то на Дениз. Потом протер кулаками глаза.

– Что ты смотришь, как баран на аптеку? – сказал я ему по-русски. – Твои предсказания сбылись. Я женюсь на Дениз.

– А Аль? – еле выговорил директор.

– Аль получил гарбуза.

Директор на всю залу крикнул: «Нет!» – застыл на несколько мгновений, потом так хлопнул ладонью, что всем в зале показалось, будто где-то из бутылки вылетела пробка. Директор потребовал шампанского, и все лилипуты, услышав это, явно удивились. Шампанское подали теплое, полусухое, редереровское «Аи», но Дениз пила его с тем удовольствием, с каким девушки пьют сладковатые вина. Лилипуты ничего не понимали и смотрели на нас с завистью.

– Где же правота, – кричал директор, подражая Сальери, – когда все это дается не в награду самоот-



вержения, трудов, усердия, молений, а дается безумцу, гуляке праздному? О судьба, – добавлял он от себя, – о индюш-шка!

– И ты знаешь, что тесть дарит мне в первую голову? – говорил я директору по-русски.

– Сто червонцев на мелкие расходы? – ядовито спросил он.

– Театр в Париже! – торжествующе ответил я. – Или купит готовый, или выстроит новый. Все сбывается по твоим словам. Ты – не бабка, а угадка. Тебе на ярмарках гадать.

Директор сразу попал в деловую струю и положил на стол локти.

– На кой черт строить, иметь возню, тары-бары сухие амбары, когда у меня есть нужное тебе дело? – с комиссионерской вкрадчивостью заговорил он. – Акустика – это что-то особенное, рекомендую! – И он чмокнул в соединенные три пальца. – Мебель только в прошлом году заново отремонтирована, красный бархат, и на обороте – пепельница. Не театр, а цимес.

Дениз прижалась ко мне, взяла под руку и сказала:

– Милый! Говорите так, чтоб и я понимать могла! А то мне скучно.

И директор снова крикнул:

– Нет, я не выдержу, я сойду с ума! Скорей отправьте меня в сумасшедший дом, в дворянское отделение! Или держите меня сильнее: я за себя не отвечаю!

Потом он присмирел, явно пригорюнился, положил, как сирота, голову на руку и, отвечая собственным мыслям, грустно добавил:

– А то – слава. Что слава? Слава без денег – мертва есть.

Я спросил шампанского и угостил лилипутов. Лилипуты присоединились к нам, заняли очень мало места и сидели на дубовых стульях, не доставая ногами до полу. Все посматривали на них с изумлением, а лакеи, наливая им вино, улыбались. Васенька победно кричал:

– Вот город Антверпен! Всем нам удружил, но только я своего секрета никому не скажу! – И кивал на свою даму с восхищением. Мне казалось, что она меня узнала и, поднимая бокал, смотрела в мою сторону со смешливым выражением глаз. На столе появился миндаль, обжаренный в соли, серебряные ведра с водой вместо льда, около нас с почтением кружил хозяин буфета и отдавал приказания лакеям, значительно и сурово поднимая большой палец.

Я поставил ставку на здравый смысл, в высокой мере присущий директору, и сейчас почти читал его мысли. Создавалась интересная «конъюнктура»: это было его любимое слово. Ясно, что если осуществится театр в Париже, то он – ближайший участник дела, компаньон, руководитель, администратор-делеге. Это значит: известность, имя – на слуху; и в газетах – на четвертой странице, портреты, интервьюшки по телефону, начинающиеся с тире и возгласа «алло». Контракты, завоевание рынка, шаг вперед, связь с хорошенькой актрисой. В такой обстановке не отдать долга – значит скомпрометировать и себя, и меня. Но в какой степени надежны все эти перспективы?

В этом изломе размышлений директор испытующе смотрел на Дениз, и тогда я, наклонившись к ней, тихонько, но внятно проговорил:

– Когда приедешь в Париж, остановись в «Лютеции». Это близко к тому кварталу, в котором я живу.



– Где прикажешь, мой милый! – таинственным шепотом отвечала Дениз.

Рубикон был перейден. Директор удалился в угол и долго ворожил там над бумажником. По спине, на которой натянулась материя пальто, по сдвинутой на затылок шляпе было видно, что он испытывает одно из самых сильных напряжений своей жизни. Вот он зовет лакея. Тот правым ухом выслушал приказание и принес на подносе бумагу и конверт. Маленькое послание к римлянам – и директор приближается к нам, неся в руках толстый пакет. Обливаясь потом обновленной, честной и солидной жизни, он подает пакет Дениз и говорит торжественно:

– Это – для вашего папы. Письмо и миллион благодарностей.

Потом спохватывается и встревожено добавляет:

– В пакет вложено десять тысяч.

Он смотрит на меня с торжеством. Я делаю вид, что озадачен, ничего не понимаю и что все это меня весьма интригует. Дениз не выдерживает и смеется до слез, склоняя голову к столу.

ХII. Путь в Париж

В православной церкви есть правило: не может быть посвящен в сан иерея вдовец, не достигший сорокалетнего возраста. Смысл правила – мудр; от юности моей мнози борют мя страсти, но после сорока лет наступает тот перелом в жизни человека, когда он уже – в силах обуздать их и бороться с ними.

И вот я снова (в который раз!) на пути в Париж.

Все мои помыслы направлены в сторону той фигурки, которая сейчас, по политой смолой до-

роге, мчит в Антверпен. Но... Моя юность прошла, мне сорок лет, и я борюсь с этими помыслами. Чтобы их отогнать, я искусственным напряжением памяти вспоминаю австрийскую Кирлибабу, на вершинах которой мы стояли в разгар войны: горы, снег, заброшенность. Из долины, где стоит штаб дивизии, старший адъютант, которого мы все фамильярно зовем по имени: Ашот, сообщил мне, что в этих тущобах придется пробыть до нового года. Это значит: жить в землянке, спать в тулупе, сапогах и шапке; забыть о прикосновении к телу теплой воды. И вот тогда вечером при свете свечи из скверного и быстро тающего стеарина вспомнишь, бывало:

– А вот есть на земле город Париж и площадь Конкорд! Барбес-Рошешуар, Сен-Жермен д'Оксеруа...

Пленяла звучность этих слов, и я часто произносил их у костра, в великой воздушной пустыне, когда полукруг неба кажется особенно ясным и опускающимся вглубь, ниже той горы, на которой сидишь.

– Что и говорить! – вздыхая, отвечал вежливый прапорщик Петя. – Париж – в него въедешь и угодишь. – И добавил, обращаясь к солдату, – Будьте так наивны, черпните еще стаканчик чаедралова!

Бывали времена перед войной, когда и я угорал, въезжая в Париж. Меня очаровывала простота и талантливость парижской жизни: возможность сидеть за столиками на любом тротуаре, осененность каждой улицы деревьями, питье кофе у стойки, куренье в театре, траурная марля на статуе Страсбурга, карточная игра в кафе на особых ковриках, ярмарки, балы под две гармоники, студенческие шуточные дуэли на дороге у музея Клюни, песни Аристиды Брюана, монмартрские кадрили, отдаленная призрачность и парение над городом



бело-серого, туманного Святого Сердца, пиво на гробах в кабачке Небытия, искусственные удавы на потолке Ада и добродушный апостол из Рая, карусели в форме ночной посуды, любовь француза к шутке и умение понимать ее и принимать, кучерские цилиндры, чтение газет на козлах, катанье в Булонском лесу, опереточный выезд богатого банкира с музыкальной трубой, гарсоны в полосатых жилетах и отели на левом берегу, в которых жила Верлен и Гамбетта. Нравились студенты, кружком заседающие в Люксембургском саду, которых вечером с подругами всех увидишь у Бюлье; нравились художники и их застекленные террасы на крышах домов; нравилась таинственность Обсерватории и лошади Карпо; темные ходы подземелий и кости людей, устроивших серию революций; нравилось кладбище с именем, которое значилось во всех преступных романах, – Пер-Лашез, и волновали ивы над могилой Мюссе, камни, под которыми лежали черепа Мольера и Рашели. На Монмартре я с непонятным трепетом отыскивал склеп палачей Сансонов, и на Монпарнасе – могилу Мопассана. Часто на кладбищах сторожа жгли костры из увядших венков, и тогда воздух третьего или четвертого часа пополудни наполнялся необъяснимым, грустным и молитвенным очарованием. Нравился Лувр и его длинный до льдистости навощенный коридор, напоминавший Петербургский университет. Нравились воробьи в Тюильри и старик, кормивший их и уверявший, что рассказы о том, что они приносили гвозди мучителям Христа, – вздорная выдумка. Нравились даже ночные коммиссионеры, в районе Континенталя предлагавшие посмотреть, «на каком пьедестале поставлено в Париже это дело». И перед утром – возвращаться домой на клячке, которая везет со скоростью по-

гребальной процессии, останавливаться на мосту и проснувшимися глазами посмотреть в сторону версальских и медонских лесов, откуда плывет опаловый туман, припадающий к похолодевшим водам Сены, – и в нем, как лодка Харона, скользит куда-то вниз неторопливая баржа; услышать час серебряного хрустального колокола и понять, что уже близко солнце, возвращающееся с другого земного берега, и озябнуть, и почувствовать, что владыка сна хочет взять свое и повеселить тебя видениями, в которых сольет в одну кашу и этот туман, и милое лицо танцевальщицы Гулю, и Гоголя, который ест жареного орленка, и московский оркестрион, вал которого усыпан гвоздиками и играет «Не белы снежки».

Цепь этих воспоминаний можно продолжать до бесконечности, но, увы, и в сорок лет нелегко отмахнуться от сладости страстей.

Никакие воспоминания и перечисления былых волнений не заслоняют девушки, в которой я разбудил зов актерства и которая, доигрывая роль до конца, на прощанье закинула руки мне на плечи, смотрела в глаза серьезно-пристально, особым женским фотографирующим взглядом, словно запоминая лунный рисунок радужной оболочки, потом притянула мою голову к себе, губы к губам, и я ощутил запах ее лица, напомнивший аромат июльских, незакрасневшихся яблок. От этого приближения ее глаза казались мне страшно далеко расставленными друг от друга, а поцелуй отравил кровь не сразу, а постепенно, и его действие начало сказываться только тогда, когда стали видны городские дома, третьи этажи которых были на уровне моей головы. Дениз оставила во мне какую-то частицу себя, может быть, капельку от влажности своих зубов, и это было как причастие от ее тела; я по-



нимаю высокопарность этих слов, но иных искать не хочу.

Кант пронаблюдал, что человек никогда не может представить своего полного уничтожения, и это – одно из доказательств бессмертия души. Я не могу представить себе, что больше никогда не увижу Дениз и это тоже какое-то доказательство. Это – старость? Будем с ней бороться. Нам – сорок лет.

Присмотревшись к России и особенно – к ее театру, тропинками и дорогами которого она поднялась на высоты, которых современный Париж не знал ни в одном из своих искусств, я, в следующие приезды, начал ощущать его провинциальность. В «Опера комик» уже нельзя было высидеть дольше второго акта. За то, что дает «Опера», мы в петербургском Народном доме платили один гривенник. «Французская комедия» – это только Корш, переехавший в роскошное помещение. В других драматических театрах не было сил перенести опошления любви. О, как я тогда понял того молодого парижского драматурга, который печатно имел смелость умолять своих коллег не писать о любви в течение десяти лет, и надежды, что за этот срок французское писательство отдохнет, наберется новых сил и свежести и создаст что-нибудь равное «Тристану и Изольде».

Потом я понял, что это не провинциальность, а обыкновенная старость. Французы и русские – это старик и юноша.

Молодость, страсти, ошибки, ум, еще не дисциплинировавший в себе законов здравого смысла, самоуверенность, запальчивость, нерасчетливость, переоценка сил – это чуждо старику, и от всего этого он отмахивается словами «славянская душа». Он уже не может вспомнить, что такая же

душа когда-то была у него самого. Но... всему свой черед; постареем и мы и в свою очередь удивимся какому-нибудь новому народу, который явится нам на смену со своими Наташами, Лизами, Марьянками, Грушеньками и Мисюсь. Наши дни и теперь не стоят на месте и уже чужаковатым кажется Белинский, звавший в театр умирать. Умирать мы предпочитаем в других, более для этого приспособленных местах.

В этом месте голова начинает хитрить. Ей надоели размышления. Она обращает внимание глаза на вагон. Поддаюсь искушению и произвожу невинные наблюдения: да, вагон – добротный, и коридор со своими входами в купе напоминает маленькую гостиницу. Освещение – ярко, даже больше, чем следует, и лилипуты спят, закрыв лица газетами. Я предчувствую, что сейчас катушка начнет кружиться назад и снова увижу пограничную станцию, платформу и девушку в кожаном пальто. Делаю усилие воли и хочу задержать действие – и вдруг у самого уха слышу низкий грудной голос:

– Сладко поцеловала? Мечтаете? – кто-то спрашивает меня русским, неторопливым языком и слово «поцеловала» произносит по-московски: «поцеловала».

Оборачиваюсь: сзади меня стоит незнакомка из «Мажестика». Она уже не в шляпке, а в черной кружевной косынке, которую я с детства помню у матери, которые часто видал в Испании, в Севилье. Я невольно люблюсь лицом, которое в шляпе последнего фасона что-то теряло от своей женской силы, – может быть, было подчеркнуто отсутствие кос. В косынке это скрыто, и создается иллюзия прежнего образа красоты: красоты моей матери и первых женщин, которых я любил лет двадцать тому назад.



– Разве вы – русская? – удивленно спрашиваю я, вспоминая ее безукоризненный французский язык.

– Русская. Потому и сбежала от вас, когда вы к швейцару адресовались. Стыдно было своего. Теперь вот на честный путь собралась.

– А Васенька разве не русский? С ним – не стыдно?

– Ну что же Васенька? Васенька – убогенький! А к вам я имею большую просьбу. В Париже у нас могут столкнуться общие знакомые. Я – из хорошей семьи. Ну мало ли на что человек из нужды должен бывает пойти? Не выдавайте моего секрета. Не говорите, в какой обстановке меня видели.

– Ну что вы! Бог с вами!

– Артисткой вот заделаться хочу. Буду с вами разъезжать, какой-то шарманочный номер директор обещался со мной поставить.

– Вы любите Васеньку?

– А как же его не любить? Бедненький, крохотный. Душа хорошая.

Я знаю этот номер, который директор давно хочет внести в репертуар. На сцену выходит шарманщик в широкой итальянской шляпе – очевидно, это будет Васенька. У другого актера – на спине барабан и тарелки. С ними – оборванная девка, певица и собирательница подаяний. Васенька крутит шарманку, барабан и тарелки гремят и иногда нарочно не в такт, а девица, унылая и безразличная ко всему на свете, поет:

Мама, мама, что мы будем делать.

Когда наступят зимни холода?

У тебя нет теплого платочка.

У меня нет зимнего пальто.

Этот номер всегда соблазнял мою жену, бывшую актрису из Невского фарса. И тут за все время я в первый раз вспомнил, что у меня есть жена и что часа через два мне придется увидеть ее, говорить с ней и лечь около нее на левой стороне кровати, – и Антверпен оказался мне стоящим отсюда за многие тысячи верст.

ХIII. Юдифь

У всех народов, под всеми широтами, причины женского «падения» бывают всегда одинаковы: нужда, пьяное дело, горностаевая накидка, гаруналь-рашидовские окна улицы Мира, художественное белье. Белье в особенности играет большую роль – по закону совершенно особенного, исключительно женского ощущения: как бы плохо ни была женщина одета, но если на ней хорошее белье, она чувствует себя нарядной.

В коридоре вагона кто-то притушил лампы, и воздух был без той надышанности, какая обыкновенно бывает в купе. В голове моей собеседницы еще не перебродило теплое шампанское (винная теплота таит усиленную крепость), она то и дело вынимала из полуопустевшего пакета камель и курила по-мужски, без мундштука, мизинцем сбрасывая пепел.

– Вот европейцы, – сказала она насмешливо, – никому и никогда не было до меня дела. Взял свое – и до свидания. Русский – подай ему причины. Вы умрете со смеху, когда узнаете, что мои причины были политические. Это под луной не каждый день бывает, правда?

– Да тут чудасия, мосьпане, – сказал я, стараясь подладиться под тон насмешливости.



– Да, чудасия, – ответила она, – а все что? Молодость и запалочность, как говаривала в России моя нянька. Характер у меня запалочный. Во всяком случае, из всех эмигрантских историй моя, наверное, получила бы первую премию. И во всем этом виноваты, вероятно, несколько капелек итальянской крови, закатившихся в наш род со времен далеких, чуть ли не от самого Фиораванти. Если женщина захочет, так поставит самовар. Но они во мне, эти итальянские горячие чертики, – их, может быть, несколько штук, но баламутят они все остальное теплое и вялое ведро русской крови. Что ж, рассказать, что ли? Женщина любит исповедываться, и если некому рассказать, в дневнике напишет или в письме. Тайна ей чужда органически. Но только вам рассказать можно...

– Почему только мне? – спросил я.

– Сами с ума сходили, два дня, как сумасшедший, по Фаустовым адресам меня разыскивали. Этот самый сексапил, или, как говорят по-русски, поди сюда, – во мне всегда был силен, а в те времена, двенадцать лет тому назад, когда губы огнем налиты были, когда бровью могла повести по-соколиному, – то ли еще было... Теперь Изабелла ослабела: я о себе – как о покойнице. Жаль, война кончилась, а то ведь такие, как я, целых корпусов стоят. Вы не смеетесь? Я не похожа на гречневую кашу?

– Меня ударили ваши глаза, – признался я.

– Вы их только видели, – сказала женщина, – но вы их не слышали. А в те времена, моргая, ресницы у меня шуршали шелковым, чуть заметным оттенком. Это тоже не каждый день бывает... Как о покойнице, о себе говорю...

– Ну-ну, – поощрил я.

– Ну вот, такая девочка в восемнадцать лет осталась одна-одинешенька на этом милом свете.

Везде большевички, братья поубиты, мама умерла, без гроба, в старых простынях в яму закопали. Плы-ву от крымских берегов на «Piont». Голова глупая, но итальянские чертики позор изгнания ощущают. В руках – маленький чемоданчик, в чемоданчике – русская наивная губная помада с сальцем, пудра «Лебяжий пух», крем «Снежинка». Сердце – в сто ударов. На три месяца из дома отправлялись, про-гулка, за границу повидать, бесплатный проезд. Спутнички даже счастливы – вырвались от вшивой войны, в турецких банях помоются, пива выпьют: соскучились по пиву. Плыли дней шесть: удельный портвейн, «Сильва, ты меня не любишь» на мандо-лине – и вдруг, как в сказке, на заре – город новый златоглавый, пристань с крепкою заставой. С при-ездом вас! Трамваи по берегу бегают. Обрадовались трамваю, как родному брату. Потом – пересадка на шаркет, Гайдар-Паша, малоазиатский берег, через три станции – лагерь, гости английского короля, барак номер 8, желтый сахар, пол-ложечки варенья, корнбиф, двадцать капель сгущенного молока на брата. На дворе – ноябрь, но солнце – каждый день и в силе, дорога звонкая, пьем кофе на берегу моря, юз-пара чашечка. Съездила в Константинополь, за-гнала грекам бриллиантовые сережки, пообедала у Токатлиана, отхватила себе красную шелковую кофточку в обхват, вроде теперешних джемперов, коробку риммеля, флакон лоригана, лак для ног-тей, столбик помады в золотом футлярчике – руки загорелись от всего этого добра. У женщины ведь четыре глаза: два – на лбу, два – на затылке. И пе-редними и задними видишь, как мужчины столбе-неют. Гордость, радость, счастливые предчувствия, жизнь начинается завтра. Счастье дошло до высше-го предела, когда сама выбрала, примерила на руку, попробовала на ощупь, потянула шелковые чулки



телесного цвета, – новый мир, откровение: о телесном цвете в России слыхом не слыхали, переворот, дерзость, мечта поэта. Вернулась в лагерь, забралась в куточек, подмазалась, нарисовала губки – все это скромненько, со знанием меры, надела кофточку, грудь обтянулась, пошла в церковь. Англичане, не пропускавшие русских служб, вдели монокли, переглянулись, и как-то подтаяли их бритые актерские лица. И вот неделя, другая, по лагерю – клич. Какой-то из их офицериков уезжает в Лондон. По русскому обычаю, наши ему закатывают прощальный обед. Сложились, съездили в Галату, купили хиосского вина, спирту, настояли его с лимоном, наделали из корнбифа рубленых котлет, крем из порошков, зажгли в палатке полсотни свечей: пир горой. В числе приглашенных дам и я, собственной персоной. Офицерик молод, собой недурен, в плену изучил русский язык – одним словом, круглая пятерка. Обед. Вечер. Подкатили откуда-то чудом уцелевший удельный портвейн и даже бутылку «Абрау-Дюрсо» в немецкой каске вместо ведра. Выпили, закусили. Наши жарят по-английски. Англичане, из уважения к своему языку, начинают по-английски и только потом переходят на русский. Спирт дрянной, пахнет сивухой, но и наши, и англосаксы выпить не дураки. И вот отъезжающий встает, ставит ногу на стул, локтем уперся в колено: хорошая солдатская поза. Начинает о плене, о русских, о языке. И вдруг выпаливает:

– И вот, джентльмены, в этом лагере мне пришлось узнать русских женщин. И что же? Солдат – на то и солдат, чтобы говорить правду. За русских женщин поднять бокал могу, а за вас – нет.

Этого сразу понять нельзя было. Прошло секунд сорок, пока поняли, пока вошло в голову. Подняла глаза, посмотрела на наших. Как в песне, пригору-

нились наши шаповалы, коновалы, полковнички, генералы. Сжали зубы, пот ведром со лбов льет, смотрят в землю, сопят.

Ну, думаю, завтра – дуэли. Всю ночь не спала: итальянские черти гонят русский сон. В горле что-то клокочет, как дифтеритная пленка, щеки горят, и не могу понять что: обида, ярость, физическая боль? Яду в зубах хочется. Потом поняла: обида самки за обессиленных самцов. Это – одно из самых скрытых чувств женщины, кто бы она ни была: волчица, тигрица, змея – все равно. Никак не думала, что в такую силу кулаки сжимать могу. Наутро встала, прислушалась к разговорам – о дуэлях ни звука. Говорят о приварке, о том, что луку маловато, что на той неделе добавочные одеяла обещали дать. Сами собой руки взялись за рimmel, устроила ресницы в два сантиметра, натянула кофточку, лифчик к черту – и к отъезжающему офицеру:

– Так и так, срочно нужно в Константинополь, а поезд только вечером. Не подвезете ли?

Офицерик – пожалуйста, очень рад, победоносно переглядывается с товарищами, на автомобиле сам полковник мне – плед на ноги, крикнули «гип-гипура!» – и айда из лагеря, прощевай, Россия-матушка, благослови дочку! Дороги дрянные, автомобиль раскачивает, и как только на толчке коснешься офицерского плеча, так сам офицер краской так и обольется и жилка на виске вспухнет. Скромница, в Лондоне невеста, папа, мама ждут. Приехали в Перу, потащила я офицерика обедать в московский кружок, благодарю его за автомобиль. Ковры, лампы в абажурах, концертная программа, цыгане, а как запела Нюра Масальская «Калитку», аккомпанировал сам Саша Макаров, нервный, трясется от восторга, глаза впились в струны. «В темный садик скользны ты, как тень, не забудь потемнее накидку, круже-



ва на головку надень». Часам к двум ночи стаяло у моего офицера все английское, остался мальчик двадцатипятилетний, глупенький, ручной, вей из него веревки и закидывай в море. Какой там Лондон, какие папаша и мамаша? На третий день карточку невесты на свече сжег, и пепел в клозетную чашку выбросил: сам придумал. А потом на Таксима я остановила какого-то ледящего русского солдатишку, и мой герой вслух прощенья у него просил. Солдатишка глаза вылупил, ничего не понял и сам ни с того ни с сего извинился. Смехи были! Тяжко мне сказать, до чего я его довела, – Бог с ним, может быть, царство небесное. Теперь бы этого и не сделала б, а тогда девчонка была запалючая, фиораванти. Ну вот и сказке конец. Я там был, мед-вино пил, по усам текло, а в рот не попало.

При словах «в рот не попало» женщина как-то намекаяще посмотрела на меня, рассмеялась и спросила:

– Сладки наши русские меды да вина, а? Это не то, что бельгийские. А? Ну нет, нет. Я ничего не сказала. Приструни эту девочку, свей из нее веревочку. Ох, и весело же это: свить из человека веревочку и вот так вокруг ручки замотать!

Над французскими полями, долинами, лесами, домиками и реками стоял осенний туман: в воздухе плыла ткань мягкая, расплывчатая, угрюмая и как-то отдаленно – грустная. Окутывая станционные фонари, туман всегда почему-то боится прильнуть к лицу стекла. Фонарь светит, и свет его, всегда треугольничками, вьет нежные радужные нити. Тогда хочется подтолкнуть ход поезда, поскорее добраться до уюта, до яркой лампы над столом, до тишины, до верной собаки с теплой шеей.

Отодвинулась дверь, и в коридор выполз зашпанный и ревнивый Васенька. Сорокалетняя

голова, причесанная по-модному, нафиксатуренная, с ложбинкой на располневших щеках, странно сидела на детском туловище, вылезая из игрушечного, но тщательно сшитого костюмчика, со складками на брючках, с платочком в боковом кармане.

Из пакета на серебряной подкладке он достал камельку, с гвардейским шиком постучал ею о зажигалку, пытливо взглянул на меня и, грозясь папиросой, сказал, обращаясь к женщине:

– Ты, Мария, его бойся. Это – талант.

В глазах Васеньки прыгали явно иронические искры. Потом, обращаясь ко мне, в том же тоне добавил:

– Цены себе не знаешь. При твоём таланте я бы ходил и всем морды бил. Хе-хе? А это что там написано?

Освещенная сверху большим треугольником надпись на стене гласила, что до Парижа осталось три километра.

XIV. Жена

Квартира – законная жена, гостиница – любовница. В гостинице я чувствую себя веселым воробьем, в квартире – мокрохвостой вороной... Когда я живу в гостинице, мне принадлежит весь мир; когда живу и квартире, мне принадлежат зеленый плюшевый диван, стол, пепельница и гравюры, купленные на блошином рынке (версальские празднества с декорациями вокруг первых бассейнов). В гостинице у меня ощущения студента, в квартире я – действительный статский советник. В гостинице я могу работать, в квартире занимаюсь критическими размышлениями. В квартире у меня заболела печень, и я пью декокт из больдо. В отеле со



мною весело живут мои добрые друзья: мсье Аппетит и господин Сон.

Войдя на перрон Северного вокзала, я вспомнил, что мне надо тащиться в Сен-Клу, где у меня квартира (в виде студии) и жена (в виде хорошенькой блондинки). Ехать в Сен-Клу за семь верст киселя хлебать. На это сразу решиться нельзя, и я захожу в кафе, чтобы посидеть на террасе и отведать парижского воздуха. Уже вечер в разгаре, уже постарели четвертые издания вечерних газет.

Мне подадут лижестив, горький, как хина. Матовые фонари освещают террасу, как сцену. На тротуарах шуршат осенние листья... Скоро зажгут уличные мангалки. Под светом верхних фонарей мужчины стареют лет на десять, женщины спасаются от этого впечатления усиленным, почти театральным гримом. Сижу, смотрю на этих актрис поневоле и думаю, что в театре все загримировано: и лицо, и бутафория, и декорация, и костюмы. Чтоб иметь в театре успех, нужно гримировать и литературу.

После горького дижестива начинаю снова ощущать себя крестьянином Парижской губернии, Медонского уезда, Сен-Жерменской волости, сельца Сен-Клу. Крестьянин уезжал из дому на отхожие промыслы. Крестьянин должен возвратиться с деньгою, ибо за студию не плачено, в мясную – не плачено, в булочную – не плачено. Тут крестьянина начинает брать оторопь. Только теперь он раскрывает свой бумажник и видит всего две сотенки. Куда же подевались остальные двадцать восемь. Только теперь он понимает всю космичность катастрофы.

Вот войдет он в студию. В студии – причудливый, скандинавский потолок. Навстречу ему поднимается крашенная блондинка с испанской шалью на плечах, и начнутся вежливости любви: радости давно кончились. На эмалированной сковородке

ему подадут глазунью из четырех яиц, традиционное кушанье всех запоздавших путников. Рядом с тарелкой ему положат письма, полученные за время отъезда, и русские неразвернутые газеты, которые блондинка принципиально не читает. Начнутся вежливые расспросы насчет успехов, и в глазах доминирующее и совсем отдельное положение займет яркая точка, значение которой в одном затаенном слове: сколько? Письма неинтересные: от учеников и приредюи на концерты в Гаво. Все разговоры с наигранным оживлением – только пассажи, более или менее искусные, перед самым главным вопросом. Глазная точка горит яркими огнями, переливается, дрожит, как звезда, трепещет и, наконец, уныло и злобно потухает. Это случается в тот момент, когда крестьянин говорит, что материальные дела были такие, что все кричали: «Алла!».

– Но все-таки, сколько же? – спрашивает блондинка.

Он молча подает бумажник. Она вынимает желтенькие квитанции на заказные письма, брутowski рубль, расписание поездов, иконку Николая Чудотворца и наконец две помятые, потерявшие шелковистость бумажки.

– И это все?

Тогда, чтобы сразу раздражить ее, он ответит:

– Да, но за это время мне удалось окончить свою симфонию.

От радости она всплеснет руками и восторженно скажет:

– О, благодарю вас, великие боги! Ему удалось закончить свою симфонию! Ныне отпускаеши! Теперь наконец есть все, что необходимо для счастья человечества! Теперь все обстоит благополучно!

– Теперь все обстоит благополучно! – повторит он ее слова, как эхо.



– Завтра же, завтра же, – продолжит она восторженно, – я устрою суаре, созову домовладельца, мясника и булочника, ты им сыграешь анданте, они прослезятся, отпустят нам все долги наши и начнут новую жизнь. Мало того, они поднесут нам золото, ладан и смирну.

– Какую смирну? – спросит он. – Смирна – город. Ты, может быть, говоришь о мире?

Она ответит:

– Прости мою ошибку. Конечно, я говорю о мире.

...В эту минуту моих размышлений Париж дает себя знать. Париж переполнен актерами. Актеры – в торговле, в политике, в газетном деле, в рекламе, в религиях, в литературе, в суде, в любви. К моему столику приближается актриса любви, давно, вероятно, за мной наблюдавшая.

– Ты печален, мой дорогой?

– Да.

– Пойдем ко мне. Я тебя развеселю.

– Я болен.

– Чем? Карманной чахоткой?

– Да.

Представление не состоялось.

– Впрочем, я так и думала, – ответила актриса, равнодушно возвращаясь к своему портвейну, и на ходу добавила: – Стоит посмотреть на твою шляпу.

Актриса не знает, сколько моей шляпе пришлось вытерпеть под антверпенскими дождями. Ее замечание меня все-таки смутило. Хочешь не хочешь, а надо трогаться в путь домой.

С наступлением холодов внутренности парижских извозчичьих автомобилей начинают пахнуть пылью и мокрой собачьей шерстью. Изворачиваясь среди уличной суеты, под грозными скипетрами городских, попадаю почему-то к ратуше, догады-

ваюсь, что шофер начал делать свои коммерческие петли, и молчу: не ведает, что творит. На Шателе вижу два театра, похожих на близнецов. Вспоминаю довоенные Русские сезоны, протекавшие здесь, дававшие особый блеск парижской весне, и думаю о том, сколько вообще иностранной воды льется на мельницу французской славы.

Шофер привозит меня в Трокадеро, на трамвайную остановку, в царство голубоватого скромного газа. Пахнет провинцией и морской травой. Пустынно. Вижу двух городских, прячущихся от ветра за цоколь моста. Рассматриваю звезды и в тысячный раз убеждаюсь, как они, по слову Писания, разнствуют во славе. Начинаю зябнуть. Кожа неизвестного зверя, из которой выкроен мой чемодан, тоже зябнет. Наконец подбегает светлый, многооконный домик на колесах и, завыв до тончайшей ноты, несет меня по желтеющей аллее.

В Сен-Клу темно и холоднее, чем в Париже. Тащусь по каменным лестницам, и это напоминает мне какие-то итальянские места. Американским ключом, похожим на маленькую пилку, поворачиваю упругий язык и вхожу под свои скандинавские извилистые потолки. Зажигаю люстру до пределов высокаторжественного церковного света. Первое, что бросается мне в глаза: на столе, покрытом испанской шалью, чинно, как толстопузые солдаты в золотых касках, стоят пять бутылок шампанского. Второе – на пюпитре рояля ноты письма из «Периколы» и красным карандашом подчеркнуты слова: «*Mais vrais, la misere est trop dure et nous avons trop de malheur*». Третье – большая склеенная по пунктиру секретка.

В присутствии пяти бутылок шампанского никакая грусть не смеет коснуться человеческого



сердца, и я без страха отдираю от секретки перекладину пунктира. Знакомый угловатый почерк, похожий на почерк Льва Толстого, но с женской недовершенностью букв, гласит без обращения:

«За каждый год прожитой жизни дарю тебе по бутылке вина. Письмо Периколы все тебе объяснит. Учись писать аккомпанемент у Оффенбаха: какая простота и какая ясность. Студия оплачена за год вперед. Чао!»

Стало жаль, что у меня в эту минуту не было под рукой никого, с кем бы я мог поддержать пари. Дело в том, что моя жена всю жизнь подражала героиням тех пьес, сыграть которые она мечтала. И в эту минуту я готов был поставить о заклад все свое имущество, что она, подобно гамсуновской героине, перечинила перед уходом все мое белье. И действительно, в шкафу я нашел свой гардероб в идеальном состоянии.

Как пишут в романах, горячая волна радости омыла его сердце. Я еще раз, и теперь уже набело, пересмотрел свой бумажник: двести франков на всю жизнь с гробом включительно. Антверпен кончился и завтра же в Париж, в озеро своего старого квартала! Как будет благодарен хозяин студии: он получает в подарок плату за целый год!

Однако что же делать с вином?

Я пошел в ванную и начал кипятить воду. Воздух, нагреваясь, стал излучать таившиеся в нем запахи душистой соли и пудры, постепенно их усиливая. Вызвав консьержку и отвинтив проволочные коронки, отдал ей все пять бутылок с просьбой распить их сейчас же, за здоровье барыни! Потом с радостью человека, выпущенного из долголетней тюрьмы, выкупался, завалился спать и слышал звон колоколов, не то московских, не то угличских.

И раза три за ночь в этот торжественный и многоотный звон вмешивался человеческий бас, наставительно говоривший:

– Теперь вся жизнь принадлежит тебе. У тебя все есть, кроме ежа и перочинного ножа.

XV. День мертвых

«Его сердце замирало от сладких предчувствий»...

Мне хочется вступить за шаблоны. Очень часто шаблоны стали ими только потому, что в первооснове своей заключали зерна гениальности. Один инженер утверждал, что Наполеон проиграл Ватерлоо по причине излишней талантливости: под Ватерлоо нужно было пользоваться простыми, много раз повторенными и испытанными шаблонами. Вспоминаю также и еврея, который говорил, что создать «Горе от ума» вовсе не трудно: надо взять пословицы и соединить их в одно целое. Когда поутру я проснулся в студии, неизвестным благодетелем оплаченной за год вперед, вторым моим ощущением, после сладких предчувствий, было поскорее выбраться из уютно нагретых, шелковистоскользких, до блеска проглаженных простынь – и в Париж! «Ах, Париж, край родной, край родимый, дорогой!..» Слегка кружилась голова: вероятно, от слишком горячего радиатора. Через зеркальное, большое, похожее на экран стекло посмотрел на Париж: в голубом утреннем тумане, как в кафельном дыму, лежит огромное количество камня, принесенного французами и в виде комнат и залов склеенного известкой и цементом. Когда рассеется туман, я различу купола Пантеона, Института и вышку Лионского вокзала. Количество камня кажется отсюда сплошным, без разделения улиц, без квадра-



тиков и кружков площадей. Видна зеркальная канавка Сены, пропадающая у заводов Рено. Среди этого камня расположено четыре миллиона кроватей. Приятно знать и думать, что какая-то кровать ждет сегодня и меня.

Если бы блондинка, которая была моей женой, знала, какое счастье и какое освобождение она мне уготовила! Я готов петь молебны тому человеку, который мог увлечься ее уже отвисающей грудью, глазами, загорающимися только после вспыскивания атропина, ее венецианскими волосами, упорно около пробора чернеющими: я всегда чихал от нашатыря, которым она мыла голову перед тем, как приступить к перекиси водорода. В моем счастье ослепительно ясно представляется, что мир вовсе не наполнен скучными и злыми людьми. Напротив, все идет хорошо, и будь благословенна та бульварная, дешевая и хорошо торгующая кофейня, которая укрепила эти три слова на своей вывеске и на своих пивных кружках.

«Правда, – беседовал я сам с собою, – тебе перевалило за сорок. Началось нисхождение с горы, и времена мчатся быстро. Две трети бытия уже сожжены, и пепел вылетел в трубу. Сердце, твой мотор, работает еще исправно, хотя таможня, печень, уже частенько пропускает в кровь контрабанду ядов, и тогда ты склонен испытывать приступы беспричинного бешенства. Ты уже веришь в Бога, а Бог открывается человеку только в закате жизни. В каких-то необъяснимых и тайных, но, несомненно, мудрых целях Он очень часто скрывает Себя от юности: может быть, нужно, чтобы юность ходила по ложным дорогам, высокомерничала, заблуждалась и показывала кулаки далекому Небу?»

Смотрю на Париж, на проволоку Эйфелевой башни и вспоминаю, как перед войной, в Палермо,

я был представлен старому одинокому астроному, ушедшему от мира в затвор королевской обсерватории. Я почтительнейше испросил у него разрешения посмотреть в главный телескоп на звезды. Астроном согласился и назначил мне свидание между первым и вторым часом ночи, когда карта небес будет выпуклой и ясной. Прощаясь, он спросил:

– Вы, конечно, верите в Бога?

– О, нет! – весело ответил я. – Это дело я оставил попам.

Старик усмехнулся и ответил:

– Вы это оставили не только попам, друг мой. Вы это оставили еще морякам и астрономам. Вам сколько лет?

– Двадцать семь.

Астроном, в котором было что-то опереточное, потер бритое лицо, и я почувствовал, как через увеличительные стекла своих очков он прощупал взглядом мой лоб, надбровные выпуклости, полушария глаз, строение рта, ямочку на подбородке, линию, от которой поднимается на щеку румянец, – и сказал:

– Лет через пятнадцать поспеете. А сейчас вы ничего не увидите ни в какой телескоп. Только время пропадет. А в Палермо есть хорошие кабачки, хорошее вино и, право, совсем неплохие девицы.

Пятнадцать лет прошло, я теперь понимаю и моряков, и астрономов, а когда бываю в церкви, то среди малопонятных слов, вроде «аще», «абие», «иже», – в слух мой чрезвычайно ясно и внятно входят слова о христианской кончине, мирной, непостыдной и безболезненной. Я очень любил последние пушкинские стихи к жене, а порой ясно слышу, как чьи-то жуткие, концентрические круги делаются все меньшими, и порою блиста-



ет на мгновение перед глазами огромная бритва, похожая на косу, и тогда чувствуется холод белого, нешелестящего одеяния. Часто, с потемневшими лицами, приходят ко мне во снах отец и мать, грустно смотрят, и тогда я знаю, что им нужно. Я ставлю за них свечи перед кануном, в песок, и в следующих снах лица их светлеют и благодарно улыбаются. Оттого, может быть, я так люблю Рим и его древности, около которых странным чудом удлинняется на многие столетия твоя собственная жизнь; люблю райские полукруги Беато и ту арку на старом флорентийском мосту, около которой прибита мраморная дощечка со словами Данте: «In sal passo d'Arno».

Стук в дверь. Входит консьержка и, поздоровавшись, говорит:

– Через вас, сударь, мы впали в большую беду.

– В чем дело, мадам?

– Вы вчера подарили нам пять бутылок шампанского, отвинтив от пробок проволоку.

– Да, чтобы вы его сейчас же распили.

– Так оно и случилось. Пробки начали вылетать еще на лестнице.

– И вы облили ковер вином, сударыня?

– Ковер, облитый шампанским, не теряет своей ценности. Случилось худшее: мы, то есть я, мой муж и племянник, принуждены были распить вино немедленно.

– За здоровье моей бывшей супруги...

– И за ваше, сударь, уверяю вас. Но я выпила стакан или два, а на долю мужчин пришлось все остальное.

– Они не посрамили французских виноградных лоз?

– Так-то оно так, но сейчас лежат с полотенцами на головах и пьют сидр. А сегодня – первое ноября,

День мертвых, сударь, и я должна идти к моему бедному мальчику.

– Чтобы искупить свою вину, я готов сопровождать вас, мадам.

– Поверите, я за тем именно сюда и шла, чтобы вы меня проводили. Нехорошо быть одной в этот час. Тем более что я всегда с такой радостью служила вам.

Через полчаса мы с ней вышли из дому. Консьержка была в черном, в перчатках, и походила на русскую чиновницу. В руке у нее был маленький букетик гвоздик. Мы шли к церкви, против главного входа которой возвышался бюст Гуно. Около церковной стены стояла немецкая пушка и каменная доска, на которой были высечены имена павших за отечество. Старуха опустилась на колени перед столбцом, над которым стояли цифры «1915». Потом показала мне пальцем на выбитую золотом строку.

– Вот это – мой сын, – сказала она.

– А где же его могила?

– Не знаю, – ответила она. – Это все, что осталось.

Потом она взяла платочек и потеряла чеканку букв.

Я предложил ей откусать со мной кофе. Пошли к папа Бильбо и поместились за стеклянной матовой перегородкой. Консьержка сказала, вздохнув:

– Эх, сударь. Я все понимаю. Я понимаю вас, ваше вино и то, что вам надо быть сейчас с людьми. Все – пустяки и молодость. Конечно, у старика автомобиль в полкилометра длиной, а разве вы могли бы дать ей автомобиль, хотя бы в два сантиметра? А любит она вас, и только вас. Уже садясь в автомобиль, она сказала мне, протягивая пустой аптечный пузырек: «Закажите ему зубное полоскание». Уве-



ряю вас, сударь, это – любовь, и на глазах ее были слезы. Я их ясно видела.

– А не приходило ли вам в голову, мадам, – ответил я консьержке, – что ваш сын может быть погребен в могиле Неизвестного солдата?

– Ой, Боже мой, что вы говорите?

– В самом же деле, – настаивал я, – почему, собственно, Неизвестный солдат не может быть вашим сыном?

– Ой, Боже мой, что вы говорите? Мне никогда не приходило в голову...

Руки ее тряслись и теребили на груди кружевную косыночку, к которой был пришпилен медальон с фотографией солдата, причесанного на боковой пробор.

– Мы должны сейчас же расплатиться... вот именно, расплатиться... – говорила она посиневшими губами, криво опускающимися одна на другую, – мы должны ехать на Этуаль. Я везу вас по первому классу. Пожалуйста, не оставляйте меня, вас Бог вознаградит и в этой жизни и в будущей...

Глаза ее потеряли следы ровной человеческой мысли: в них царило величайшее возбуждение и тревога. Она одна готова была куда-то бежать, кого-то просить, чего-то требовать, кричать... По дороге вскочила в цветочный магазинчик и, не поздоровавшись с торговкой, со своей старой, видимо, знакомой, схватила стоявший на окне пук роз и, не дав их ни связать, ни завернуть в бумагу, пальцами в непривычных перчатках еле сумела вытянуть из вязаного кошелька нужную бумажку и не посчитала сдачу. И старушечьими, шаркающими шажками, с торжественным букетом в руках, бежала впереди меня и пыталась остановить каждый проезжающий автомобиль. Поспевая за ней, я думал: вероятно, в таком возбуждении бежали ко гробу жены-

мироносительницы, когда услышали о воскресении и об отваленном камне...

Наконец мы влезли в какую-то наемную карету, и тревога женщины странно передалась шоферу: он дал предельную скорость, ловко огибал препоны пути, и мы быстро примчались к Триумфальной арке.

Тишина, простота и величие могилы всегда теперь отражаются и на этом великолепном полукруглом взлете камня, и на сверкающей площади с воротами улиц. Пылало у изголовья плиты пламя, согревая вокруг умирающие и зябнувшие цветы. Молодой птицей выскочила из автомобиля старуха и с внутренней хищной жадностью подбежала к раскачивающемуся огню. Словно защищая их от кого-то, она прижимала к сердцу свои розы – и в течение двух минут у нее была поза человека, готового принять важное и торжественное решение. И вдруг она потихоньку выпрямилась, повернулась, взглянула на меня ледяными глазами и сказала:

– Нет, это – не мой сын. Напрасно мы спешили и тратили деньги.

И пошла от могилы прочь.

– Мы могли бы все-таки оставить ему цветы? – сказал я.

– Зачем? – ответила она. – Это дело правительства и приезжающих султанов. У меня есть кому дарить цветы в этот день.

Мы обогнули площадь и долго поджидали автобус у зеленого диска, на факультативной остановке.

XVI. К зверям

Я всегда подозрительно относился к народу, создавшему поговорку: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Во время войны эта поговорка трансфор-



мировалась в формулу: «Мы – тамбовские, до нас не дойдет». Но всегда и совершенно ошеломляюще меня поражало народное изречение: «Собаке – собачья смерть», то есть злomu, жестокому существу – злая, жестокая смерть. Меня поражало, до какой степени у человека может простираться непонимание того, что веками его окружает, что ему служит и что его любит.

Собака – единственное существо, которое любит человека. Лошадь его терпит, снисходит к нему, не больше. Кот чувствует свое умственное превосходство и откровенно презирает все его «окружающее». Вечный разлад собаки и кота, несомненно, происходит из-за человека. На эту тему у них ведется вечный и непримиримый спор.

Собака! Что же можно назвать добрым, преданным, верным, если собака – зла и жестока. Как русский народ мог просмотреть, не заметить, не оценить так ярко выраженной любви, дружбы, благородства, которые есть в каждой собаке? Меня всегда оскорбляет, когда человека называют собакой: это – оскорбление собаки. И смерть собачья никогда не бывает ни злой, ни жестокой. Собака кончается тихо и безгрешно, как свеча. Она задолго чувствует свою смерть и, деликатнейшее существо, она даже и здесь своим трупом не хочет причинить хлопот своему хозяину: если может и если хватает сил, она всегда уйдет перед смертью подальше от дома, куда глаза глядят, и кончается там, где ее трудно найти. Одну такую, далекую от дома смерть я видел на изумрудной лужайке Люксембургского сада. Кончался фоксик, был в беспамятстве, и агония длилась долго. Вокруг него почтительно собралась внимательная, молчаливая толпа. Судорожно вытянулись сначала задние лапки, потом, с последним вздохом, передние, изящные, милые, ровные.

И сторож, в фуражке с красными кантами, только тогда прикоснулся к трупу, когда он уже совершенно остыл, и понес его в фартуке бережно, охраняя первые минуты смертного покоя. И почувствовалось: допусти он грубое, неделикатное движение – заворчала бы толпа.

В начале странных большевистских времен я видел такую сцену. В небольшом и смирном губернском городе, днем, по улице шла маленькая гимназистка, приготошишка-мартышка. Навстречу ей двигалось пять-шесть солдат из тридцать девятой дивизии, только что дезертировавшей с Кавказского фронта и по дороге громившей все казенные водочные заводы. Поравнявшись с девочкой, один из них, вихрастый, с козырьком на ухе, изумленно сказал:

– Ах ты, гнида! В калошах!

И как-то так ловко устроил ей подножку, что девочка упала ничком в талый снег.

Тогда солдат изобразил петуха, который ходит вокруг курицы и шаркает шпорой. Затем, проделав полный круг, он старательно обмочил девочку, стараясь попасть ей за воротник.

Тут могли помочь только выстрелы, но и пули, и оружие – все давно было отобрано.

Придя домой, я направился в конюшню. Там среди четырех пустых стойл находился последний отцовский конь. Серый огромный орловский рысак, которого за старостью не взяли ни по одной реквизиции. Когда-то на беговых дрожках он возил меня в степь, в Полковничий яр, знаменитый лазоревыми цветами. Теперь на нем раз в день ездили за водой, и эту работу он любил и ценил в ней свою полезность. В конюшне было темновато, и только квадратик, вырубленный у крыши, пропускал треугольник света, падавший на лошадиную голо-



ву. В углу висел бумажный образок Фрола и Лавра, стены были исчерчены какими-то меловыми записями, больше – цифрами. Я засел в ясли и долго, много часов, пробыл так без движения. Я слышал лошадиное теплое дыхание, звук зубов об удила, видел большой продолговатый глаз, уже подергивающийся опаловой, старческой, полупрозрачной пленкой, вздрагивание кожи, взмахи хвоста. Серый осторожно, деликатными рывками выбирал из-под меня сено и ел его медленно, кривя рот, оскаливая пожелтевшие, но все целые зубы, искоса посматривал и мимоходом раза два лизнул мою щеку прохладным, мокрым широким языком. И я впервые почувствовал святость, безгрешность зверя, его неизгнанность из рая. Есть ли у него религия? Нет, конечно: всякая религия спасает от греха; а на нем нет никакого греха, ему не в чем каяться, и у него нет просьб. Он ест схимническую пищу и живет так, как велел Бог.

И странное дело: я успокоился, у меня начало образовываться впечатление, что в такую жуткую и трудную человеческую минуту какое-то высшее существо меня пожалело и снисходительно приласкало.

Имя «человек» стало для меня синонимом путника, которого, по слову Иисуса, сына Сирахова, Бог создал первым, а он пустился во всякие помыслы. За это его не любят звери, боятся и лица его, и его непонятной, неестественной, смешной и некрасивой одежды. В мире он ходит слепой и глухой, ничего вокруг себя не понимающий. И если – редко – попадают люди хорошие и добрые, я тайно, внутри себя, зову их зверями.

И вот теперь, в этот свой, может быть, и не трудный, но неприятный человеческий час я решил ехать к таким известным мне зверям.

В последний раз я обошел парк. Лист почти весь пожелтел, осыпался, скрутился в шелестящие трубочки. Уже начиналось загнивание и очаровательно пахло раздавленными вишневыми косточками. Валялись потерявшие лак каштаны: на каменных плитах им суждено бесплодие. Рыба в бассейнах ушла с поверхности вглубь, к трубам, под которыми проживали почтенные и несуетливые карпы. Причудливая судьба осенних цветов: вот три розы на одном кусте. Две из них задушены ночным морозом, а одну, по странной снисходительности, он оставил жить, и эта, помилованная, беспечно цветет. Какая в ней женственность, как ароматно дыхание, и как атласисто блестят свившиеся в ком лепестки. Солнце ослабело. Из Англии ползут темные силы туч. На его диск можно смотреть, не щуря глаз и не представляя ладони. Нет в нем летней расплавленности, виден точный, циркульный и нелучистый круг – и это похоже на светильник, в котором масло подходит к концу. Ветер наполнился холодной силой, и тучи не дают теней.

В последний раз шли по Сене маленькие пароходы. Я погрузился на номер сорок четвертый и был на палубе один, как хозяин яхты. Медленно уходили направо деревенские набережные Медона, Севра, Бельвю, были пусты террасы Мартына Рыбака, и столы стояли без скатертей. Оживленнее стало за окнами домов, где-то показался огонек сжигаемого навоза, и на реку тянуло сладким сельским запахом. Капитан парохода оделся в кожаное пальто с кушаком, и на пристанях нас никто не ждал.

Мои звери живут в Латинском квартале, в той его части, которую барон Осман, с немецкой геометричностью, разрезал шарлоттенбургскими линиями Св. Михаила и Иакова. В промежутке



между ними осталось подлинное и живое тело средневековья.

Старые, пузатые, построенные из огромного камня дома; восьмистекольные рамы в окнах; узость улиц; углы, подпертые упором балок, запаянных в цемент. Огромный метеорит Римской дороги, приютившийся во дворе Юстиниана Милостивого, кафе с двумя-тремя столиками, закоулки столярных мастерских, отели, в которых стоял Данте, прекрасный уют старой, немудреной жизни.

Вот мой любимец. Св. Северен. Он построен из серебристого камня, местами переходящего в черноту угля. На уровне его крыши разместились рыкающие и пугающие дьявола химеры. Он не высок, и, как соборы Руанский, или Шартрский, или Реймский, он – не парадный дворец Бога, а его тихое жилище. Тяну к себе легкую дверь и со своим чемоданом вхожу. Тихо, темно, оазис в житейской пустыне. Первое прикосновение ко лбу освященной воды – и сразу иною становится душевная настроенность. Каменный пол, низенькие соломенные стулья, свеча кажется яркой и огонь не белым, как в начале, а красным. Колонны с правой стороны алтаря похожи на букет из той шелковой травы, которая растет только в России. Видишь сгорбленную фигуру художника, его картон и слышишь шуршание угольного карандаша. Читаем мраморные дощечки с золотыми буквами благодарности Notre Dame de L'Espérance. Благочестивые бакалавры, давно уже умершие, благодарят за полученную степень, студенты – за успех на экзамене, а вот трогательная женская надпись: «Вы благословили мой брак. Благословите моих детей. Год 1879».

Такую надпись могла бы сделать и моя мать: это и ее год замужества. Мой чемодан кажется мне грешным: в нем ноты, по которым люди бу-

дут петь о любви, об оскорблениях, об изменах, о битвах, о дуэлях, о предательстве, о проклятиях – все человеческие страсти застыли в маленьких хвостатых точках, ползающих по лестнице из пяти ступеней. Какие бури оркестров, вопли хоров, как будут рычать духовенство (так мы называем духовые инструменты) и тяжело дышать контрабасы!

Еще шаг – и я вижу самое Мадонну – Упование, которая сотворила столько чудес для бакалавров, для студентов, для счастливых жен и матерей. Она потупила глаза, молода и хороша собой. На ней и на ее ребенке надеты фольговые короны с некрасивыми и тусклыми камнями. Кругом – гвозди. На некоторых из них стоят свечи. Пустынно. Только у свечного ящика сидит старушонка в свинцовых очках.

Сажусь на стул и ставлю около себя чемодан. Гляжу на свечи, на фольговую театральную корону, на малопонятные предметы, которых здесь множество, – и вдруг происходит второе чудо. Губы сами собой начинают шептать слова, присутствие в себе которых я никогда не подозревал, – и странное дело, к Иверской я обратился бы на «ты», здесь же само собой появилось западное «вы».

– Мать Божия, Упование, – говорил я потихоньку, отвернувшись так, чтобы старуха не видела, – вам надо поднять ваши опущенные вежды и взглянуть на нас. Нам все труднее и труднее жить на чужой земле. Пора открыть нам ворота нашего дома. Мы уже стали забывать улицы своих городов, очертания своих гор, воздух своих степей, и, вероятно, пришли в упадок могилы отцов наших, и их надо поправить. Мы знаем, что по заслугам несем наказание наше, но не гневайтесь на нас до конца, сократите сроки и не входите в суд с рабами своими. Мы не смеем обещать вам ни мраморных досок,



ни золотых букв, но мы обещаем вам сердце чистое и дух правый. Поторопитесь же, Упование, подымите вежды ваши.

И вдруг над самым ухом моим прошептал старушечий голос:

– Господин! Очень рекомендую вам поставить свечу, хотя бы за десять су. Я здесь двадцать лет сижу и знаю. Надо согреть воздух теплым воском, и на воске сохранятся все слова ваши.

Я не пошевелился и ничего не ответил, но видел, как старушонка торопливо и тревожно насадила на гвоздь свежую восковую палочку и снова зашептала:

– У вас, может быть, нет денег? Вы с чемоданом? Не смущайтесь: я кредитовала вас на один франк.

Я взглянул на нее, на ее увеличенные под очками глаза, и сказал по-русски:

– Ты, старуха, – из звериной породы.

Она не поняла, утерла рукавом губы и отошла к ящичку.

XVII. Ревность

Шагая по старым улицам Латинского квартала, я старался понять: почему в этот неприятный и корявый час моей жизни меня тянет именно сюда, к камням, почерневшим, лежащим на одном месте по 400–500 лет? Мне казалось, что я чудесным образом ухажу от Парижа современного, опустившегося, одряхлевшего, уставшего и давно уже желающего сдать кому-нибудь свои позиции законодателя, образца, блестящего выдумщика и устроителя жизни. Мне казалось, что я переносюсь к временам его молодости, к людям, одетым в цветные камзолы, исполненным восторженной веры в Бога, способным из поколения в поколение

класть стены собора, казнящим своих мясников, если те продадут мясо в пятницу, к студентам, разговаривающим по-латыни и выбирающим ректора в церковке св. Юлиана. Я иду к существам, знающим цену христианской Душе и не пожалевшим для меня ни куска хлеба, ни стакана вина. Я трогал эти камни, и мне казалось, что я пожимаю руку мастера, положившего их. Я тихонько стучал в двери с тяжелыми литыми решетками, и мне казалось, что на мой стук отзовется веселая хозяйка, прабабка моей прабабки, на углу покажется ночной сторож и протяжно пропоет приказание – тушить огни и ложиться спать. Перед сном меня накормят, во славу Святой Троицы, тремя сортами супа, рыбы и мяса и, узнав, что я музыкант родом из далекой северной страны, послушают моих песен и, в благодарность, положат на ночлег в комнате, в которой не потух камин.

Душа моя неспокойна, и я хочу уяснить себе, что случилось со мной? От меня ушла женщина, которая в течение нескольких лет была моей женой, которая давно мне надоела и уход которой всегда представлялся мне в моих мыслях событием долгожданным и счастливым. Мне с ней не везло, и я считал ее порт-малером. Она была из той породы, из которой выходят горничные. Выше всего для нее была одежда из «больших домов», или, как она говорила, платья от Ворта, белье от Дусэ, обувь с улицы Сент-Оноре и автомобиль – только от Рено и не от Ситроена. Этот предлог «от» приводил меня порою в изумление. Читала она только полицейские романы и преклонялась перед Мата Хари – особенно в тот момент, когда та вышла на венсенский полигон, нарумяненная, завитая, в великолепном меховом мантио. У нее создалась та духовная запущенность, которая характерна для некоторых кругов эмигра-



ции. Выросшая в России около театра, она теперь презирала русское искусство, как нерентабельное. Она презирала художников, ютящихся в нетопленных мастерских, писателей, живущих в квартирах без ванны, – и иногда выпреним, напыщенным, французско-одеоновским тоном декламировала: «К позорной казни присужденный, лежал в цепях венгерский граф».

Меня как музыканта она презирала и про мою музыку говорила:

– Несветимая скука. Редко, редко дойдешь до аккорда, от которого оборвется сердце.

Она ненавидела нотную бумагу, и свои черновики я прятал под замок. Когда я начинал играть, отыскивая мелькнувшую в голове мысль, – у нее начиналась демонстративная головная боль и по квартире распространялся запах ароматического уксуса. Потом она заводила граммофон, из которого неслись тоненькие и кисленькие английские фокстротные тенорки, и одна, закутавшись в испанскую шаль, приплясывала на ковре, мелко перебирая ножками. Она с восторгом принесла из лавки пластинку, на которой индийская песня из «Садко» была переделана в тустеп, бесконечно играла ее, бережно всякий раз меняя иголки, и говорила:

– Вот так же и ты приспособил бы твою музыку. По крайней мере, с каждой пластинки получишь по два франка.

Я ее ненавидел, но втайне радостно думал: «А все-таки у меня есть аккорды, от которых обрывается сердце, даже такое лягушачье, как твое». И странно: это ее признание казалось мне дороже похвалы самого придирчивого и капризного критика.

И вот она ушла. Казалось бы: слава Богу. У нее теперь старик, долгожданный результат хожде-

ний по кафе, по кинематографам, по чаям у Румпельмайера, результат выездов на Ривьеру, пижам в виде матросских брюк, уроков гимнастики на пляже, плаванья на спине и длинных курительных мундштуков из настоящей пенки. Она теперь имеет коллекцию платьев от Пакэна, груды белья от Дусэ, обувь с улицы Сент-Оноре и автомобиль от Бьюика. Я избавился от порт-малера, от тоненьких писклявых тенорок, от испанской шали, от туфелек с невероятно противными каблуками. Но странно: мне жаль ее уничтожающих и презрительных отзывов, в которых уж если сердце обрывалось, то действительно против желания, после внутренней упорной борьбы обрывалось и по-настоящему. В этот момент теплели и смирялись наглые, холодные глаза, и, покорная, остроженственная, она ложилась на диван, и, доходя до желания причинить физическую боль, я издевался над ее телом, мял ее грудь, как маленькие хлебцы, и с жадным любопытством следил, как наполняется медленной синевой пространство, припухающее под глазами. Она вставала, отряхивалась, причесывала волосы на русский пробор, готовила чай и почему-то всегда доставала из шкафа свой торжественный, любимый фарфоровый сервиз с золотыми ободками вокруг чашек, и я чувствовал себя не в Париже, а в калужском имении и ждал: вот раздастся стук в дверь, войдет заснеженный ездовой, подаст почту и «Калужские губернские ведомости».

И в тот момент, когда я шел около Ключи, зазвучал солидный, басовый голос. Человек разговаривает сам с собой разными голосами. Живет в нем и лирический тенор, и драматический, и баритон, и бас. Бас – всегда резонер.

– Болван ты, болван ты! – говорит мне мой резонер. – Сколько лет ты прожил с женщиной и ничего



в ней не захотел понять. Помнишь ли ты тот день, когда она впервые пришла к тебе, на окраину провинциального города? Как была молода она и свежа, и какой веселый апрельский день стоял тогда! Ты, распуская хвост, говорил о своей поездке в Вену, о том, какое впечатление произвел на тебя тридцать второй участок старого венского кладбища, на котором в одном уголке похоронены и Бетховен, и Моцарт, и Брамс, и Ланнер. Ты показывал ей маленькую фиалку, которую стащил с бетховенского памятника, и она поверила в твою нежность. Женщина никогда не любит определенного человека, а любит только образ, который она сама создает и который хочет к кому-то прикрепить, и любит в нем его, этот образ. Нужно много времени, чтобы она почувствовала разницу между своим образом и тобой. Нужно много неделикатности, тупости и недомыслия, чтобы понять, что она – не на небе, а на земле. И когда она это поймет, пиши пропало, аминь. Ты вспомни, как тебе не хотелось ребенка, как ты повел ее на операцию в какой-то вонючий, на задворках, отель, где голодный и трепещущий от страха докторишко с татарскими усами, с мошеническим выражением глаз ходил в башмаках на резиновой подошве и кромсал ее тело и тело твоего ребенка. Дрожал на примусе горшок с кипящей водой, а ты сидел в соседнем номере и вверх ногами держал какое-то иллюстрированное приложение к газете. Это была бойня, на которой ты позволил убить, может быть, твоего сына, которому в удел, может, выходило быть талантом, полководцем, архитектором, певцом. Понимаешь ли ты хоть теперь, что ты сделал тогда, и потом еще несколько раз делал то же самое? Потом она уже ездила одна, без тебя, и даже имела от доктора скидку, и готовилась к этому визиту, как готовится к своему утру

старый палач, у которого машина проверена и для волнения нет оснований. Но ей надо было быть матерью – разве ее грудь, ее живот, ее великолепные, как у музейных Венер, бедра были созданы спроста и бесцельно? Начались инстинктивные поиски нового самца, не такого тупого и жестокого, как ты. Отсюда – порханья от Румпельмайера к Берри, отсюда потребность в соблазнительном оперенье, отсюда платья от Пакэна, белье от Дусэ и мягкие подушки в автомобилях, каких не дают ни Рено, ни Ситроен. Она могла бы тысячу раз изменить тебе и, как говорили калужские горничные, поставить тебе чайник – она ушла честно и прямо, и какое тебе дело, как теперь сложится ее дальнейший путь? Вероятно, он будет тяжел и крут, но нелегко было и у тебя, с твоей музыкой, с твоей душой, устремленной не к ней, с твоими капризами. Ты разве не помнишь ее постоянного и иронического вопроса: «С добрым утром, мой дорогой! Какживает ваш эгоизм?».

Я скрипнул зубами и заставил баса замолчать и скрыться в подполье. Стало понятно, что меня мучит, – мною, как болезнь, овладевает обыкновенная, повседневная, повсебытная ревность. Как-то сразу стало ясно, что основная и самая отвратительная составная часть ревности – бессилие. Вот почему руки то опускаются, как плети, то вдруг сжимаются в жесткие кулаки. Кого бить? На кого броситься? И если прижаться к решетке Ключи и завывать, то подойдет полицейский и отвезет в больницу. Теперь я уже разрешил себе понять, к каким детским и недостойным ухищрениям я прибегал, дабы не сознаться, что мною овладевает болезнь ревности, как я хотел это чувство перевести на другие рельсы и притворялся бедняком в церкви, и какая-то очкастая старуха жалела меня. Я актерствовал, я играл



перед самым собою, я настраивался на лад обездоленного и нищего эмигранта и искал теплой руки, которая погладила бы меня по волосам и по щеке.

И вдруг заговорил баритон, пошляк, провинциальный любовник.

– Дорогой мой, – сказал он певуче, профессиональному устанавливая голос на носоглотку, – ей-богу же, женщина похожа на трамвай. Ушел один, подойдет другой. Ушла одна, подойдет другая. Возьми себя в руки, перестань быть молодым Вертером и вспомни антверпенскую Дениз. Сейчас я тебе подскажу кое-что. Хочешь знать, на кого она похожа? А ну, покопайся в памяти, вспомни. Вспомни одну из угловых зал мадридского Прадо, на втором этаже. Вспомни Еву Дюрера, вспомни блики на ее теле. Не это ли Дениз? Только не ногти, не эти по-немецки общипанные, тусклые, без белого венчика, ногти. Но голова, но волосы, но доверчивость глаз... А ты огорчаешься и злишься... Смешно, смешно...

И он звучно и насмешливо выговаривал «щ» вместо «ш».

Я щелкнул пальцами, и баритон, поперхнувшись, провалился в преисподнюю, как Петрушка на кукольном театре.

Я осмотрелся кругом. По тротуару шли мешки, наполненные печенками, кровью, желудками, желчными пузырями и недоваренной пищей. Странной силой двигались их ноги, еще более странной силой рождалась и оформлялась – в словах, в выражении глаз, в жестах – их мысль. И среди них стоял, прислонившись к решетке, я – лист с русского дерева, чужой и ненужный.

В последний раз я остановился перед магазином, в котором делают эмалированные вывески. Вот объявляет о себе консьерж, принимающий в

починку соломенные стулья. Вот – венгерский ресторан. Вот просят войти, не стучась.

И ноги сами собой повернули в знакомый переулок.

XVIII. Блудный сын

– Двенадцать человек на гроб мертвеца и хо-хо-хо! Одна бутылка рому!

Такими словами меня встретил Луи. Он очень любил цитировать Стивенсона, Вальтера Скотта, Майн Рида.

Прежде чем войти в кафе, я долго стоял на тротуаре и смотрел в окно. Та же, все та же похожая на коридор, продолговатая комната; те же шесть крепкосколоченных, точно из меди отлитых, столов; те же газовые, недействующие, но ярко начищенные рожки. В углу горела электрическая лампа, и под ней, на столе, покрытом шерстяным одеялом, Луи гладил белье. На его лице было сосредоточено то углубленное внимание, которое характерно для прачек, и все гримасы, то при нажиме утюга, то при пробовании его мокрым пальцем, клали на его бритое лицо простонародно-бабьи черты. Утюг, похожий на остроносый башмак, проворно и ловко скользил по белому полю, оставляя след, похожий на санный. Когда он брызгал на белье, раздувая щеки, в нем было что-то от Борея, как его рисовали старые итальянцы.

Луи всю жизнь «служил красоте». В молодости он писал стихи, картины, сочинял песенки в ритмах Беранже, рисовал для модных домов, нигде не успел, пошел в гарсоны и всегда выбирал дома, в которых заседали артисты. Он славился тем, что когда-то, еще юношей, он отводил пьяного Верлена на ночлег, снабжал Уайльда стеариновыми



свечами, когда у того за неплатеж выключили газ, лечил Модильяни от лихорадки и потом, в числе немногих друзей, шел за его гробом и т. д. Не-артистов он называл фармацевтами и не любил политиков. Политики, по уверениям Луи, замечательны тем, что никогда не платят долгов, и в доказательство называл десятки знаменитых имен, кончая их русскими известными большевиками. Луи безошибочно угадывал дарованье, ставил на него, как на лошадь, и, выиграв, радовался, плясал, плакал и запивал на целую неделю. Жил он лет сорок в одном и том же отеле и хвастался, что при нем два раза перестилали в доме паркет. Луи хвастался еще тем, что он – бургундец, что в их семье было четыре брата, все остались холостыми и один сделался епископом в Чили. Он был самостийником, обожал Дижон и часто показывал фотографии с видами дворца герцогов Бургундских, Дижонского собора и Дворца правосудия. Кроме того, он всегда доказывал, что лучший ликер в свете это – крем кассис.

– Итак, я вижу, сударь, что вы пусты, как барабан.

– Совершенно верно, Луи. Пуст, как барабан.

– Но, очевидно, дела ваши шли недурно, если вы не показывались в наших местах года два?

– Дела, действительно, шли недурно.

– Так. Это всегда так. Нет такой стены, которой не перешагнет осел, нагруженный золотом. А вы сегодня ели?

– Ел, Луи.

– Страсбургский паштет? Миланскую колбасу? Шатобриан? Индейку с каштанами?

– Нет, Луи. Я ел русскую свежую икру, холодную осетрину с хреном и телячьи котлеты.

– Так.

Луи смотрит на меня, и бритые губы его шевелятся, будто он хочет что-то незаметно сжевать. Вдруг говорит:

– Странная вещь. Никогда не пробовал осетрины. Что это такое?

– Вообще – ничего, пресновато, папье-маше, но с хреном и водкой – пища богов.

– Верлен любил маслины, черные и крупные, – отвечает Луи, и лицо его вдруг загорается странным серым, слегка фосфорическим светом. Тонкие и как будто злые губы начинают двигаться проворнее, в глаза постепенно накачивается странная сила, быть может увеличивающая зрение, и мне кажется, что Луи читает или хочет читать в моей душе. Я съеживаюсь, сжимаюсь, хочу защищаться и уже не люблю Луи. Но постепенно серый свет потухает, перестают вспыхивать фосфорические искры, губы разжимаются и делаются толще: окончился процесс, во время которого Луи понял все. Он снова добр и снова – мой друг, и я снова люблю его.

– Был человек – и нет человека! Ваша сдача, мамаша! – цитирует он из «Рокамболя» и идет в другую комнату, где стойка и где заседает хозяин.

Я слышу, как там загорается спор.

– Никаких кредитов! – говорит старческий хрипучий бас.

– Разве за мною что-нибудь пропадало? – спрашивает Луи.

– За тобою ничего не пропадало, – отвечает бас, – но мне противно, что тебя, как грушу, обирают разные проходимцы. Ты подохнешь бесштанником, и мне, как твоему старому хозяину, придется тратиться на похороны. А все эти церемонии, как тебе хорошо известно, стоят недешево.

– Ты не беспокойся, – отвечает Луи, – во-первых, еще неизвестно, кого кому придется хоронить, а во-



вторых, на похороны у меня отложено. Предусмотрен катафалк, венок самому себе, месса с органом и сто франков бедным.

– Одни и те же штаны ты таскаешь по десяти лет!

– Есть люди, которые привыкают к одежде, и мне лучше поцеловать kota под хвост, чем надевать новые штаны, которые скрипят, жмут в паху и скверно свертываются в коленях. И все-таки, если ты отказываешь в кредите, изволь: я, как во французском банке, плачу наличными. Вот! Сандвич с ветчиной и кофе!

О прилавок звякнули деньги.

– Убери свои деньги к черту! – презрительно сказал хозяин.

– Тогда не морочь головы и не теряй времени. Там сидит фигура, подыхающая с голоду.

– Политик? – живо спросил хозяин.

– Музыкант, – тем же доверительным шепотом ответил Луи.

– Может быть, ему перед сандвичем влить в пасть портвейну?

– Блестящая мысль, – весело ответил Луи, – нет лучше снадобья для подкрепления сил.

Зазвенели о стекло чайные ложки, заскрипел нож по суховатому хлебу, зашуршал сахар, – и скоро, с подносом и тарелками, появился передо мной радостный и торжествующий Луи.

– На доброе здоровье, – сказал он, расставляя передо мной стакан для кофе, тарелку с хлебцем, из середины которого выглядывала вялая фиолетовая ветчина.

Глаза его на этот раз светились тем особенным блеском, который рождается от доброты, не награнной, не искусственной, но органически живущей в сердце. Это было наслаждение, которое

дают высшие духовные дары. Как я был благодарен старику. Как я любил его облик, сухонький, в традиционном жилете с рукавами, в белом чистом фартуке, лысый лоб, склерозные жилки на висках, сухие, старчески-твердоватые руки с отчетливым узором жил и веерообразных костей. Они жили у него, эти руки, когда держали перед глазами гравюру, или картину, или художественный книжный переплет. Мне пришлось однажды видеть, как он рассматривал большой бриллиант, неизвестно какими судьбами занесенный в этот бедный дом. Он рассматривал его в круглое увеличительное стекло, рассматривал тщательно и близоруко, изучал каждую грань и было завидно наблюдать, какую радость умеет вызвать человек в себе от той прелести, какую напоен драгоценный камень, от того огромного заряда звездности, огней, искр, красок и времени, которые в нем нетленно и таинственно живут и похожи на неопалимый куст.

Когда я окончил еду, из-за перегородки вылез хозяин, согбенный, с нависшими седыми бровями в шелковой ермолке, которая делала его похожим на Клемансо. Он скоро признал меня, вспомнил и с минуту изучал мое лицо тем бесцеремонным и выведывающим взглядом, который есть только у стариков и который говорит об ослабевающей и дряхлеющей талантливости. И куда девалась его жестокость, с которой он разговаривал о кредите! Он повел меня за перегородку, в комнату, которая была его логовом.

Стояла неубранная постель. Было жарко. Топилась круглая чугунная печь с глаголем трубы. На окне, как солдатики, выстроились темно-коричневые аптечные пузырьки: старик, вероятно, принимал йод. На почетном месте помещались круглый мраморный столик, закапанный чернилами



ми, и два соломенных стула, которыми обыкновенно уставлены уличные террасы кофеен. К стенке прислонилось старое бюро, похожее на пианино, с полукруглой крышкой, покрывающей доску.

– Знаете что? – хитро сказал хозяин. – Вы два года забывали нас и теперь вернулись к нам, как блудный сын. Не смущайтесь: это со многими случается. У нас нет козленка, но мы на радостях выпьем чего-нибудь запрещенного и из хорошей посуды. Луи!

Мгновенно появился Луи.

– Достань хорошую посуду и абсент!

Луи потер руки и сказал:

– Вот это я понимаю! *L'heure sainte de l'absinthe.* –

Он открыл шкафчик, который был полон однообразных зеленых бутылок, и взял одну из них, крайнюю, откупоренную и начатую. Потом достал три стрекозиные удлинненные рюмки и налил в них, как святыню, зеленоватую душисто-ядовитую жидкость.

Пригубили – и точно огнем обожгло кончик языка, но когда ожог начал остывать, получилось острое вкусовое наслаждение и стала сладко туманиться верхняя часть головы. Я понял, что от этого напитка так же трудно отказаться, как от гашиша.

– Вы внимательно смотрите на все, что вас окружает, – сказал хозяин, – этот столик – это его любимый столик. Эти стулья – на них он всегда сидел. Эти рюмочки – из них он всегда пил.

Я не знал, о ком идет речь, – и мне было все равно. Мне казалось, что я иду по лесу, всюду разлился утренний туман, солнца не видно, но птицы поют, и душа славит Бога.

– Давай бювар, Луи!

Луи подал старый, потрепанный бювар с надписью: «*L'illustration*».

Хозяин благоговейно раскрыл его. В бюваре лежал кусок обгрызенной и полинявшей розовой промокательной бумаги. Среди беспорядочно, вкривь и вкось отпечатавшихся писаний ясно обозначился столбик строк.

– Видите? Их можно при желании разобрать, если посмотреть через зеркало, – сказал хозяин.

Луи уже держал наготове круглое зеркало. Я навел его на промокательную бумагу, буквы стали в обычный порядок, но было трудно сразу привыкнуть к их расплывчатости и неотчетливости. Сделав зрительное усилие, я чуть не выронил зеркало из рук. Строки просветлели, и я без затруднения прочел:

*Les sanglots longs
Des violins
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une longueur
Monotonne...*

– Это было написано здесь, вот за этим столиком и за этими рюмочками, – сказал хозяин и добавил, обращаясь ко мне: – Если у вас нет ночлега, Луи напишет письмо Морису.

ХІХ. Девятый час

Если есть люди, дегустирующие вино, то у меня есть врожденное чутье воздуха. Если звезды влияют на дела человека, то воздух, бесконечно и ежеминутно меняющийся, является господином человека. Все знают грубое чувство угнетенности, которое бывает перед грозой, успокаивающее влияние ясного и спокойного рассвета, тревогу воробьиных ночей, смуту вспыхивающих зарниц. Воздух –



сердце природы, и человек иначе ощущает себя в лесу, чем в горах или на море.

Когда я с письмом к Морису вышел из кафе, то, не глядя на циферблат, мог по плотности воздуха сразу определить, что протекает девятый час вечера – час усталости, мускульной ослабленности, перестроившегося на снисходительность и доверие мышления, – час не мудрый, час глубокого засыпания самых чутких змей, и оттого по-своему прекрасный. В этот час не нужно верить ни сердцу, работающему по ошибочным предчувствиям, ни уму, ослабевающему в логике. В этот час немудрого и восхитительно-сладостного приятия жизни человеком распоряжается не он сам, а ангел-хранитель или демон-предатель. В этот час глаза источают лучи дымного, затуманенного ведения, могущие раскрыть даже чужие помыслы.

Мне весело смотреть людей, в тот час немного сходящих с ума. И потому к девятому часу приспособлено начало театральных представлений. Оттого люди, расчетливо, по средствам, купившие билет, спокойно разыскавшие кресла, заботливо спрятавшие в жилетный карман номер вешалки, могут в то же время верить, что за занавеской, поднятой грубо скрипящими веревками, протекает настоящая жизнь, и актер, повторяющий слова, громким шепотом поданные из суфлерской будки, действительно Гамлет, Макбет или король Лир. Вазелин, размазанный по щекам актрисы, они примут за слезы, бенгальский огонь – за пожар, красную лампочку в камине – за уголья.

В этот час люди могут выносить и прощать идиотские нелепости кинематографа или оперы, верить в ведьм Шекспира или в то, что приехавший к сыну отец, украдкой следя за вступлениями ди-

рижера, может распевать сладостным баритоном куплеты о красе Прованса. В этот час хочется благополучных концов пьес, торжества добродетели, этот час благоприятен для наглецов и нахалов, в этот час легко подтолкнуть девушку на последнее решение.

На конверте, который вручил мне Луи, был написан адрес отеля, и я пошел по направлению к улице Кота, который ловит рыбу. От множества огней фальшиво сияла река, темная в середине и искусственно светловатая у берегов. Какая разница: отражение луны или крупных звезд и этих газовых, приторных столбиков, уставленных по берегу в расчетливой последовательности. Так бывает и в море: парус не нарушает его ритма, но пароход, но броненосец, но моторная лодка – всегда чужды ему, враждебны и противны.

В бюро отеля сидел третий старик этого вечера – и еле повернулся ко мне, когда я стукнул в стекло. Я был «не то»: старик поджидал парочки, которые платят усиленную цену, не забирают много времени и для которых в парижских отелях всегда заготовлены первых два этажа. Мой чемодан был слишком красноречив.

– Чем могу служить?

Я выложил на стол письмо. Старик не прикоснулся к конверту и только вскользь, приставив к глазам пенсне, как лорнет, взглянул на почерк, потом на меня, в точки глаз. Этот взгляд напоминал мне и Луи, и его хозяина. Очевидно, он отпускается старикам за выслугу лет.

– Возьмите на доске ключ из нижней линии, – сказал старик.

– Какой?

– Какой хотите. Предупреждаю, что проточной воды и вообще всяких этих модных штучек у меня



нет. Белье – грубое и латаное. Баб после часу ночи не допускаю. Какое вы любите число?

– Четырнадцатое, – ответил я.

– Ну вот, вам везет. Берите четырнадцатый, кстати – он свободен. Третий этаж, налево. Луи, старый черт, здоров?

– Здоров.

– Скажите ему, что он мне надоел и что я сильно нуждаюсь в абсенте. До свиданья.

Я уже начал подниматься по винтовой лестнице, волоча свой чемодан, как ведро воды, и вдруг меня остановил оклик из бюро:

– Стой!

Я вернулся, и старик опять взглянул мне в очки глаз.

– И вот что еще, мой друг, – сказал он тоном гадалщика, – в твоём государстве плохо работает не один только министр финансов. Скажу короче: у тебя плохо работает министр сердца. Дай им отставку. Ты плохо составил свой кабинет. Так вот. Знай, что мне семьдесят лет. Знай, что я больше всего не люблю полиции, когда она топчется в моих коридорах, судебных врачей, госпитальных карет и зевак под окнами. У меня нет охоты разговаривать с сотрудниками вечерних газет и ходить в судебные установления на допросы. Знаю одно, и это верно, как Бог свят: нет на земле ничего такого ценного, из-за чего стоило бы преждевременно терять солнечный свет и тепло. Но, если ты не выдержишь напора собственной глупости и дряблости, ради Бога и его звезд, не вешайся в моем отеле, не травись и не стреляйся. На это есть Венсенский лес. Я всегда отпущу тебе сумму на покупку трамвайного билета. Понял?

– Понял.

– Ну, вот и хорошо. И еще лучше, что ты улыбнулся. Улыбка – это хорошая дезинфекция. Понял?

– Понял.

– Иди и мирно спи. Окна твои выходят на реку, завтра увидишь Сену, мосты, баржи, людей – и ах как это хорошо!

«Какая славная, облезлая, уютная зверюга! – подумал я. – Сидит в теплой норе, сосет лапу и все понимает. Если в Париже найдется сто таких существ, как мои старики, то этому городу не грозит никакое проклятие, даже библейское».

Номер оказался чистеньким, со старым лысым ковром на кирпичном полу, с неизбежным камином и ржавым зеркалом, с узенькими стульями и с широкой национальной кроватью.

Я взглянул в окно – и какой-то злокачественный нарыв, все это время мучавший меня, сразу лопнул. Я понял, что и жена, и лилипуты, и директор, и Антверпен – все это не существенно и преходяще. Главное в том, что ничто здешнее не пристало ко мне, и я ни к чему не пристал и пристать не могу: я чужд и этому городу, и этой земле, и этому небу, и даже этим звездам, которые стоят не на тех местах, на которых я знал их когда-то... Большая Медведица должна быть за дровяным сараем, а тут она где-то в центре, на видном месте. Я понял, что мне нужно быть сейчас не здесь, а ехать в почтовом поезде из Ростова в Москву, целый час стоять в Воронеже и чувствовать перемену климата: прощайте, тополя, и здравствуйте, березы. И еще главнее: слышать меняющийся акцент и ритм речи, и твердое «о». Есть борщ и в нем – кусочек черкасского мяса, пить пиво из бутылки с выдавленными буквами, читать вечерние московские и петербургские газеты и в петербургских, на первой странице, – продолговатые театральные объявления. Должен видеть: свечи в



вагонах над дверями, поднимающиеся диваны, жуликоватых кондукторов в поддевках и с фонариками; слышать: заботливые звонки на станциях, перебранку из-за мест, чавканье мужиков, плач ребенка. Воронеж, Тихон Задонский, сборщицы на монастырь, темно-синие семикопеечные марки, медные пятаки, зеленые трехрублевки, коробки папирос, лапшиновские спички и, самое главное, русский вечерний воздух здесь, в Воронеже, на разделе севера и юга, единственный по сладости и очарованию воздух, – вот что мне нужно сейчас, вот без чего я задыхаюсь, как в безвоздушном колоколе, вот о чем я тоскую днями и ночами и не могу доискаться до причины моей болезни и моих воздыханий! Пусть будут сном эти года, – я проснусь сейчас и услышу, – Рязань – Москва, поезд на первой путе!

Я не могу здесь больше жить, возле этой реки, на которой построен морг, возле этой двухбашенной колокольни, по ступенькам которой бегал сумасшедший горбун, возле этих коротеньких мостов.

– Вот он, обманный час, – говорю себе. – Вот оно, наваждение. Успокойся. Твоя Россия ушла в подводное царство, как град Китеж, а то, что осталось, сошло с ума и свое первородство продало за чечевичную похлебку...

И вдруг из соседней комнаты невидимый и задорный оркестр, взяв ритм курьерского поезда, рванул по струнам банджо и скрипок, сыграл головокружительный кабацкий ритуфель, и с лицемерным благочестием саксофон заиграл молитву из моцартовской обедни, переделанную в фокстрот. Это был необыкновенно удачный подказ.

– Читай книгу Иова, – говорил я себе. – Бог дал. Бог взял. Все добро зело. Аллилуйя.

А еще через некоторое время в мою комнату вползло странное, небритое, однорукое существо

в бумазейной пижаме и турецких туфлях, долго и учтиво извинялось за беспокойство и сказало:

– Каждый вечер, в девять часов и пятьдесят минут, я ставлю на граммофон фокстрот «Аллилуйя». Как раз в это время мне на фронте оторвало левую руку, но я остался жив и люблю жизнь больше, чем с рукой. «Аллилуйя» – это по-еврейски значит: «Хвалите Господа». Вас это не будет беспокоить?

– Нисколько, – ответил я. – Напротив, это меня очень устраивает.

И подумал, тайно обращаясь к старику, сидящему в бюро: «Нет, старый черт, на трамвай к Венсенскому лесу я у тебя не попрошу».

XX. Перекресток

Сейчас на этом перекрестке растут четыре молодых дерева: зеленый квартет, как здесь их зовут. Когда-то мне казалось, что между ними незримо вырыт чудотворный колодезь, к водам которого устремляются люди со всех пяти частей света. Иначе нельзя было объяснить, чем влечет сердца этот самый обыкновенный, типически парижский угол Монпарнаса. Правда, над ним – большой просторный кусок неба, благодаря гористости здесь чист воздух; здесь провинциально, и широкие террасы кофеен напоминают пляжи; здесь можно спеть песню, и полицейский вам подтянет; здесь невидимой властью отменены мещанские законы о нарушении общественной тишины и спокойствия; здесь, если вам нехолодно, вы можете пройти по тротуару голым; до сих пор еще не растаяли и оказывают свое действие флюиды садов Бюлье и Фиалковой беседки; неподалеку, на кладбище, лежат кости Мопассана. Здесь пыталась привиться и не привилась продажная любовь: этому немало способствовало



классическое целомудрие Латинского квартала. Это, пожалуй, единственное место в Париже, где в любви проявляют бескорыстие, любят преданно, нежно и в случае подозрений шумно дерутся на людях.

Художник может за сотни тысяч продавать свои картины, и критика может изойти в похвалах, но настоящая слава придет тогда, когда его признают здесь. Чтобы понять, в чем дело, надо просидеть здесь несколько лет подряд: случайному, торопливому и занятому посетителю такое времяпрепровождение покажется пустым занятием.

Сначала все заварилось в тесном и бедном угловом кафе под названием «Ротонда». Отличие этого заведения заключалось в том, что, спросив чашку кофе, можно было просидеть за ней целый день. У хозяина в запасе всегда была твердая бумага, цветные карандаши и акварельные краски. За цинковой стойкой стоял буфетчик, который всех звал Казимирами, и которого, в свою очередь, все звали Казимиром. Говорили, что здесь – пуп земли и меридиан проходит через Казимира. Залой правил метрдотель Рауль, про которого все знали, что у него – деликатный желудок и что поэтому он, на особых правах дворянства, пользуется дамским лавабо, причем дамы «Ротонды» навсегда утвердили за ним эту привилегию. Свою клиентуру Рауль молча, по-аристократически презирал, и когда «Ротонда» к десятому часу вечера начинала галдеть особенно горячо, Рауль становился в наполеоновскую позу, смотрел на чернь и тонко улыбался. Рауль был уверен, что подлинная истина – на правом берегу. С виду он был меланхоличен, но при первых же аккордах драки в нем просыпался галльский петух, бросающийся в бой с подскоком: оттого его редингот носил следы многочисленных, чуть заметных,

но, несомненно, существующих следов штопки. Другим мрачным пятном «Ротонды» был некий голландский тощий и высокий еврей, носивший на голове индусскую чалму и работавший под индуса. Он гадал на картах, а в складках чалмы хранил порошок кокаина, который продавал верным людям, на чем, впрочем, и попался. Все остальное на три четверти было молодо и на все сто процентов – весело, задорно и шумливо. Иностранцы здесь пользовались полным равноправием, и после войны прежде всех мест заговорили по-немецки в «Ротонде». Среди толпы шныряли сводники, купцы, большевистские агенты, кинематографические актеры, газетчики, консулы, чудаки, влюбленные и сумасшедшие. В день бала четырех искусств ряженные предварительно приходили сюда для оценки костюмов, и тогда скандинавские и американские девицы смотрели на них с восторгом и шептали: «Это – Париж!». Создалась репутация грешного места, адского филиала. Девчонки, приезжавшие из европейской провинции, первым долгом неслись на метро Вавен, входили под полотняную террасу с видом богомоллов и через два месяца смущенно спрашивали доктора, почему у них остановились крови. За кассой, рядом с матерью, заседала молодая рыжая красавица, и ее сливочное статное тело, какое бывает только у рыжих, вносило в кафе обаяние добродетели и недоступности, сводило с ума всех пейзажистов, и они кричали, что видят ее через платье, и пытались писать стихи, представлявшие для поэтов предмет посмешища. Красивое и уродливое, умное и глупое, молчаливое и болтливое, талантливое и бездарное – все сталкивалось здесь в необозримый кавардак и, сталкиваясь, высекало иногда поразительные и незабываемые искры, вспыхивавшие, секунду жившие и потом бесследно



пропадавшие. Целыми автокарами сюда приезжали немецкие лидертафели и пели «Ротонде» серенады. Поэты прославляли ее в стихах, газетчики – в многословных корреспонденциях. Девчонки тысячами рассылали открытки с ее фотографиями. Кончилось тем, что фонд де коммерс «Ротонды» стал оцениваться в миллионах. Монпарнасская босая команда на своих костях создала большую материальную ценность, и этой ценностью, как костью, подавился хозяин: он решил взбить сливки и расширить дело. Прикупили соседнее кафе, проломили стену и сделали новый большой зал, подвесив к потолку хрустальные люстры. Увы. Это привлекло зависть конкурентов. Начали строить другие заведения, большого размаха, вокзалобразные. Засверкали ртутные вывески, запахло ресторанным чадом, сливочным маслом, стремлением к неосторожно-откровенной наживе, к горе Парнас приблизилось что-то монмартрское, и художники стали считаться посетителями малоизвестными, «кафекре-мистами», их стали осаживать в темные углы. Начала работать полиция нравов, и чудотворная вода колодца ушла в новое, неизвестное место. И теперь остается одно: между четырьмя деревьями поставить памятник тому неизвестному, успевшему и не успевшему артисту, который создал мировое имя этому незамысловатому кусочку земли.

Где вы, мои милые собеседники и совопросники? Где Бураковский? Ведов? Лунев? Айша? Кудесник, любимец богов? Слоник? Жано? Где все те, с которыми так незаметно и весело проходила горькая жизнь изгнания?

Я давно не был здесь и когда, как князь на мельницу, вновь пришел после долгой разлуки, то увидел непривычно пустынную террасу, внутри, под

потолком, висел все тот же барабан, – но сколько свободных мест на клеенчатых диванах!

Без удивления меня встретил Рауль. На его лице написано: «Что ж? Уходят – приходят; придут – уйдут; разбогатеют – разорятся; разорятся – разбогатеют; прославятся – придут в ничтожество; придя в ничтожество – снова просияют».

Рауль меланхолично жмет мне руку и говорит:

– Давненько.

– Да, – отвечаю я.

– Где?

– Там.

Рауль отходит. Он постарел и справил себе новенький редингот. Так же, как встарь, тщательно проглажена складка брюк, так же аккуратно блестит кожа сапог, и только в волосиках поблескивает сединка.

– А как желудок, Рауль?

– Принимаю магнезию.

Сажусь за стол, на привычное старое место. Незнакомый лакей приносит кофе. По стенам развешаны картины свежей работы: все те же марокканские мечети, русские тройки, параллелограммы, человек со скрипкой вместо носа, бретонские пейзажи, проект памятника Бодлеру, устрицы на тарелке, испанский лук, верблюды в пустыне...

Тишина; четыре часа дня. В это время в России начинали звонить к вечерне. Впрочем, не надо о России. Не надо снова поднимать в себе сладкой и ядовитой тоски. Сажу с закрытыми глазами, приложившись головой к стенке. Кофе стынет. Пусть! Ясно ощущаю, как опускаются мускулы, как медленнее начинает стучать сердце, перестают болеть виски, – и только обостряется слух. Из глубины комнаты, от окна, доносится хрипловатый басок:



– Вот, например, собачий налог. Он существует и в жизни собак играет большую роль, но собаки никогда не догадаются и не узнают об его существовании. Так и с людьми. Есть множество вещей, их касающихся, о которых они никогда и ничего не узнают, о существовании которых не подозревают и от которых, может быть, зависит самое главное в их жизни и смерти: счастье, любовь, талант.

Меня тянет в сладкую дрему, и на мгновение проносится какая-то темноватая комната с множеством мягких восточных диванов, завязка сна, но я быстро прихожу в себя и жалею, что не увидел красавицы, которая шла сюда, и чьи легкие шаги я слышал вдальеке.

Открываю глаза. Передо мной стоит тарелка с кружляшками масла. Рауль помнит мои привычки. Я опять слышу:

– Перед войной экономисты как дважды два высчитали, что всех мировых запасов хватит на пять месяцев, и тем не менее война шла четыре года. Император Вильгельм говорил, что если бы у него за победу было бы девяносто девять процентов, то он не начал бы войны: за победу у него было сто девятнадцать процентов, и он проиграл войну. Марксизм – чудо человеческой логики, – и мы видим, с каким треском он повсеместно проваливается...

– Ну, дальше, дальше. Сноси яйцо скорее!

– Я хочу сказать, что человеческая логика – одно, а логика, по которой построены мир и жизнь, совсем иная. И человек никогда этой логики не постигнет, как собака никогда не узнает о существовании собачьего налога.

Браво. «Ротонда» все-таки жива. В четыре часа дня «Ротонда» всегда занимается разрешением мировых проблем.

Рауль прислал не булку, а тост. Этот пессимист помнит, что я люблю тост. Тост сделан из крутого теста, хорошо замешенного и отлично выпеченного.

– Возьми христианство. Христианское учение, прежде всего, противоречит всякой логике. Ударят тебя в одну щеку, подставь другую. Возьми имя и раздай нищим. Трости надломленной не переломи. Будьте как дети. И эта нелогичность победила мир!

Слышится ответ:

– Думаю, что высшая логика похожа на женскую логику.

Реплика:

– Возможно, что мир сотворен не Богом, а Богиней.

Жива «Ротонда».

Подходит Рауль и кладет на стол русские газеты, свернутые столбиками. Я всегда начинаю с объ-явления. И вдруг вижу жирный текст и указующую руку.

«Где ты пропадаешь? Получил контракт на Испанию. Мадрид, Барселона, Севилья компри... Пора репетировать. Д. вышла замуж, пошли поздравительную телеграмму».

Дениз вышла замуж!

Я начинаю смеяться. Все посмотрели на меня без удивления. У всякого барона фантазия своя.

Я смеюсь тем предположениям, в которых порой я не мог признаться даже самому себе. Иногда мне казалось, что Дениз – гоголевская панночка, отец ее – пан сотник, а я – Хома Брут.

Теперь панночка вышла замуж. Хома Брут может верить, что никакая нечистая сила на него не покушается.



XXI. Рождение любви

Как всякая дилетантская драка, эта драка не привлекла к себе особого внимания. Ограничилось дело тем, что у лакея выбили поднос с бутылками и на всю террасу распространился аптечно-парфюмерный запах какого-то сладко-ванильного ликера и затем послышались высшие французские ругательства, произнесенные не вдохновенно, а только старательно, с иностранным акцентом и грамматическими неправильностями. Во время драки противники по-женски хватали друг друга за напомаженные прически, в движениях не было видно расчета, отчетливости и изготовки, кулаки все время вертелись около раскрасневшихся морд, забыв о существовании души и девятого ребра. Сразу стало понятно, что дерутся не из-за женщин, а интересны, вдохновенны и поучительны бывают драки только этого сорта. Когда на террасу не вошли, а вступили городовые в пелеринках, то сразу было кончено. Спокойные, сильные, моментально оценившие несерьезность положения, имеющие на лице выражение врачей, приступивших к операции, они, обходя осколки и лужи ликера, ловко и безболезненно разняли драчунов и потом, одного за другим, выкинули их в большой зал, как на здешнем языке называется тротуар, улица, площадь и вообще всякое место, освещаемое звездами.

– Он – корова, он – корова! – слышался голос, детски-обиженный и произносивший «иль» как «ил».

Я разочарованно вернулся к своему месту и увидел, что за моим столиком сидит Петров, один из ветеранов «Ротонды», человек, долго и упорно стремившийся к славе через писание то масляных картин, то рассказов, то стихов, то драм, то фило-

софских трактатов, искавший всюду новых форм и пренебрегавший содержанием. Когда славы не вышло, он сделался хиромантом и гадал американцам, плохо ему верившим; потом работал как комиссионер и попался на поддельных сертификатах Бодэ: выступал на кинематографических съемках как статист первого плана, умевший носить смокинг и падать со всего размаха навзничь; изобретал кремы для цвета лица, делал краску для ресниц на касторовом масле и одно время дирижировал хором балалаечников в малиновых штанах.

– Ну, как живем, старина, – спросил я.

– Живем, хлеб жуем, – ответил Петров, – а когда скучно, занимаемся тем, что считаем у самих себя пульс.

То, что говорил Петров, всегда было дельно и солидно. Казалось, что человек разговорами только старается скрыть свою главную мысль о том, как добыть поскорее миллион.

– Вы знаете, что человеческое сердце подвержено изменениям каждые пять минут? Кстати: вы знаете, как рождается любовь? – спросил Петров без всякой связи с предыдущим.

– Знаю.

– Хвалитесь. Не знаете. Все, а в особенности русские интеллигенты, думают, что любовь рождается постепенно, с течением времени, путем душевных наслоений, – иными словами, заваривается, как чай, на медленном огне. Это ошибка. У меня был знакомый художник-медик, который пять лет ухаживал за студенткой-медичкой. Пять лет они испытывали друг друга, присматривались, изучали и пришли к выводу, что друг без друга не могут жить. Я был шафером и повенчал их в мэрии шестого аррондисмана. И что же? Через две недели молодые закатали такую драку, что молодой на всех парах бегал жало-



ваться в полицию и у меня дней десять ночевал на диване. Любовь рождается сразу, в один определенный и очень короткий астрономический момент.

– Например?

– Например, в пять часов двенадцать минут и сорок восемь секунд. И когда было сорок семь секунд, любовь находилась наверху горы, на другой планете, и пребывала в замороженном состоянии.

– Петров! Скоро ли у вас будет миллион?

– Почему вы об этом спрашиваете?

– У вас в глазах, в бровях, в ресницах мелькают миллионы. Весь ваш облик говорит: вот человек, который предназначен для миллиона и которому будет принадлежать дом на Итальянском бульваре!

– Способны ли вы понять, – говорил Петров, наклоняясь ко мне и презирая мое остроумие, – что дело не в том, буду или не буду я иметь миллион, а в том, что все будущие и грядущие поколения, Бетховены и ничтожества, Шекспиры и мелкая человеческая вобла, Ньютоны и приказчики из галереи Лафайет, Рафаэли и владельцы нотариальных контор – все они уже присутствуют на земле, хотя и не рождены? И вы думаете, что весь этот житейский тарарам, все эти войны, политические борьбы, сменные режима делаем мы, которым осталось на существование жалких двадцать-тридцать лет? Нет, это делают они, незримые, не рожденные, но уже здесь, среди нас, присутствующие, и мой миллион – на черта он нужен мне, если я могу питаться сырой рыбой? Но я буду иметь миллион, ибо он нужен ему, моему будущему Бетховену или человеку, который будет знаменит только тем, что он не пьет сырой воды! Вы меня понимаете?

– Смутно.

– Итак, суть дела вот в чем. Видите, вот, на углу, большой колониальный, бакалейный и винно-

гастрономический магазин? Там в уличной кассе сидит она, семнадцатилетняя бретонка, только что приехавшая из Анет, где ее папа и мама, как она говорит, служат domestиками. Зовут ее Люль. Приехала в Париж – искать счастья. За месяц работы получает четыреста колес и пищу два раза в день. Иду по улице я, человек, изгнанный из Тульской духовной семинарии, убоявшийся бездны премудрости, не одолевший психологии, философии, гомилетики в размерах, одобренных училищным комитетом при Святейшем Синоде, русский Ренан без латинской казуистики. Мыслитель и бас. «Апостола» когда читал – до раздражения завесы. Ректор благословлял и говорил из зависти: «Орешь, как ишак на заре». Рассказываю вам русскую биографию потому, что иностранную, ротондскую, вы знаете. Мой расцвет, мой золотой век – времена немного кинематографа. Писал сценарии, но вы знаете тот порочный круг, в котором было заперто это великое искусство? Но дело – прибыльное: восемьдесят франков в день за вычетом комиссионных.

– Вы стали статистом, – резюмировал я для краткости.

– Да! Я падал навзничь, рискуя отбить почки, танцевал фокстрот, дрыгая задом, катался верхом, на коньках и на лыжах, потом стал гримировальщиком, разделявал картошку под орех, распутывал трос, делал гордые носы, наводил на рожи номер третий, пудрил рисовой пудрой и собственной слюной стирал неверные линии.

– Одним словом, в кассе сидит она, по тротуару бодро шагает он.

– Три часа дня, торговли нет. Она – хороша собой, как зацветающий табак. Мне нужно было два кило картошки, но, видя такое дело, я отхватываю кочан цветной капусты и коробку сингапурских ананасов.



Игра на богатого барина. Девчонка, хорошенькая, как пупс, одной рукой отсчитывает сдачу, а другой зажимает кинематографический журналичко, в котором за полсотни франков печатают на первой странице любую рожу, с самым нежным подписом. Вижу: дело. Беру часы-браслет и делаю из них послание к евреям, пятьдесят френчей в редакцию и лучшую фотографию, в смокинге и с задумчивыми глазами и, конечно, с папиросой, как надлежит деятелю искусства. Портрет напечатан и надпись: «Надежда европейской кинематографии, мсье Петров, великий артист». Покупаю спаржу, а девчонка – сама не своя (бретонки очень страстны), то бледнеет, то краснеет, то в жар ее, то в холод, пальчики дрожат, журнальчик вытаскивает. «Это вы, мсье?» – «А кто же другой? – отвечаю сурово и добавляю: – В три дня любую карьеру создать могу и в три дня разрешить. Чаплин у меня в передней сиживал, а Грета Гарбо автографа на открытке неделями добивалась. Приходите, – говорю, – в кафе на Сен-Мишель, дом номер такой-то. Вы – фотоженик». Подзапасся деньжонками, гарсону на чай пять франков, «ото» на острова, катание в лодке и за обедом – Сен-Жульен, а потом номера, Шильонский замок, любовная Бастилия, где вся мебель скрипит, как море в провинциальных театрах. Бретань поддержала свою старую славу, и когда стыд, застенчивость, робость, смущение перелились в страсть, то я сказал сам себе: «Ты победила, Тульская семинария!». Из журнальчика моя Люль знала, что Глория Свансон получает в неделю миллион, Мэри Пикфорд – полтора, и так далее и тому подобное. Одним словом, требование: завтра на экран. А я: «А грим знаешь? А меньше ходить по сцене? А куда деть руки? А как смотреть партнеру в глаза? А править автомобилем?

А гребной спорт? А теннис?» Одним словом, девочка сидит в кассе, делает мне льготы в платежах, по вечерам приходит ко мне в мезонин. «Почему бедно живешь?» – «Философия, стоицизм, презрение к роскоши, помогаю маме в Одессе». Проходят еще времена. «Моя роль?» – «В этом, – говорю, – фильме, который сейчас крутим, ничего достойного твоего таланта нет. Подождем. Для дебюта нужна не роль, а фейерверк». Ждем. Время мчится с быстротою, как потоки с гор. Опять месяцы, опять безмолвные вопросы, «ну что же, когда же, Пьеров?» Она звала меня не Петров, а Пьеров. Наконец мне волынка эта надоедает, решил вести дело начистоту, и, в конце концов, чем я рискую? И говорю: так и так, милый Люль, все – обман, ничего у меня нет, третий день не жравши сижу, бей меня по мордасам... Заплакала Люль, все рушилось, испанские замки повалились, китайские тени перестали прыгать по стене... Опять конторка на улице, жаровни в ногах, казенное одеяло... И вдруг раскрывает свою сумочку Люль, вынимает оттуда пятидесятифранковую бумажонку и говорит: «На, поди поешь»... И вдруг любовь моя, бывшая за секунду до этого где-то на Юпитере, на Большой Медведице, с быстротою света принеслась ко мне, на землю, в мой мезонин, я сжал эту девочку в объятиях, заплакал над нею, глупо, по-тульски заплакал и понял, что умру за нее, пойду на каторгу, ограблю Ротшильда, взорву казначейство, что нет на свете у меня милее и дороже существа, что не счастье, а счастьеще привалило ко мне, и стала мне понятна жизнь, и кровь как-то иначе заходила по жилам... И вот сегодня я венчался с ней... И вот жду ее, а вот и она, рождение любви.

К столу подошла прелестная девушка. На щеках немного узаконенной парижской пудры, на губах



красное искусственное сердечко. И в цвете кожи или глаз, понять не могу, но что-то от зацветающего табаку есть.

– Бутылку шампанского! – скомандовал я. Лицо Петрова омрачилось.

– Дорогой мой, – предупредил он меня, – у меня всего сто су.

– Не беспокойся! – ответил я.

– В «Ротонде» кредита нет..

– Знаю.

У меня не было и ста су. Кредита в «Ротонде», действительно, не оказывают. Я отправлялся в очень опасное плавание.

«Как ты выйдешь из положения? – спрашивал я самого себя, когда принесли бутылку, и мысленно отвечал: – Выйдешь. Все устроится. Вера твоя спасет тебя».

Подготовка текста и публикация А. Фокина.

(Окончание следует).

Антология ставропольской поэзии

* * *

Я рожден в понизовом краю
хуторов,
Где сады, будто слухи, темны
и туманны,
Где у самой черты пустырей
и дворов
Перепелочный крик да густые
бурьяны.

Азиатская вязь ивняковых
плетней,
И в разводах акаций – белены
хаты.
Боже мой, боже мой, что я знаю
о ней,
О земле, на которой родился
когда-то?

Там по-прежнему травы весной
хороши,
Студит легкий туман заревые
покосы.
И к дождю, потемнев, шелестят
камышы,
Огибая прогретые белые
плеты.

Глохнет ветер степной
в проливном ковыле,
Но, смущая извечную тягу
к покою,
Не о счастье ль, доверенном
этой земле,
Мне аукает лес над прозрачной
водою?



**АЛЕКСАНДР
МОСИНЦЕВ**

Поэзия





Присуха

Когда б судьба решенья не сменила,
Не заказала славы и удач,
Я б в деда вышел красотой и силой,
К вину охоч и на руку горяч.

И ночью звездной,
Не пугая слуха,
Задами крался до того гумна,
Где ожидала сладкая присуха –
Чужая и неверная жена.

Её ль осудой обесславить грубо?
И тело разом выгнется назад
Так мутят душу солнечные губы,
Бесстыжие с подсказкою глаза.

Оглохший месяц грянет привиденьем,
Когда примнут лесное забытье.
Как дождь над речкой,
Светлые колени
И рученьки заманные её.

Нам свадьбу волки б за лесом обвыли,
Чтоб на рассвете передать молве,
Как губы ныли, волосы дымили
И путались в целованной траве.

А по селу б шёл говор:
– Присушила...

Пугливо бабки прикрывали рты.
Была б страшна и непонятна сила
Проклятой ими бабьей красоты.

* * *

Нет, не зимой и не весной,
Я осенью домой приеду.
Калитку распахну ногой,
Приятно улыбнусь соседу.

Поёживаясь от дождя,
Не торопясь, раскрою двери,
Чтоб в мир, знакомый до гвоздя,
Как в сказку детскую поверить.

В сенях и дух, и вид былой,
И я топчусь как онемелый.
На сундуке – ведро с водой,
Рогатый примус, чайник белый.
Любую вещь найду впотьмах.
– Войдите!
Но молчу упрямо.
И, не дождавшись, – в дверь сама.
Ах, мама, мама!

И вот сидит лицом к окну,
Жизнь разбирая слободскую.
Что Витька Власов взял жену,
Что Толька – пьет напропалую.
Что он гуляет по ночам
И обижает мать нередко.
А против нас – у Плескача –
Родилась маленькая Светка.

И, как-то вдруг уйдя в себя,
Мать скажет, будто ставит точку:
– Да, спрашивала про тебя
Не так давно Сергевны дочка.



Потом, когда затянет сплошь
Всю комнату ночная дрёма,
Я буду слушать мелкий дождь,
Сквозь сон перебирать знакомых.

Ну и подумаю ещё
О времени, о перемене,
О том, что очень хорошо
Напротив нас цветут сирени.

* * *

За большаком, дождем размытым,
Когда взлетают журавли,
Повеет древним и забытым
От увядающей земли.

За лесом – лес, за полем – поле.
И на пригорках так светла
Печаль последних колоколен,
Где сняты все колокола.

Здесь жизнь заламывалась круто.
Не потому ли в тишине
Былых времен вражда и смута
Больней откликнется во мне?

В угрюмости ожесточенья
При свете сумеречных дней
Легко ль давалось отречение
Земле мятущейся моей?

То в православье, то в расколе
Всё та же Русь. И за холмом
Всё тот же лес, за лесом – поле
И новый бог за божеством.

Но с верой в призрачное счастье,
Отодвигая забытьё,
Мне разделять её пространства,
Любовь и ненависть её.

Мне вникнуть в истины простые
И вдруг понять без ворожбы:
Судьба моя – в судьбе России,
А без России – нет судьбы.

Фенькина дочь

Травы на окраине пожухли,
Солнцем обескровлены кусты.
Только в палисадниках, как угли,
Тлеют августовские цветы.

Ждут они, что поминая лето,
Раскачав округлые бока,
В улицы, ослепшие от света,
Дождиком прольются облака.

Ну а ты, вся соком налитая,
В веере юбочки до колен,
Проплываешь мимо, молодая,
И бодает грудь твоя тугая
Кофточки невыносимый плен.

Ты идешь горда, как знаменитость,
Вдоль порядка улочки кривой.
Бабы потемнели у калиток,
На тебя кивают головой:

– Фенькина-то, ишь перетянулась.
Гонится за модой... Горяча...
Им твоя торжественная юность
Не даёт покоя по ночам.



Не дает. И в комнатах не спится.
И хоть снова на исходе дня
Девочками в платицах из ситца
На свиданья выходить к парням.

Мокнуть в росах, вслушиваться в шорох,
Бестолково плечи пеленать...
А краса сгорела, будто порох –
Погубила красоту война.

Стали они бабами дебелими
С завистью недоброй до обнов.
Жизнь такая – из огня да в полымя,
С мимолетной лаской женихов.

Чтоб потом до судороги в теле,
До глухой, оступчивой тоски –
Плакать на поруганных постелях
До крови кусая кулаки.

Убиваться по былой гордыне,
Проклинать беспамятство и ночь...

Ничего-то ты не знаешь ныне,
Фенькина балованная дочь.

Арбузный мёд

Как радостно бывало в той поре,
Когда с повозки, сено отрясая,
Арбузы выгружали во дворе
Под стену глинобитного сарая.

Их нянчили, любуясь, на руках,
Выстраивали длинной вереницей.



Одним лежать в прохладных погребах,
Другим – на мёд в котлах перевариться.

В дымах текучих кутались сады,
И в честь удачной в том году уборки
Арбузные душистые меды
До покрова вскипали на задворках.

У каждого был собственный запал
И способ свой,
Когда чужой не знали.
Никто по весу мёд не исчислял,
Его привычно вёдрами считали.

А в зимний день,
В морозный зимний день
Тот мёд вносили с холода на блюде,
И сразу лето наполняло всклень
Всю комнату. Легко и задохнуться.

Звенели пчёлы, зыбилась листва,
И на цветах покачивались тени.
Кудлатого июля голова
Через порог заглядывала в сени.

Но нынче редко езжу я в село.
Дела, дела...
От них не устранишься.
Вот если бы в Москву – куда ни шло.
Ну где селу тягаться со столицей!

Затерянный в пространстве бытия,
Забыл я шорох сельских бездорожий.
И, кажется, что бегал здесь не я,
Другой мальчишка, на меня похожий.



Я на него смотрю издалека,
Ему теперь, наверно, лет тринадцать.
Он мастерит свистки из ивняка,
Чтоб вдоволь в огороде насвистаться.

Свищи, свищи, мой мальчик!
Будет час –
И ты об этом свисте заполошном
Завистливо припомнишь, и не раз,
Да в детство возвратиться невозможно.

И вспомнишь мёд,
Арбузный сладкий мёд,
Который позабыт давно на свете...
С утра хлопочет осень у ворот,
Дождь моросит, и листья треплет ветер.

Но вот гремит в проулке самосвал.
«Дядь Ваня? Точно. Неужели мимо?
Нет, нет, в селе, как видно, побывал».
О, как сигналил он неукротимо.

– Бери гостинцы. Думал, заперт дом,
Он дверцей хлопнет,
Заберётся в кузов.
Подаст мешок капусты, а потом
Опять нагнётся. «Может быть, арбузы?»

И вдруг такую тыкву достаёт
И валит на борт, и глаза смеются:
– Бери, бери, а то неровен год,
Добро ещё, что тыквы достаются.

Ну, я поехал. В гости заходи... –
И я тащу подарки за ворота,
А смех не унимается в груди.
Смотри, какую тыкву заработал!

Есть скрытый смысл
В житейских мелочах,
И, сколько б ни представился он вздорным,
Не отмахнись, друг милый, вгорячах, –
Взойдут его напористые зёрна.

Они напомнят, что в такой-то год
Ты был унижен непреодолимо
И будто бы посватался к любимой,
А получил от дома поворот.

Один сажу на кухне.
На столе
Передо мной подарок сельский – тыква.
Как символ вечной верности земле,
А от земли душа уже отвыкла.

Я медленно утрачиваю связь
С обычаями родичей далеких.
Жизнь новая в душе не привилась,
И не питают прежние истоки.

Сажу, курю, пускаю в фортку дым,
И мёд арбузный вспоминаю всуе.
Но ведь меня не мёд интересует,
А всё, когда-то связанное с ним.

* * *

Я понимаю, что напрасно жду.
Ты не придешь.
Окно моё раскрыто,
И листья мерно шелестят в саду,
Где тень твоя деревьями забыта.

Там звук твоих садов давно угас,
И платье,



Как удача, отмелькало.
Ну что теперь соединяет нас
И что нас вообще соединяло?

Опять июнь взошёл на край земли,
И звёздный свет сады в округе теплит.
Мохнатые пионы, как шмели,
Раскачиваются на тонких стеблях.

Я славлю лето.
Мне ль расстаться с ним?
Оно не раз склонялось к изголовью.
Я связан с ним рождением своим,
Улыбками твоими и любовью.

Прощай, моя хорошая, прощай!
Прости, что так нескладно песня спета,
Что, может, мне достался невзначай
Хмель твоего пригубленного лета.

У каждого из нас – судьба своя
И звёзд своих высокое свечение,
И нам на перекрёстках бытия
Не изменить уже предназначения.

Окно закрою.
Выйду в сад пустой.
Какие ночи выдались бессонные!
Я выбросил монетки телефонные,
Чтоб не набрать случайно номер твой.

* * *

На всё в России есть резон
И повод свой для песнопений:
То пятилетка похорон,
То пятилетка потрясений.

Вот так мы планово живём.
А если, в сущности, признаться,
То мы – не мы, наш дом – не дом,
Вся жизнь – поток галлюцинаций.

Сплошь – ожидание вестей,
Надежд, отчаянья и смуты.
И лики новые вождей
На гвозди старые приткнуты.

Затерянный в своей стране,
И я надеюсь на удачу,
На ясный день, на свет в окне.
О, Господи! А как иначе...

1996 г.

Мне снился храм

Мне снился храм. И я был в храме том.
И, кажется, там шло богослуженье.
Пел женский хор о счастья земном,
В которое нам верится с рожденья.
Хотелось плакать. Трепетной душе
Легко так было скорби предаваться
О всём невосполнимом, что уже
В судьбе моей не может состояться.
Была как будто женщина со мной,
Её мольбе и помыслам я верил,
Как верят только матери родной,
С которой делят радость и потери.
Скорей всего она и привела
Меня на это всенощное бденье,
Чтоб приобщиться к Господу смогла
Душа моя, лишённая прозренья.
И вдруг невнятный гул донёсся к нам,



Он глухо нарастал и приближался,
Рождая страх, что рухнет этот храм,
В котором я от скверны очищался.
Мы выбрались наружу. Под холмом
В потёмках с содроганьем наблюдали,
Как лопнул купол, полыхнув огнём,
А с ним и стены храма задрожали.
Зигзаги трещин пронизали их,
Выбрасывая пламя языками,
В одно мгновенье погребя живых
Под непомерно тяжкими камнями.
Я оглянулся – никого со мной.
Лишь холм полынный,
опалённый солнцем,
И боль утраты о душе родной,
О храме и погибших богомольцах.
К чему бы это, – думал, пробудясь, –
В стране лихого воровства и срама
Какая у меня сегодня связь
С невыясненной женщиной и храмом?
И обращён ко мне ли одному
Зловещий тайный смысл
предупрежденья,
Неслышного, быть может, никому
Из моего ночного наважденья?

2009 г.

Мама неукротимая

Когда немцы во второй раз взяли Ростов, мама поняла, что медлить больше нельзя, потому что, возможно, через неделю-другую они будут в Минводах, и тогда уже никуда не уедешь.

Эвакуация не была объявлена, и людей ссаживали с поездов, если у них не было официальных разрешений на проезд. И тогда мама решилась на преступление. Она выправила себе «командировку» в Среднюю Азию, точнее во Фрунзе /тогдашнюю столицу Киргизии/, где был прописан её подзащитный уголовник. Срок заключения его истёк, и он, освободившись, уехал. Но в «спецхране» осталось его имущество: несколько серебряных полтинников, офицерский ремень и ещё кой-какое барахло. Так вот, маме якобы предписывалось вернуть отсидевшему своё зеку его вещи. Что и говорить – «филькина грамота». Но на бумажке стояла настоящая гербовая печать!..

Жили мы тогда в симпатичном собственном домике, уют-



**СТАНИСЛАВ
ПОДОЛЬСКИЙ**

Проза





нувшем в глубине обширного сада. От ворот к дому вела мощёная тополевая аллея.

Мама моментально за сущий бесценнок продала дом. Собрала необходимые вещички и продукты, и мы уехали: мама, папа /больной открытой формой туберкулёза/, мой старший братишка, отъявленный хулиган десяти лет от роду, и я, древнерусский еврей кавказской национальности в возрасте одного года и двух месяцев. Ну, возможно, прицепилась к нам мамина сестра, тётя Шура, с двумя дочурками /а сын её Сюня в то время находился на фронте, где и погиб вскоре/. Впрочем, наверное, они присоединились к нам уже во Фрунзе. Точно не помню. Но как бы они тогда выбрались с Кавминвод?

Короче, мама достала легальные билеты на поезд до Баку у знакомой билетёрши, которую она прежде защищала в суде от ложного обвинения в растрате государственных средств и даже выиграла тот процесс.

Кстати, забыл сказать, что мама работала адвокатом, была довольно известна в городе. Правда, сотрудники из коллегии адвокатов всегда старались навязать ей уголовные дела, а гражданские приберегали для себя, потому что на уголовке невозможно было заработать приличный гонорар – не то что на денежных гражданских исках. Но мама умудрялась выигрывать казалось бы безнадежные дела. Один её коллега, старый и очень принципиальный инвалид войны по фамилии Майзель /потом уже, после войны, когда я повзрослел и мог кое-что понять/ объяснил мне, что в условиях беззакония и правового беспредела адвокаты-законники, знатоки Кодекса, частенько проигрывали дела. Мама же моя, крошечная и внешне беззащитная блондинка, обладала несокрушимым характером римского легионера. Она просто не признавала двух слов /по-

нятий/: «сдаюсь» и «отступление», была находчивой и неотступной, поэтому выигрывала, казалось бы, безнадежные дела.

Позволю себе небольшое отступление от основной канвы повествования, чтобы ярче прорисовать характер моей мамы.

Однажды клиента мамы, главбуха строительной организации, за крупную растрату народный суд первой инстанции приговорил к «высшей мере» /расстрелу/. В те годы «высшую меру» можно было схлопотать в два счёта. В краевом суде приговор утвердили. Мама подала кассационную жалобу в Верховный суд и сама поехала в Москву.

Знакомясь с материалами дела в Верховном суде, она обнаружила вдруг в обвинительном заключении маленькую опечатку: вместо истинной суммы растраты, скажем, 100000 рублей там стояло 10000 рублей, то есть один ноль потерялся. На этой ошибке мама построила свою защитительную речь. С пафосом обвинила она местный суд в чрезмерной жестокости приговора, а краевой суд – в «механическом утверждении» решений суда первой инстанции. Она гремела о «безупречной служебной характеристике» подсудимого, который «единственный раз оступился», уступив требованиям руководства предприятия, истинным виновникам, которые, конечно же, остались «в тени».

Верховный суд согласился с доводами защиты и, основываясь на несоответствии тяжести преступления избранной мере наказания, отменил решение народного суда первой инстанции, заменив «высшую меру» на срок – пять лет заключения в лагере общего режима...

Конечно же, кроме маминой находчивости, в решении Верховного суда сработали и другие причины. Судья высшей инстанции, пожилой, насмерть



перепуганный интеллигент, давно искал возможность приструнить провинциальных судей, которые вконец освирепели ещё в 37 году и повсюду чинили правовой беспредел, хотя на дворе стоял давно уже 1939 год. Но ему необходимы были твёрдые основания для смелого поступка. Мама своим выступлением дала ему возможность придержать «карающий меч правосудия». Ну, а местный и краевой суды не решились оспаривать удивительное решение Верховного суда. Мама праздновала победу!..

Итак, когда немцы захватили Минводы, и никто уже не смог вырваться в эвакуацию, и 10000 наших соотечественников, собранных со всех Кавминвод, были расстреляны у стекольного завода – на окраине тех самых Минвод, наша семья с приключениями, но добралась до дагестанской Махачкалы.

В Махачкале нас всё-таки сняли с поезда и привели в железнодорожную милицию для разбирательства, так как «командировочное удостоверение» мамино выглядело весьма подозрительно. Разумеется, все напугались и приуныли: папа, братишка, тётя Шура и её хорошенькие дочки, – все, кроме мамы и меня /ну, я-то, конечно, просто ничего не соображал – по молодости/.

Два-три милиционера с суровыми кавказскими лицами вели процессию подозрительных лиц, снятых с поезда, в помещение милиции. Кстати, почему-то железнодорожных милиционеров в ту пору называли в народе жандармами. Кто-то из арестованных рыдал, кто-то голосил. А вот мама решительно потребовала встречи с начальником милиции, предъявив конвоирам свое адвокатское удостоверение.

Рассерженный начальник желдор. милиции /а он как раз расположился в своём кабинете закусить под водочку/ грозно вышел к строптивой «преступнице-пассажирке». Но когда мама подняла взгляд на него, готовая произнести пламенную тираду о бедствиях народных, она слегка опешила, но в следующее мгновение расцвела радостной улыбкой и с раскрытыми объятиями направилась к грозному стражу закона: «Магомед, дорогой! Какими судьбами?!»

Оказывается, Магомед Гаджи Магомедов года два тому назад служил в уголовном розыске Кисловодска и частенько общался с мамой по поводу её подзащитных грабителей, аферистов, воришек...

Стоит ли говорить, что через пару часов с помощью Магомеда вся наша беженская компания была водворена в ближайший поезд, следующий в Баку.

Поезд тащился страшно медленно. В вагоне было душно, несмотря на открытые окна: люди, как селёдки в бочке, стояли, сидели, дремали на третьих полках, часто поверх багажа.

Зато вскоре мы увидели море! Оно тянулось, как мираж, вдоль железной дороги, почему-то желтовато-серое, а не синее, как в сказках. И, так как поезд часто останавливался и часами стоял, смелые и шустрые мужчины и пацаны успевали добежать до моря, поплескаться, окунуться, освежиться.

На станциях по пути было пусто. Продуктов не было. Зато был иногда кипяток. Брат бегал с большим алюминиевым чайником за кипятком. И потом мы с удовольствием пили чай. Иногда чай заваривали придорожной травкой, другой раз калмыцким чаем. Прессованные чайные брикеты рубили столовым ножиком, бросали в кипяток, настаивали, добавляли какого-нибудь жира, подсаливали и хле-



бали ложками, как суп, закусывая сухарями: вкусно, сытно, питательно...

В Баку никто особенно не разбирался с беженцами. Нас поспешно погрузили на огромную пузатую баржу: пароходов наотрез не хватало. Баржу тросом привязали к буксиру, и мы вышли в открытое море курсом на Краснодарск, на ту сторону Каспия.

В море сильно штормило. Баржа была перегружена беженцами, двигалась, переваливаясь с борта на борт. Вообще-то «движение вперёд» было почти незаметно и всё состояло из кренов, взлетаний и колебаний. Разумеется, никаких кают на барже не было, Люди расположились вповалку на палубе под жгучим солнцем. Жутко хотелось пить, а воды не хватало. Некоторых тошнило из-за сильной качки. Потом шторм на море усилился. С визгливым звуком разорвался трос, связывавший баржу с буксиром. Снова закрепить трос не удавалось, и катер ушёл. Четверо суток баржу швыряло по волнам, пока шторм утих, и снова появился буксир, к которому удалось прицепиться.

После рассказывали двоюродные сестрички, что многие дети, да и взрослые, умирали то ли от жажды, то ли от инфекции: дизентерия, тиф...

Мне-то было удобно на руках у отца, который время от времени скромно кашлял кровью в большой клетчатый платок. Мама давала мне попить из армейской фляжки теплой неприятной воды. Так что плавание я воспринимал как громадные бесконечные качели...

В Краснодарске железнодорожная станция напоминала огромный цыганский табор. Люди сидели гнёздами – кто на каких-то тряпках, кто прямо на сухой пыльной земле. Пекло было ужасное. По-прежнему не хватало воды: её привозили к вечеру в

бочках на конской или верблюжьей тяге, она была почти горячая и солоноватая на вкус.

Железнодорожных составов, конечно же, не хватало. Изредка уходили поезда, переполненные счастливыми. Люди висели на подножках, гнездились на крышах вагонов. Нашей компании «дохляков» уехать явно не светило. Оставалось погибать на железнодорожных путях без воды, без пищи, без денег: сумма, полученная за родной дом, таяла на глазах...

Тогда мама кое-как поправила причёску, мазнула алой помадой по губам и решительно направилась на железнодорожную станцию. Там она разыскала кабинет железнодорожного прокурора и, невзирая на пронзительный протест секретарши, ворвалась в начальственный кабинет:

– Уважаемый товарищ прокурор! Мы с вами коллеги: я юрист, и не могу мириться с беспределом, который творится на станции. Воды, даже солёной и вонючей, не хватает. Пищи не достать. Буфет вечно закрыт. Уехать невозможно: мест нет, билетов нет, поездов не хватает. Люди болеют и мрут на глазах. Надо же что-то делать! Наводить советский порядок. Где ваша гражданская и партийная совесть?!..

Заявления мамы были простые, справедливые и очевидные. Но следует учесть яростный адвокатский пафос, интонацию твёрдой советской убеждённости в своей правоте и, самое главное, в арсенале мамы было острое «сверхоружие», которое применялось /возможно, интуитивно/ в крайних, гибельных случаях, – совершенно невыносимый для слушателя тембр голоса, который, независимо от содержания речи, просто сводил окружающих с ума...

Через три минуты адвокатской речи несчастный чиновник с выпученными страдальчески гла-



зами истерично вызвал начальника станции и дежурный наряд милиции:

– Пойдите немедленно с этой бабой! Разберитесь! И отправьте её со всем её выводком первым же поездом! Любой ценой! Чтобы я её больше не видел! И не слышал!..

Таким образом, вскоре мы уезжали всем семейством из гостеприимного Красноводска на тормозной площадке товарняка. И горячий ветер полупустыни трепал наши давно не мытые волосы и обжигал наши счастливые лица! Перед нами открывалась безграничная загадочная Средняя Азия: Ашхабад – Бухара – Самарканд – Ташкент – Фрунзе... Удержаться в этом бесконечном бегстве-странствии не удавалось: не было ни жилья, ни работы, ни денег, ни какой-то разумной программы помощи беженцам: «спасение утопающих – дело рук самих утопающих»!..

Ненадолго задержались в Ташкенте.

Некий зажиточный милосердный узбек пустил нашу семью за умеренную плату отдышаться от бесконечного бегства в проходной комнатке /фактически в коридоре/ своего глинобитного, но обширного дома.

К тому времени мы почти голодали: приходилось яростно экономить тающие в среднеазиатской жаре деньги.

Мама исхудала и казалась чуть ли не подростком со своей пышной гривой натуральной блондинки /наследство бабушки-польки/. Двоюродные сестры напоминали тихие тени, не говоря об их матери, тёте Шуре; она и в мирное, относительно благополучное время была как скелетик – со своей вечно извиняющейся доброй улыбкой. Только папе азиатская жара пошла, вроде бы, на пользу: он стал

меньше кашлять, и в мокроте у него стало меньше крови. Да и то сказать, он всячески сдерживался, чтобы не напугать осторожного хозяина: узнай тот о его туберкулёзе – мигом вышвырнул бы нас на улицу...

Вспоминается один довольно-таки забавный эпизод нашего ташкентского житья-бытья.

Бдительная мама наша заметила, что каждый вечер, возвращаясь с работы, наш хозяин /а работал он зав.складом продовольственных товаров в гор. прод.торге/ обязательно приносил ящик-другой чего-то увесистого, предположительно – продуктов, и у мамы возник вполне криминальный замысел, который она тщательно разработала и осуществила.

Дело в том, что вышеупомянутые ящики аккуратно заносились в отдельную комнату без окон, грубо говоря, кладовку, дверь в которую была всегда под замком. Но замок-то был плёвый, обыкновенная «контролька».

И вот, как-то, в отсутствие хозяина /а домохозяицы его как раз почивали в полдень во внутренних покоях: своего рода «сиеста»/, мама обыкновенной шпилькой от волос отомкнула «контрольку» и проникла в «святая святых» нашего кладовщика. Включила свет – и обмерла: на прочных стеллажах вдоль стен до потолка громоздились настоящие сокровища нового Алла-эд-дина: штабеля изысканных консервов – икра черная и красная, шпроты, печень трески; головки и диски сыров; палки колбас – сыро- и горячепоченные, бревна светлых и смуглых балыков; полотняные торбы крепкого, чуть голубоватого рафинада, пакеты кофе в зернах, издающие африканский головокружительный аромат... От всего этого богатства можно было спянуть,



а от могучих запахов – просто-напросто потерять голодное сознание...

Надо ли говорить, что мама наша – отъявленная законница, идейно закалённая праведница, не мешкая наполнила предусмотрительно захваченную с собой наволочку изысканными гастрономическими драгоценностями – теми, что полегче и подороже /кажется, опыт довоенного длительного общения с подзащитными уголовниками не прошёл даром!/, аккуратно защёлкнула «контрольку» на дверях, предусмотрительно вложив целенькую бумажку в замок. Осторожно вынесла краденое из дому: робкая тётя Шура или кристально честный папа никогда не решились бы на такое!

Наволочку с кладом на улице уже перехватила тётя Шура: она как раз таки была более опытная в деле торговли. Она продала награбленное на баснословном ташкентском рынке /государство в государстве!/за хорошую цену и на вырученные деньги накупила уйму обыкновенных спасительных продуктов: муку, крупы, картофель, постное масло, даже немного фруктов, которые были здесь в начале урожайной осени довольно дешёвы... Короче, в результате этой дерзкой маминой операции мы прожили экономно, но безбедно целый месяц, отъелись, восстановили силы и были готовы к дальнейшим странствиям в безграничных просторах Средней Азии.

К слову сказать, честной кладовщик даже не заметил пропажи продуктов: слишком обширные были у него запасы «на чёрный день» – как пополнялись, так и уплывали время от времени частью на чёрный рынок, частью на неизбежные подарки начальству и разным «полезным» людям. Служба на таком хлебном месте тоже, скажу вам, не подарок, чревата опасностями и драматическими пережива-

ниями. Опять-таки голодные и сытые воры так и выются вокруг таинственных умопомрачительных складов... Но это его, добродетельного кладовщика, проблемы...

А наш маленький клан, с трудом раздобыв дефицитные билеты на почтовый поезд, уже мчался в столицу советской Киргизии, славный град Фрунзе, куда и была выписана не совсем убедительная мамина «командировка», не раз спасавшая нас от излишних злключений, ибо сказано в великой канцелярской империи: «Без бумажки ты дурашка, а с бумажкой – человек!»

И вот мы во Фрунзе!

Столица братской республики встретила нас не слишком приветливо. С утра до ночи ходили мы по пыльным улицам, стучались в запертые двери, пытаюсь снять комнатку для проживания и ночлега, – свободных не было. Город, как и вся Средняя Азия, был переполнен беженцами из оккупированных районов страны. Иногда возникала призрачная надежда, но плата за наём помещения была заоблачная, не по нашему тощему карману: к тому времени мы уже весь родной дом проели и прокатали. Так что мерещилась скорая гибель от голода и бесприюта.

Взрослые искали работу. Работа была, но только для имеющих прописку. Прописка была возможна только для имеющих работу. – Родной советский идиотизм. А возможно, в этих правилах был скрыт глубокий замысел: нечего дескать, праздному народу шастать по стране!..

Ночевали в сквере у вокзала. Много таких там было, поэтому милиция пугала, но не разгоняла народ. Питались впроголодь, чем придется. В этих



условиях неожиданно добычливым оказался мой старший братишка – дерзкий, находчивый, агрессивный. Он как-то моментально спелся с местными пацанами. А они жили интересно и разнообразно. Например, если по дороге проезжала полуторка с картошкой или свеклой, мальчишки на ходу карабкались в кузов и старались выбросить на дорогу побольше овощей. Потом сообща собирали добычу и честно делили между собой.

Иногда подростки играли на деньги в «цок» или в «перевёртыши» /когда битой надо было ударять по монетке, чтобы она перевернулась: если удавалось – ты выиграл/. Мой брат обычно выигрывал и «доходом» делился с семьёй. На хлеб и молоко хватало. Но эти копейки, конечно, не решали проблемы жизни и смерти. Спасла, как обычно, счастливая случайность...

Мама, усталая, огорчённая, брела как-то по пыльной «столичной» улице и вдруг заметила плачущего замурзанного малыша на обочине у арыка. Ребёнок вполне мог свалиться в воду. Мама присела к малышу, вытерла платочком ему сопли и слёзы, пересадила подальше от арыка.

В это время мимо прошествовали две прилично одетые дамы, не обратив внимания на плачущего ребёнка: они были заняты оживлённым разговором. Мама, как сказано, постаралась утешить малыша. Потом подняла свою светленькую головку и отчётливо бросила вслед уходящим дамам /причём с ещё одной своей особой интонацией, которая – я это сам видел потом, уже в мирное время, – заставляла публику в зале суда, где мама выступала в чью-то защиту, сморкаться и рыдать/: «Бессердечные! Ребёнок потерялся, плачет. А им и дела нет!» И снова занялась малышом.

В это время одна из дам, видимо, расслышав упрёк, возвратилась, подошла к присевшей к ребёнку маме:

– Извините, конечно. Вы совершенно правы: мы были невнимательны. А вы, видимо, очень добрый человек. И я хотела бы с вами поговорить.

– Простите, но мне совершенно некогда. Мы беженцы. Моя семья не имеет крыши над головой. И я не знаю, где мы сегодня будем ночевать. К тому же работы нет. И средства на исходе...

– Вот об этом я и собираюсь с вами поговорить. Дело в том, что я жена крупного военачальника, и меня вызывает муж к себе. Он ранен, находится в госпитале. И я должна срочно к нему уехать. А мой сын учится здесь в институте. Ему осталось учиться месяц до госэкзаменов, и я не хочу срывать его с места. Может быть, вы, добрая и внимательная женщина, присмотрите за ним: оставлять ребёнка одного, хоть он и взрослый мальчик, мне не хочется. А я взамен постараюсь помочь вам с жильём и пропиской: у меня есть такая возможность...

В это время прибежала плачущая женщина, мать ребёнка. Она схватила малыша на руки и растерянно лепетала что-то по-киргизски. Потом перешла на ломаный русский:

– Простите дуру! Спасибо, что присмотрели за маленьким, не дали ему свалиться в арык. Я бы умерла, если бы он утонул! – был смысл её слов.

– Ничего-ничего, – успокоила её мама. – Будете впредь повнимательней.

Встала с корточек, отряхнула юбочку. И пошла с озабоченной дамой к ней домой.

Жила дама в доме эвакуированных семей высшего комсостава. Дом выглядел очень прилично и даже охранялся постовым красноармейцем, чтобы случайные посетители не беспокоили жильцов. Для



такого рода эвакуированных были предусмотрены льготы: жильё, работа, пайки. Кроме того мужья присылали им достаточно средств для безбедного существования.

И вот каким-то чудом мы оказались в таком доме, в светлой двухкомнатной квартире с балконом, кухней, с тёплым туалетом и даже ванной!

Дама сдержала обещание: маму прописали на её жилплощади. Вскоре она устроилась на работу в местную коллегия адвокатов, и жизнь наша резко улучшилась. Дел гражданских и уголовных было невпроворот. Гонорары были приличные. К тому же местные «баи», обращаясь за содействием к адвокату, непременно приносили с собой корзины снеди и фруктов. А там и папа нашёл работу бухгалтером на хлебозаводе и, возвращаясь после рабочего дня, приносил в портфеле незабываемые ароматные «французские булки», неповторимый вкус которых я помню по сей день. Я ходил в детский сад, мой братишка изредка посещал школу /предпочитал носиться с местными «хулиганами» по улицам и скверам/.

К тому же мама, теперь уже влиятельная адвокатесса, помогла устроиться тёте Шуре с девочками, а там вызвала к себе ещё двух родных своих сестёр и родственниц второго и третьего порядка. И, хотя бедные женщины со своими детишками пережили много горького и страшного, чудом избежали холокоста, теперь они собрались вместе, выжили, зажили не сладко, но по-человечески...

Может быть, потом когда-нибудь, при случае, я расскажу о нескольких судебных процессах, которые провела моя мама в столице советской Киргизии: она рассказала мне как-то на досуге. Весьма примечательные и яркие дела, в которых отразилось и время, и характеры участников, и личность

адвоката, моей неукротимой мамы. Но это потом, когда-нибудь, если удастся...

А теперь скажу в заключение этого краткого повествования из времени эвакуации: как только стало известно, что наши освободили от немцев Северный Кавказ, мы всей семьёй срочно оставили гостеприимный Фрунзе и возвратились в родной Кисловодск, который, надо сказать, встретил нас недружелюбно.

С трудом нашлась комнатка в коммуналке. Помню, спали мы на полу, дожелта выскобленном и вымытом, так как никакой мебели у нас ещё не было. И когда мы с папой вставали утром с тощих матрасиков, то простынки были в каплях крови от раздавленных в полусне клопов...

Позже, со временем раздобыли всё же двухкомнатную квартиру в старом фонде, тесную, с печным отоплением, зато с просторной воздушной верандой...

Была возможность вернуть наш собственный дом с садом: вышло такое постановление, что если жильё в период эвакуации было продано за бесценок, то его можно вернуть за ту же цену. Но мама решительно сказала: «Ничего возвращать не будем: те гроши нам жизнь спасли»...

На этом, пожалуй, можно поставить точку, завершить этот кусок неожиданных для меня самого воспоминаний об эвакуации во главе с моей мамой неукротимой.

Чистая душа

Всё последнее время жизни Михаил Васильевич Усов предпочитал писать о птицах, о малых и тонких событиях большой природы – для детей.

Да он и сам был похож на птицу: большеголовый, весь собранный в тёплый комочек то ли пе-



рьев, то ли тёмно-синей, слегка военизированной курточки. Остренький нос /а хотелось сказать – клювик/ торчит вперёд как-то, но не угрожающе, а скорее любопытно. Но самое главное – быстрый взгляд круглых, очень широко поставленных глаз: метнёт в тебя этот точный и как бы мимолётный взгляд – и снова уставится в рукопись, которую скорее не пишет, а как бы рассматривает, отрывисто рассказывая своё, любопытное, к слову вспомненное. И снова взглянет – быстро, метко. И оглянется по сторонам – ну, чисто синица на ветке или особенно любимый им степной кеклик.

Познакомился я с Мих.Вас., как его сокращённо называли за глаза некоторые коллеги-писатели, по печальной необходимости. Он был уже в весьма солидном возрасте, не слишком здоров: сердце шалило. А тут ему путёвку дали от литфонда в Дом творчества «Коктебель» /восточный Крым/. Требовался некоторый дружеский присмотр. Вот и мне – не состоявшему в Союзе писателей литератору – отвалили путёвку в Коктебель /разумеется за полную стоимость/, чтобы не был Мих.Вас. уж совсем одинок на творческом отдыхе.

Приехали мы в Крым разными поездами, а там встретились, познакомились, стали иногда общаться, преимущественно за тарелкой супа или стаканом чая. Иногда по пути в столовую или обратно возникала беседа: обычно я слушал, а он вспоминал что-то из привычно-необычной своей жизни.

Конечно, показал я Мих.Васу кое-что из моих писаний. И он подарил мне свою книжечку о птицах.

Спросишь бывало: «Михаил Васильевич, ну, как Вам мой рассказ?» – Помолчит, метнёт остренький недоверчивый взгляд мне в глаза и сдержанно заметит:

– Можешь... Только вот все эти новомодные преувеличения ни к чему. Ну, что это за шея у твоей героини – «двухметровая»?! Ты только представь воочию...»

– Мих.Вас., так это же образ, гипербола.

– При чём тут «образ»? Просто – жирафа!

– Мих.Вас., а как Вам такой-то поэт? – Спрашиваю об общем знакомом, весьма известном и многотиражном лит. чиновнике.

– Ну, какой он «поэт»?! Штукарь. Ловкач. Таланта нет, зато проныра великий. Нет, не может...

Но главное, самое интересное, случилось, когда соскакивал некий крючочек привычной замкнутости и струился у Мих.Васа тонкий ручеек воспоминаний – то ли в ответ на мой вопрос, то ли просто к слову...

– Мы-то начинали в проголодное время: портки, рубашонка. Кто в кирзовых сапогах, кто в галошах – на портянки. На обед – баланда мучная. На сладкое – макуха. Но горели верой в будущее, в правду да справедливость. Иной раз шли на рожон. Обличали... Ну и нас, конечно, подкарауливали, отстреливали... – Кашлянет и снова замкнётся. А потом, в другое время, снова заговорит тихим таким голосом:

– В комсомол вступать тогда опасно было. Потому и вступали – лучшие, наперекор – как в новую веру. А из комсомола прямая дорога в партию – тем, кто выжил. Работал юнкором. Заметки в районку, в «Терек», «Комсомолец», «Советский пахарь». Печатали охотно, потому что всё из жизни, всё правда. Не сразу всё получалось, но учились на ходу, как говорится.

А тут война. Пошёл добровольцем: а как же иначе. Посмотрели – газетчик. Поставили политруком роты противотанковых ружей. О войне похода



не расскажешь – писать надо бы. Да уж и есть на эту тему сильные писатели: Василь Быков, Виктор Некрасов, Константин Воробьёв, Виктор Астафьев вот...

Самое главное – на войне было хоть и страшное, и всякое-разное, но искреннее: когда кровь и гибель на каждом шагу, не покривляешься, особенно на передовой. Закончил войну редактором фронтовой газеты «За советскую родину»... После войны всё как-то усложнилось... – и взгляд в мою сторону: слушаю ли, могу ли понять, всерьёз ли спрашиваю?

– Помнится, был я одно время редактором кисловодской городской газеты «Советская здравница». А тут начались аресты в городе. Известно – по разнарядке: надо столько-то «врагов народа» разоблачить. Многих перехватывали. Да я и сам чемоданчик с самым необходимым наготове держал: чем чёрт не шутит.. Но бог миловал.

И вот партактив городской. Обсуждают одного товарища, точнее «клеймят».

Я его ещё с войны знал: вместе служили одно время. Чистейший человек. А тут выступает секретарь горкома – прямо обвиняет его в мыслимых и немыслимых прегрешениях. И пошли один за другим клевать его ораторы. Единодушно топят. Вижу – пропал человек.

Дошла до меня очередь выступать: редактор городской газеты не может отмолчаться. Ну я и говорю: знаю, мол, такого-то ещё с фронтовых времён как честного инициативного партийца. Не думаю, что он изменился с тех пор. Считаю, несправедливо навешали на него страшные обвинения. Надо глубже разобраться...

В зале гробовое молчание. Товарищ мой, уничтоженный было, как-то очнулся, вижу, голову поникшую приподнял. А тут встаёт в президиуме со-

брания секретарь горкома и за меня взялся: мол, надо прежде всего разобраться, что за личность этот Усов, идущий против линии партии...

Мне плохо стало: вижу – крышка. Но не могу честного человека чернить – со стаей. Знаю уже, что мне конец, что семья может пострадать, а не могу...

Конечно, после того партактива меня с работы уволили, исключили из партии. Дело движется к гибели – как ни крути. Другой работы не найти. Все от меня шарахаются. Живу – со дня на день жду ареста... Знаешь, такое настроение – жить не хочется.

Мих.Вас. сокрушённо махнул рукой, вновь переживая те мрачные дни. Помолчал, уставившись тёмными точками глаз куда-то туда – сквозь туман сгустившегося времени. Мельком взглянул на меня: здесь ли я ещё, слушаю ли? Вздохнул:

– Ну а тут ветер переменялся. Или новая волна арестов пошла: сажали тех, кто прежде других сажал. Вся горкомовская бражка была арестована: теперь они оказались «троцкистами и врагами народа». Правда, тот человек, за которого я заступился, так и пропал. Скорее всего, его расстреляли: тогда это быстро происходило. Но с меня обвинения сняли. Вызвали в крайком, похвалили, что я «не отступил, смело выступил против шайки антипартийной, не испачкал совести фронтовика». Предложили даже возглавить любую газету края – вплоть до «Ставрополки». Но я уже отгорел. Многое понял. Был слишком потрясён происшедшим. Отказался от почётной должности. Попросил направить меня на педагогическую работу: не было сил взваливать на себя новую громадную ответственность. Тогда-то меня и назначили директором школы в Кисловодске. И, можно сказать, мне удалось наладить это дело: школа номер один действительно многие годы была первой в городе.



Что тут скажешь, люблю ребяташек: они чистые, искренние, живые...

Ещё раз приезжали мы с Мих.Васом в «Коктебель». По-видимому, его знали там, наверху, в руководстве Союза писателей: всегда доставался ему номер в элитном корпусе на первой этаже. Прямо над ним располагался номер знаменитой в своё время поэтессы-фронтовички Юлии Друниной.

Между прочим замечу: у знаменитых членов СП в «Коктебеле» были, как правило, постоянные излюбленные номера. Если «барин» где-то замешкался, не приехал в срок, номер стоял пустой – пусть остальным литераторам, «чёрной кости», мест вовсе не находилось. По этому поводу вспоминается забавный случай. Какой-то «Член Союза» возжелал занять пустующий номер, предназначенный Юлии Друниной. Он орал, брызгал слюной: «Я тоже писатель! Почему я должен жить в теневой комнате без балкона вдали от моря, если этот солнечный воздушный номер стоит пустой!?» «Бунтарю» предложили убираться вовсе, если он не желает разместиться в отдельном номере первого этажа с теневой стороны корпуса: ведь «дом творчества» осаждают толпы писателей, вовсе не имеющих путевок на этот поток...

Однажды Мих.Вас. не явился на обед. Я подождал немного: мало ли чего, идёт старик потихоньку или выбрался на приморский бульвар полюбоваться расцветшим миндалём либо лебедями. В тот год была довольно тёплая зима, и лебеди не улетели за море, держались в Коктебельском заливе, там, где в него спускался Карадаг. Всё же море было неспокойное, птицы голодали настолько, что брали хлеб из рук отдыхающих.

Потом, обеспокоившись, побежал в номер Мих. Васа. Тревога оказалась не напрасной: Михаил Васи-

льевич лежал у себя в номере на полу без сознания. Поднял его кое-как, уложил на кровать. Бросился в медпункт, вызвал дежурную медсестру, она сделала какие-то уколы, Примчался директор Дома творчества. Вызвали скорую из Феодосии /в Планерном пункте скорой помощи не было/, отвезли Мих.Васа в кардиологию: у старика оказался очередной обширный инфаркт. Слава Богу, в тот раз его удержали в пределах жизни.

Признаюсь, за время нашего общения он стал мне близким, почти родным человеком. Доброжелательный, много переживший, способный на какой-то тихий, еле уловимый юмор, знавший настоящую цену и смысл жизни, Мих.Вас. неприметно, но явно влиял на окружающих, наполнял пространство общения каким-то особенным духом, чувством значимости существования. Его память хранила бездну интересной, часто неожиданной информации. Например, однажды, как обычно, к слову он заметил, мельком испытующе поглядывая на меня:

– Мишу Горбачёва я хорошо знаю: одно время он работал в отделе крайкома, который я тогда возглавлял, инструктором. Неплохой, старательный работник. Но его уровень – райкомовский, в крайнем случае, краевой. Но вот громадная, тяжкая Россия, тем более Советский Союз ему не по плечу: не удержать ему. А ведь он идёт на самый верх.

Разговор этот происходил в 1985 году, если память мне не изменяет. Тогда всё ещё казалось стабильным, не было краха огромного государства. А сколько ещё глубоких и точных наблюдений, пониманий унёс писатель с собой, так и не написав своей главной «Книги Жизни»!

После того инфаркта Мих.Вас. прожил ещё несколько не самых радостных лет: как-то жёстко с ним обходилась судьба, да и близкие его.



Ещё в относительно благополучные годы Мих. Вас. как известный писатель, ветеран ВОВ, заслуженный человек, получил в Ставрополе приличную квартиру. Жильё все советские годы было постоянной головной болью советского народа /не имею в виду «номенклатуру» – С.П./ Строили мало. Люди полжизни стояли в очередях на получение квартиры. Разумеется, скромный, добрый Мих.Вас. поселил у себя семью единственного сына. Увы, сын умер совсем молодым человеком от какой-то срочной болезни. Остались с Мих.Васом невестка и внучка, доченька сына, которую Мих.Вас. нежно любил: единственная веточка его рода.

Невестка, понятно, горела нетерпением занять всю квартиру, возможно, наладить личную жизнь. Обратилась к Мих.Васу, /он рассказывал об этом тихим, как бы надорванным голосом, и я догадался, когда и где надорвал он голос: там, на войне, когда политрук роты противотанковых ружей должен был любой ценой удерживать людей на позиции, поднять их в атаку. С тех самых пор никогда больше он не поднимал голос до крика, разговаривал короткими фразами, почти шёпотом/. «Дедушка, Вы же любите внучку! – говорит невестка, – уступите ей свой солнечный кабинетик, а Вас мы устроим в маленькой теневой комнатке /была там кладовка без окон/. Вы же всё равно уже не пишете! – Уступил, конечно. Увы, поистине сказочные персонажи: бедный дедушка, алчная невестка, несмышлёная внучка...

Признаюсь, я мечтал даже забрать Мих.Васа. к себе, но наступили сложные времена конца восьмидесятых. В моей двухкомнатной /комнаты смежные/ хрущевке еле теплилась 90-летняя моя матушка, умирала её сестра, моя тётя Аня, жена Юличка моя колотилась, обслуживая всех, я работал

в школе и метался по выступлениям, зарабатывая копейки на жизнь. Так что не вышло, не довелось помочь старику-писателю. Больше я с Михаилом Васильевичем не виделся, обстоятельства последних лет его жизни известны мне из рассказа одного из руководителей ставропольской писательской организации.

Шустрый, деятельный Председатель недолюбливал Мих.Васа. за то, что тот не слишком признавал его поэтический дар. Однажды я показал Председателю свое стихотворение «Учитель», где речь шла об учителе-ветеране, который, уйдя на пенсию, не мог расстаться со школой, каждое утро вставал, как обычно, в шесть, брился, надевал военную форму и шёл в школу, стоял там у входа, пропуская школьников, пока не начинались занятия. А потом возвращался домой и принимался за военные воспоминания, которые хотел издать для своих учеников.

– Да уж, – едко заметил Председатель, – твой «учитель» совсем в маразм впал, за собой следить не может, почти ослеп. А невестка за ним присматривать не особо хочет: сама работает с утра до ночи. Просил он устроить его в дом престарелых., Да там такая очередь! Впрочем, занимаемся...

В богадельню писатель так и не попал. Умер от последнего инфаркта.

Книги только и остались от Михаила Васильевича. Между прочим, в последнее время своей долгой, по нынешним меркам, трагической жизни Михаил Васильевич Усов писал только о природе, только для детей: о лесах, о птицах и зверушках, о степи – многое он заметил, знал, любил. Остался в памяти у всех, кому с ним приходилось общаться, скромный, добрый, талантливый, искренний человек, писатель Михаил Васильевич Усов.



Писатель Владимир Маляров, посетивший Мих. Васа перед самой его кончиной, сообщил мне, что лежал Михаил Васильевич всё-таки в той солнечной комнатке-кабинете, где работал над рукописями многие годы: возможно, совесть заговорила у кого-то из близких ему людей...

Обелиск

Сегодня с утра прошел я изуродованной, разрытой, захламленной поймой Подкумка. Всюду валялись трубы большого диаметра, на треть затянутые илом. В заросшем бурьяном котловане по ступицы в воде ржавел брошенный бульдозер. Посреди чьей-то разоренной усадьбы лаяла собака, тоже, как видно, брошенная. Черный от загара мужик торопливо разбирал стены домика на отдельные саманные блоки: не пропадать же добру! И повсюду, куда ни глянь, сочилась, текла, мерцала вода, чистая, процеженная лесками и галькой в бесконечном течении своем от верховых родников. Вода неутомимо шныряла, звенела, струилась, сравнивая бугры и рытвины, заливая разруху поймы, точно знала: все пройдет, а она будет течь вовеки здесь, меж зеленых и плавных душистых берегов своих. Ей некогда задерживаться, нельзя отступать: нет в этом сути воды, живое движение в широком русле – вот ее жизнь...

Вскарабкавшись по мусорному откосу противоположного берега поймы, наткнулся я на скромный обелиск, погрязший в болотистой полянке на задворках какого-то предприятия. Ржавые потоки промышленных стоков «омывали» подножие обелиска. Несколько свежих, зеленых ещё, несмотря на позднюю осень, топольков обступили его, трепетали, клонились, затеняли его одиночество, заброшен-

ность, как бы защищали его – узкими женскими неутешными ладонями.

«Здесь похоронено 322 советских граждан, замученных фашистами в период оккупации Кисловодска в 1942-43 гг.» – было написано черными неуклюжими печатными буквами на белом прямоугольнике мемориальной доски.

Вспомнились слухи о расстрелянных под Кольцо-горой евреях во время оккупации. Именно слухи, потому что нигде я об этом не читал, и в школе нам об этом не рассказывали. Помню, говорилось об этом до 1953 года шепотом, опасливо, как если бы за такие рассказы можно было бы поплатиться как за антисоветскую пропаганду. Впрочем, за что в ту пору нельзя было поплатиться?! Мама, правда, упоминала о некоей послевоенной комиссии под председательством Алексея Толстого, расследовавшей преступления фашистов на Северном Кавказе, в частности, расстрел многих тысяч евреев под Минводами. Но где они, материалы этой комиссии? Да и что наши скромные 322 расстрелянных под Кольцо-горой против тех десятков, сотен тысяч, против миллионов уничтоженных по национальному признаку беззащитных людей?! – Так подумалось мне...

Прохода от памятника к шоссе я не нашел: сплошной забор отгораживал заброшенное место от «непрощеных» посетителей. Сунулся было в щель между цехами соседних предприятий, однако и здесь, почавкав болотцем промышленных стоков, уткнулся я в тот же решетчатый железный забор. Зато с той стороны решетки удивленно взирала на меня юная и прекрасная немецкая овчарка...

На мгновенье что-то произошло с моим зрением, то ли ощущение времени сместилось. Где я? Когда? – Решетка, братская могила, овчарка... Я уже был готов услышать резкое немецкое «хальт!»



Не решившись сразу броситься на незнакомого, но спокойного почему-то человека, умная зверюга аккуратно залаяла, призывая хозяина – патрульного, сторожа ли. Тот не замедлил явиться. Повелительно махнул мне, подзывая к широкой щели в сварной ограде.

Был сторож однорук, явно навеселе и потому, верно, багров лицом. Однако вид у него был серьезный. Он принялся сурово выяснять, кто я таков и чего это здесь «ошиваюсь». А я, пока сторож расспрашивал меня, с трудом вернулся в наше время, не сразу, а поблуждав мысленно по оси времен, которая показалась мне довольно-таки однообразной. Наконец удалось как-то объяснить себя. Сообщил, что я коренной местный житель и что разгуливаю по случаю праздничной погоды, развода с супругой и преступного бегства с демонстрации. Задал встречный вопрос об обелиске.

Сторож, крупный, обожженный воздухом, летами и алкоголем, оказался простосердечным, неожиданно доверчивым и отзывчивым человеком: поверил, что я не диверсант, не воришка и даже не беглый уголовник. Пообещал рассказать все об обелиске. Помолчал: видно было, что и он блуждает где-то далеко по оси времен. Но вот он нашел искомое: неожиданно по-детски сморщился, всхлипнул. Сквозь слезы рассказал, что мальчишкой ещё оказался свидетелем расстрела, так как пас неподалеку, в пойме Подкумка, скотину...

Их вывезли сюда в январе 43-го, перед самым уходом немцев. Снегу тогда лежало на ладонь, не больше. Им приказали раздеться и стали гонять по кругу босыми. Яма была к тому времени уже открыта. Потом выстраивали партиями на краю ямы и расстреливали. А было их несчитано. Это только выясненных, видно, 322, как на доске написано. И

еще он видел, что двое из всех «убегли» потом через Подкумок в город...

«Да, стреканули прямо через речку», – подтвердил сторож постарше, подошедший тем временем на разговор от соседнего предприятия. Был он тоже массивный и «долгосрочный» по фигуре. «Обещались власти памятник покрепче поставить опосля. А пока вот – болото и никакого проходу туда нет».

Этот не плакал от воспоминаний, потому что был покремневей первого, назвался его дядей, и, стало быть, его воспоминания не были детскими, трогательными. К тому же чувствовалась в нем какая-то тень, неясность и недоверчивая тревога. Что он подделявал здесь в то время? С какой стороны видел расстрел? – Ведь проговорился-таки. Недаром принялся задавать мне, не в пример первому, «наводящие» вопросы: где, мол, живу да кого знаю в городе. Оказалось, мы чуть ли не соседи с ним, имеем общих знакомых и даже родились на одной улице имени Розы Люксембург, только в разные годы...

Разговор наш струился извилисто и живо, как Подкумок. Узнал я, что руку первый мой собеседник потерял здесь же под Кольцо-горой, разряжая с «пацанами» брошенную немцами при отступлении гранату: лежит где-то здесь рука его – частью этой земли, как и те, под обелиском, – и держит его при себе, при этом месте, где сторожует он с основания «промзоны». Уж и не знает он в точности, что сторожит здесь, хоздвор предприятия, или свою оторванную войной руку, или это захоронение заброшенное, или воспоминания свои нечеловеческие – до той поры, когда возведут здесь величественный горестный памятник всему пережитому. И пусть тогда струится вечный Подкумок под кручей внизу. И пусть текут, омывая каждый кремешек горный светлые и темные воспоминания...



Дружески распростился я со сторожами и их овчарками. Они изрядно проводили меня, показали удобный спуск к Подкумку...

Спустился я к бегущей воде, засмотрелся на serene прозрачные струи. Мысли одолели меня. «После войны и даже после смерти «Вождя всех народов» прошли десятки лет. Почему же до сих пор гробовое молчание окружает трагедию этих беззащитных «советских граждан»? Как вышло, что этот скромный рукодельный обелиск, любовно побеленный, обсаженный самыми стремительными из деревьев – тополями, оказался на грязных задворках зачуханного СМУ, отрезанный от всего мира, даже от тех, кто ещё помнит... Да неужто же хотя бы людям – работникам этого СМУ не колет глаза кричащая братская могила? Ведь могли бы оказаться здесь и их близкие...» Мысли кружились вокруг одного, не находили ответа. Вспомнилось, как недавно на встрече с маститым местным писателем я услышал от него, что «немцы у нас здесь, на Северном Кавказе, проводили политику «дружбы с населением» – не то что в Белоруссии или на Украине». Покоробил сам тон высказывания: какое-то холуйское чуть ли не удовлетворение по поводу «дружественного отношения» фашистов. А как же эти 322 трупа? А десятки тысяч трупов там, у стекольного завода под Минводами?.. Впрочем, высказывание не единичное. В краевой молодежи появились «воспоминания» о времени оккупации, где сказано, что евреи чуть ли не добровольно «старательно регистрировались в комендатуре», а кто не хотел, мог, якобы, легко уклониться от регистрации – это десятки тысяч семей со стариками и детьми, со скарбом – при «дружественном отношении» оккупантов с местным населением!.. Что это? Странность? Глупость? Или просто та самая древняя, ядовитая и живучая

гадина тупого антисемитизма? – Увы, вопросы не находили ответа...

Возвращался той же разоренной поймой Подкумка. Шелестела и звенела повсюду вода. Струился огромным прозрачным телом родниковый пойменный воздух. Солнце ласкало половину лица, другая половина горела от острого теневого ветерка. В отдалении тяжело дышал и погромыхивал город, взявший в железобетонные объятия часть поймы.

Невдалеке, то скрываясь в котловине, то появляясь у реки, брела стайка мальчишек с прутиками-удилищами в руках. Было им здесь, видать, не скучно. Их не пугало безлюдье, разруха земли: ведь они никогда не видели прежней нетронутой первозданности. Мир для них был населен дружественными существами воды, ветра, солнечного дыхания. И они не знали еще ничего о ненависти, смерти, расстрелах, о заброшенном на болоте обелиске, об оторванной руке сторожа, о его израненной памяти, о сварных оградах и мертвых промышленных стоках, о ледяной и хищной сути власти, о таинственной оси времен, о прекрасных и юных немецких овчарках, о горестном знании прошлого и будущего мира. Они просто жили, просто дышали и доверчиво скигались в нем...

Были здесь несколько коричневых от загара белоголовых казачат, пара застенчивых черноглазых карачаевских мальчишек, один с явно семитским смуглым лицом и лукавыми чуть печальными глазами газели. Шли то в обнимку, то врассыпную, исследуя каждую лужу...

Вдруг что-то там произошло. Из дружной стайки выделился поначалу не замеченный мной щуплый и низкорослый подросток, хромой, явно припадавший на левую ногу, к тому же с некрасивым, каким-то не по-детски «деловым» выражением



лица. Он схватил булыжник, что-то повелительно заорал – особенно выделилось в крике его слово «бей!» – и швырнул булыжник в лужу. Мгновенно все побросали удилица и схватили булыжники. Началась охота. Глаза мальчишек разгорелись азартом и яростью. Камни летели градом. Прозрачная только что вода протоки почернела. Били пока что обыкновенных лягушек. Но охота была настоящей: беспощадной и торжествующей. Особенно выделялся предводитель. Да-да, в этой «игре» самый тщедушный и неодаренный из всех, силой злобы был выдвинут в «вожди». Он шагал впереди всех, хватал самые острые булыжники, делал повелительные жесты, указывая цель – бедную зеленую квакшу, которая стремилась спрятаться в облаке поднятой грязи, но не могла долго оставаться под водой и иногда выныривала. Нехорошее выражение злобы торжествовало на лице хромоножки: он был сейчас главный!..

– Пойдите! Ребята! Вы что? Что она вам сделала плохого? – заорал я неожиданно для самого себя.

Все, кроме «вождя», как бы очнулись. На лицах мальчишек промелькнул испуг. Было видно, что они понимали, что делают что-то не очень хорошее. Только заводила не унимался: «А что тут такого? Это ведь лягушки. От них бородавки бывают! Они вредные!» – кричал он. Мне как-то многое стало ясно от этого ненавидящего крика.

- Айда, пацаны! Что нам эти лягушки. Там рыба уйдет, – решительно высказался другой подросток, крепкий, с пшеничной копной волос, видимо настоящий, постоянный лидер этой компании.

Все побросали булыжники, подобрали удилица и, весело переговариваясь, изредка оглядываясь на меня, направились к большой протоке, где вода была глубокой и не такой бурной. Позади всех хму-

ро хромал давешний «вождь», маленький, несчастный, но неукротимый...

«Слава Богу, эти ребята еще ничего не знают о суверенитетах, приоритетах и национальной розни! – подумалось мне тогда. – Но вот подрастут они. Что будет тогда? Ведь хромоногий «вождь» навряд ли успокоится. И кто ему тогда заменит этих лягушек?

Послесловие

Прошло семь лет. Нет СССР, перестройка перешла в большую перекройку страны. Мир разительно изменился и продолжает свои почти катастрофические метаморфозы. И наш уголок мира – не исключение. Вот в пойме Подкумка достроена бетонная дамба, Подкумок зажат железобетонными берегами. В пойме реки, которая испокон кормила город овощами и молоком, насажена рощица чахлых березок, разросся могучий бурьян.

На том, крутом берегу Подкумка трогательный рукодельный обелиск снесен, срублены тополя. Зато установлен здоровенный бетонный куб, уложена бетонная полянка, насажены ивы, свесившие к бетону безвольные желтые плети-руки, плети-волосы. Пробита тропка к шоссе даже. Короче, справедливость вроде бы восстановлена, хоть и без особой души, а потому и безвкусно, кое-как. Цветут в специальной клумбе кровавые сальвии пополам с бурьяном, и светильники установленные было, уже свесили кое-где разбитые головы, и струится по бетону полянки прежняя ржавая струйка промышленных стоков.

А заметки эти я в свое время не смог опубликовать, как обещал сторожам. Да и самих сторожей я что-то больше не встречал.



Только вечные мальчишки по-прежнему бродят в обнимку у нового озера с ореховыми удилищами в руках в огромном течении мира по оси времени...

P.P.S.

Вот так «витки времени»! Если Вам выпало относительно долго жить, вы воочию замечаете водовороты этого самого времени.

Вот уже лет 15 «новое озеро» заглохло: воду спустили, в пойме вырос настоящий лес тополиный и гуща бурьяна. Памятник расстрелянным людям растрескался, заброшен. Всюду «на том месте» царит и крепнет непобедимое равнодушие.

Зато рядом, на Украине, родственной, славянской вовсю возрождается националистическая ненависть – к своим российским братьям.

Не тот ли самый хромоножка-«вождь», повзрослев, возглавил националистов?..

P.P.P.S.

Уф! Дождались наконец. Памятник отремонтировали! Украсили довольно-таки бездарным, но трогательным барельефом, где несколько фигур расстреливаемых людей: один горделиво выпрямился навстречу расстрельщикам, другой уже упал на колени, поник, сражённый пулей, там, дальше, на заднем плане мать прижимает к себе ребёнка – символы гибели. Даже появилась мемориальная доска на иврите.

Действительно, всего можно дождаться, если жить вечно...

2015 г.

Сказы ставропольских казаков

Для Родины
своей головы не жалеи

*Ст. Новомарьевская,
г. Михайловск,
с. Старомарьевское*

Жил когда-то в прежние времена в Ставропольской крепости Хопёрский казак Михаил Белоусов, или просто Белоус, с женой Марией, дочерьми Машей и Надей, да сыном Гришей. Девчата его были уже невесты, а Гриша, так себе, пацан-подросток. В то время не затухала вечная война с горцами, нередко просачивались отряды турок, крымчаков, ногаев. Во время похода Батал-паши сотни три янычар, сипахов и всякого горского сброда прокрались ко крепости и укрылись в окрестном лесу. Ничего не подозревавшие казаки вышли работать на свои наделы. Участок Михаила находился на опушке. Работали они в тот злосчастный день всей семьёй. Вдруг из зарослей с визгом и гиканьем вылетели конные турки и абреки. Казаки



**ВЛАДИМИР
КРЫЛАСОВ**

Проза





с семьями бросились под защиту крепости. Лишь Белоус не мог рассчитывать на укрытие. Крепость далеко, турки – вот они, рядом.

– Мария! Тикайте! Може успеете! – крикнул он жене, сам же вскочил на коня верхом, выхватив саблю, отрубил постромки у плуга и бросился навстречу врагу. Не видел казак, как захватили детей его да жену и волочили их в лес. Не взять бы бусурманам его, хорошие рубаки были Хопёрские казаки, да кто-то аркан сзади накинул, сорвал с коня и поволок в заросли. Основные силы ставропольцев были в походе, крепость охранялась небольшим гарнизоном под командой атамана Конона Устинова. Делать вылазку против врага, не зная его силы, Конон благоразумно не решился. И увезли Белоусовых далеко вглубь чащи. Здесь абреки и турки стояли лагерем. Пленников подвели к турецкому офицеру.

– Здравствуй, казак! – сказал тот по-русски не очень чисто, но понятно, – меня зовут Селим-бей, а тебя как?

– Зовут зовуткой, величают уткой, – пробурчал Белоус.

– А ты, я смотрю, шутник, – засмеялся турок, – только для любезного разговора неплохо бы и имя назвать. Ты чай не генерал и имя твоё – не особый секрет.

– Михайлой Белоусом прозываюсь, – ответил казак

– Послушай-ка, Михайла, расскажи мне: каков гарнизон крепости, как вооружён, где пушки стоят, и я щедро награжу тебя и детей.

– Да уж вы наградите, известна нам ваша награда, пуля в лоб, либо петля на шею. Не скажу я ничего.

– Ой, не зли меня, казак. Я с тобой добром разговариваю, однако могу и по-плохому обойтись. Вот начнут тебе пятки на углях жарить, да ремни со спины резать, другое запоёшь.

– Заморская ты рожа, бусурманская образаина, тебе ли знать силу духа казацкого!? – вспыхнул Михайло.

Селим-бей улыбался, ни одним мускулом лица не показывая, что обозлён словами Белоуса.

– Разжечь костёр! – крикнул он, – да деревья посуше выбирайте, дабы угли пожарче были, и приведите этих русских девок, да старую каргу.

Привели Марию с дочерьми.

– Так вот, Михайла, не расскажешь нам всё, чего мы требуем, дочерей твоих на потеху янычарам брошу.

– А ты и так бы их кинул, я это предвидел и ждал от тебя такой подлости. Хоть на куски нас режь, ничего не скажу. Присягу я на Кресте давал, поэтому изменником быть не хочу и не могу.

Турок хлопнул в ладоши. К жене и девушкам тотчас подскочили горцы и сорвали с них одежду. Турки отвернулись, ислам запрещает смотреть на обнажённую женщину.

– Тятя! Тятенька! Помогите! – кричали дочери.

Ничем не мог помочь им казак, только слёзы катились у него из глаз. И вот их, истерзанных и избитых притащили обратно и бросили к ногам Белоуса. Селим-бей схватил Марию за седеющие волосы, приподнял ей голову.

– Ну! Говори, старая ведьма, отвечай на наши вопросы, не то худо будет. Женщина молчала.

На глазах Михайлы янычары раскаляли на огне сабли и прикладывали их к телу казачки. Та стояла, морщилась, но молчала. Тогда разъярённый



Селим-бей подскочил к ней и выстрелил в лицо. Жена свалилась замертво.

– Ты будешь говорить, или нет, паршивый пёс!?! – заорал он, вернувшись к Белоусу.

Но тот молчал, будто воды в рот набрал.

– Отрубите головы его шлюхам.

Дочерей обезглавили, казак и словом не обмолвился

– Привести щенка!

Привели Гришу.

– Всыпьте ему плетей.

Казачонка растянули на земле и начали нещадно пороть кнутом. Молод был малец, не было у него отцовской выдержки, лес огласился дикими, душевраздирающими воплями и стенаниями. И вот сын лишился чувств. А Михайло по-прежнему молчал.

– Поджарьте ему пятки.

Янычары схватили Белоуса, подтащили к костру и сунули в угли спутанные цепями ноги. Свет померк в глазах казака, от боли поплыли круги перед глазами и всё исчезло. Турки подняли его, отнесли в сторону, отлили водой.

– Да человек ты или камень?! – закричал Селим-бей. – Отведите их в обоз, нам не к спеху. Знай, упрямый осёл, у Батал-паши воинов в пять раз больше, чем у русских, да ещё наших друзей примкнуло столько же. Он уже наверняка разбил ваши войска на Кубани и идёт сюда. Конечно, неплохо бы было захватить крепость до его прихода, да ничего, успеется.

Лежат отец с сыном в повозке на куче земли, молчат. Турки были настолько уверены в беспомощности пленных, что даже часовых не поставили.

– Сынок? Гришаня? – простонал отец.

– Что, тятенька? – еле слышно со всхлипом ответил тот.

– Больно, Гришенька?

– Ох, больно! – ответил тот и затрясся в тихом плаче.

– Терпи, казак, атаманом будешь, не баба ты – воин. Прости меня, не мог я присяги порушить. Лучше здесь муки принять, чем на том свете мучиться. Бежать тебе, сынок, надоть. Вишь, к нашей повозке Буланко привязан? Садись на него, крикни:

– Буланко! Черкесы! Умчит он тебя, аки ветер, прямо домой привезёт, никто не догонит.

– Не смогу я, тять.

– Должон смочь. Кому-то нужно за меня, за мамку, за сестёр поплатиться.

Превозмогая боль, подполз Михайло к сыну и начал зубами грызть верёвку на его руках. Час ли, более провозился, но распутал ему руки, ноги тот освободил сам.

– Бежим вместе, тять?

– А что, давай попробуем, развяжи-ка мне руки.

Казак освободился, помог взобраться сыну, сдерживая стоны, с зубовным скрежетом, влез сам.

– Ну, пошли, Буланко, – тронул он коня.

Лагерь, между тем, затихал. Но тут беглецы наткнулись на какого-то турка, который поднял дикий визг и выстрелил из пистолета.

– Хватайся за гриву, сынок, сейчас турки палить начнут. Я тебя собой прикрою. Если меня ранят, на тебя вся надежда

– Буланко! Черкесы! – во всю глотку крикнул Белоус.

Конь подхватился и стремглав кинулся в заросли. Турки всполошились, началась стрельба наугад. Одна пуля пронзила плечо Михайлы. Он застонал и грудью навалился на сына. Вторая пуля попала в позвоночник. Ноги вмиг онемели, отказались слушаться.



– Не могу я, Гришатка, не удержаться мне, падаю. Бери повод и скачи сам, один.

Михайло свалился. Турки нашли его и приволокли к Селим-бею.

– Выродку своему бежать помог? – усмехнулся тот, – не радуйся, всё равно мы Ставрополь завтра возьмём. Я его захвачу, даже Батал-пашу ждать не буду. Нас больше, чем русских. Сегодня ко мне ещё пять тысяч верных сынов ислама пришло.

– Не твоим поганым ртом мух ловить, завоеватель великий приискался. Сброд, который ты тут насобирал, это рази воины. Крепостей они брать не умеют, протолкнутся под стенами зазря, пока к нашим помощь не придёт. Заугольники они, привыкли исподтишка напасть, ограбить и удрать. Мы их всегда били и бить будем. Суворов крошил вас и в большем количестве, когда на одного русского по двадцать турок приходилось, – с усмешкою ответил Белоус.

При упоминании Суворова глаза офицера вылезли из орбит:

– Не смей при мне упоминать имя этого проклятого кяфыра! – закричал тот и затопал ногами.

– Что, засыпал он вам за шиворот угольков горячих? – засмеялся Михайло.

– Перестань!!! – вопил Селим-бей.

Однако казак продолжал хохотать.

– Перестань, проклятый шакал, сын свиньи и собаки!

Турок выхватил саблю и рассёк пленному голову. Смех оборвался. Не мог знать Селим-бей, что прав был Белоус. Войска Батал-паши разбиты генералом Германом, сам же турецкий полководец захвачен в плен внуком атамана Дмитрием Устиновым. Полки русские возвращаются с победой и подходят к Ставрополю.

В полночь у крепостных ворот заржал конь.

– Кто там!? – крикнул часовой.

Молчание.

– Эй, отвечай, стрелять буду!

В ответ одно ржание. К часовому бежали карательные казаки.

– Огня сюда! – приказал урядник.

Зажгли факел.

– Да ведь это Буланко, Белоусов конь. Заведите его через калитку, ворот не открывать. Ружья и пушки зарядить, приготовиться, вдруг в лесу турки сидят.

Коня завели, стянули с него Гришу.

– Гля-ка, что с мальчонкой сделали, изуверы. Вся спина в крови. Лекаря сюда. Где же сам Михайло, Мария, дочери?

Прибежал крепостной лекарь. Кое-как казачонка привели в чувство.

– Тамо-ка турки тятю мучут, маманю с Машей и Надей посекли, помогите, – прошептал он и снова впал в беспамятство.

Тут за воротами зашумел передовой отряд возвращающихся войск, а вскоре потянулись основные силы. Узнав про судьбу Белоуса, казаки взъярились.

– Веди нас, Конон, зараз с этой бандой покончим.

– Пацана привести в чувство и обиходить, – приказал атаман лекарю.

Грише смазали мазями спину, дали лечебное питьё.

– Сможешь показать, где лагерь супостатов?

– Смогу, только мне бы на носилках и на животе, спину больно, мочи нет.

К утру лагерь янычар тихо окружили, пластуны сняли осторожно часовых, напали на спящих. Казаки и драгуны без жалости вырубали всех тех, кто



пытался оказать сопротивление. В руки русских попал и сам Селим-бей. В крепости всех пленных горцев и турок выстроили во дворе и носили меж рядов Гришу.

– Этот, этот, вон тот, – показывал он рукой на мучителей. Вдруг он увидел Селим-бея. Казачонок побледнел, кинулся к нему и вцепился в горло.

– Ах ты! Ах ты! – хрипел он сквозь сжатые зубы, – дайте мне этого, я его казнить буду, тятя наказ дал за их муки отомстить.

– Отдать турка Белоусёнку! – требовали казаки, и как их не убеждал комендант, они стояли на своём.

– И турок всех выстроить, пусть видят: каждый за злодеяние своё получит.

Генерал махнул рукой и ушёл:

– Делайте, что хотите а я «руки умываю», – сказал он на ходу.

Тогда казаки принесли Гришу.

– Сыпьте ему сначала плетей, пусть сам их отведает.

Селим-бей распластали на земле и нещадно выпороли.

– А теперь столб вкопайте, турка к нему привяжите и сухим хворостом обложите.

Когда все приказания были исполнены, Гриша взял факел и подпалил костёр.

– Помучайся сам, изверг, – прошипел он злобно.

Что поделаешь, жестокость одних, всегда вызывает жестокость других. На зло люди призывали отвечать злом, хотя Спаситель наш Иисус Христос призывал быть милостивыми ко врагам своим. Надо отдать должное выдержке турка, ни один звук не извергли его уста. Он тоже верен был своей присяге и служил своему султану достойно.

– Всех, кто мучил маманю и сестёр, побить, кто меня порол – выпороть. Бить, пока памяти не лишатся, а там пусть их начальство судит, – приказал казачонок.

– Всех горцев, что были из племён, принявших присягу, судили и повесили. Остальных разменяли на наших пленных. С почестями хоронили семью Белоусовых. Ко Грише подошёл Конон Устинов:

– Вот и стал ты, Гришатка, сиротой, жить в моей семье будешь. Решили мы увековечить память твоих родных. Село Мамайское назовём Надеждой, так же будет прозываться и речка, что по нему протекает. Село рядом с Надеждой, ниже по речке, назовём Старомарьевским, а Хаджисултанское – Новомарьевским. Село же, что стало у Куксова хутора, прозовём Михайловским.

Вот так и получили свои прозвания эти селения.

На чужой беде счастья не построишь

Ст. Темнолесская

Прекрасен наш Тёмный лес ранним утром летнею порою. Ещё не напелись, не насвистелись его пернатые певцы-солисты, высоко в ветвях трелят, свищут, тинькают на все голоса, где-то кукует кукушка. Жужжат шмели и пчёлы, порхают разноцветные бабочки. Журчит на все голоса прозрачный, словно первосортное стекло, ручей. Цветёт бузина и валериана, распространяя вокруг умопомрачительный аромат, который смешивается в душистом благовесте с запахами цветущих трав, кустарников, деревьев и сохнущего сена. Ничего не нарушает лесного покоя. И вдруг издалека доносится женский голос:



– Иди ко мне, крохотуля моя!

В ответ слышится залиvistый детский смех. И снова голос матери, а это, несомненно, она, ибо только в интонациях матери может быть столько нежности к своему чаду.

– Поймаю, поймаю, поймаю!!! Оп! Попался?! Ах ты, мой ангелочек! Ягодка моя сладкая, цветик ненаглядный, голубочек сизокрылый.

На взгорке сидит мужчина, с умилением отца наблюдающий за игрой жены и ребёнка. И видно по нему, что подобная картина радует его сердце. Но неожиданно мрачная тень сметает улыбку, как туча закрывает солнце в ясный день. Лицо становится суровым и грустным, хмурятся красивые, чёрные и широкие, сросшиеся на переносице брови. Видно, что какие-то думы тревожат душу казака. То, что это казаки – видно по их одежде. Он в простой льняной, домотканой рубахе, но подпоясан казачьим наборным ремешком с кинжалом. Брюки с лампасами заправлены в начищенные до зеркального блеска сапоги, на голове красуется аккуратная кубанка с малиновым верхом.

– Ну хватит, Галя, идёмте домой – говорит он.

– Идём, Гринь! – отвечает та и, подхватив ребёнка, бежит через поляну. Разбаловавшийся пацан обхватывает шею матери и подпрыгивает у неё на руках, залиvисто смеясь. Отчего же посуровело лицо казака, что вспомнилось ему?

А вспомнился тяжёлый бой под Эрзерумом, где в засаду попал их казачий полк. Сипахи окружили казаков, началась смертельная сеча. Тут Григорий увидел, что друг его Никола Левшаков вывалился из седла. Трубочка играл отбой. Однако он, Григорий Прокопов, прыгнул на землю, подхватил раненого друга, едва успев отбиться от налетевших турок,

поскакал вслед уходящим сотням. С тех пор дружба земляков стала ещё крепче. Окончилась война, возвратились казаки домой в родную станицу Темнолесскую. И надо же было такому случиться, влюбились оба в одну дивчину, Галину Киндееву. Григорий выгодно отличался от друга высоким ростом и широкими плечами. Русый чуб вился лёгкими кольцами, на приятном, чистом лице лучились карие глаза, обрамлённые длинными, как у дивчины, ресницами и красивыми, чёрными бровями, сросшимися на переносице прямого, правильной формы носа. Но с острыми на язык казачками Прокопов терялся. Плясать не умел и не любил, да и не пел. Никола же был собой неказист, рябой, весь в веснушках и оспинах. Волосы непонятного рыже-серого цвета, лупатые глаза с постоянной хитрой улыбкой, нос, словно раздавленное красное яблоко. Щёки пухлые, губы толстые, зубы крупные, как у лошади. Ростом не высокий, но в плечах тоже широк, ноги кривые, словно у ногайца. Зато был он плясун, певец и на дуде игрец. В полку являлся Левшаков первым запевалой, а «Барыню» плясал так, что не только казаки, а и офицеры приходили посмотреть. И там, где появлялся Никола, не смолкали смех, песни, пляски, а шутки так и сыпались из него, как из бездонного мешка. Неудивительно, что красавица Галя отдала предпочтение Левшакову. Вот идут они как-то на вечеринку: Никола впереди, Григорий сзади.

– Слушай, Никола, отдай мне Галю! – сказал вдруг Григорий.

– Как это «отдай»? – засмеялся друг, – что она вещь, что ли?

– Не смейся, люблю я её, жизни мне без неё нет.



– Ну, друг, так дела не пойдут, и я её люблю, и мне она мила.

– Не могу я без неё, ночи напролёт о ней думаю, во сне её вижу. Прокопов сел, обхватил голову руками и заплакал.

– Ты что, Гринь, совсем рехнулся? Что за недоля такая, по бабе слёзы лить? Ты ли это, лихой казак, Григорий Прокопов?

– Отдай мне Галю!!! – Григорий вскочил и ухватил друга за ворот черкески.

– Да что ты с ума сходишь, не пойдёт она к тебе!

– К тебе пойдёт, а ко мне нет?

– Да!

– Уж больно ты о себе высокого мнения. По себе ли сук рубишь? Ты хоть в зеркало на свою образину смотришься?

– Вот ты, значит, как заговорил? Что же ты у меня просишь Галю отдать? Толку, что ты красавец? Не спеть, не сплясать, не словца доброго сказать. На тебя и девки смотрят потому, что я рядом.

– Никола, не заносись! Забыл, что ты мне жизнью обязан? Пришло время долг платить, отдай мне Галю!

Лицо Левшакова стало серьёзным.

– Да где ты раньше-то был? Дождался, пока я сердцем прикипел. Я долг свой, Гринь, помню и готов для тебя всё сделать. Но если ты любишь, то поймёшь меня. Ведь и я люблю, или если я некрасив, то и любить не вправе? Лучше жизнь мою забери, а любви не отымай. Сам говоришь, не красавец я, может мне больше в жизни и случай не представится, а ты собою ладный, найдёшь себе другую. Слушай: а помнишь, на ярмарке в Невинной мы черкешенку видели, Фаридой, кажись, зовут. Ну еще снарочи остановились, дабы на неё посмотреть и

глазели полдня. Я наблюдал за тобой. Ты аж в лице изменился, глаза огнём загорелись, лицо побелело, я поправде думал, что ты меня попросишь помочь украсть её. Я узнавал, в Джегуте они живут, а у меня друган в станице Джегутинской есть, давай рискнём, слямзим её?

– Ладно, – заскрипел зубами Григорий, пошли, хватит об этом.

Шло время, наступила осень. Прокопов о разговоре больше не вспоминал.

Как-то поутру отправился Левшаков на охоту. Путь его лежал мимо хаты Прокоповых. Увидев друга, Григорий быстро собрался и вышел.

– Ты куда, сынок? – спросила мать.

– Пойду к Сегидову схожу, мы с ним завтра на базар собирались ехать в Ставрополь, узнаю, не передумал ли?

И ушёл. Зашёл к Сегидовым, переговорил с Анатолием, вышел и бросился в лес. Он хорошо знал охотничьи тропы, по которым ходили вместе с другом. В лесу давно было спрятано новое, тайно купленное ружьё. Достав его, Прокопов кинулся вслед Левшакову, и вот впереди замелькала фигура Николы. Григорий бесшумно подкрался ближе, прицелился и выстрелил тому в спину. Казак рухнул на землю. Убийца, воровато оглядываясь, быстро подбежал, схватил бездыханное тело подмышки и уволок в сторону от тропы. Здесь кинжалом он начал рыть могилу.

– Что ты делаешь, Гринь?

Прокопов подскочил как ужаленный и резко повернулся на голос. На него смотрел очнувшийся Никола. Поняв, что тот очень слаб, и не сможет не крикнуть, не оказать сопротивление, он отвернулся и продолжил своё дело.

– Это ты в меня стрелял?



– Да, я.

– Зачем ты это сделал?

– Я люблю Киндееву.

– Но и я её люблю.

– Тогда ты умрёшь.

– О Господи, не убивай меня, Гринь! Умирать-то как не хочется, Гриша, ведь люди узнают о твоём злодействе. Клянусь, никому ничего не скажу, на Лигию добровольно уеду, никогда боле не встретимся.

– А Галю оставишь?

– Нет! Нет! Нет!

Тогда ты умрёшь, и никто ничего не узнает, никто ничего не видел.

– Узнают! Ветер нашумит, птицы прощепечут, трава прошепчет, листья прошелестят.

– Ха-ха-ха!!! Ты видно со страху ума лишился. Не узнают, никто ничего не узнает. Я тебя дольше всех искать буду, для виду по всему Тёмному Лесу буду бродить. А Галя? Она забудет тебя. Я к ней ходить начну, утешать её, о тебе разговаривать, потом женюсь, и уйдёшь ты из её жизни и памяти. Меня она будет любить и целовать, мне детей нарожает. И будут они не рыжие и конопатые, а такие же красавцы, как я.

– И такие же подлецы, как их отец. Яблоко от яблони далеко не падает. Это ж надо, всё предусмотрел, всё продумал.

– Замолчи! Я тебе жизнь спас, я её и забираю, потому, как ты оказался слишком неблагодарным.

– Забирай! Убийца! Торгуешь тут своим героизмом, как купец. Тварь ты подлая! Предатель! Будь ты проклят! И пусть род твой будет проклят! Я каждую ночь буду являться к тебе и мучить твою совесть. Я буду.....

Он не договорил. С криком подскочил к нему Прокопов и ударил кинжалом в грудь. Затем зарыл

его, закидал камнями, сверху обложил хворостом. Ружьё почистил и спрятал на место.

Левшакова сразу не хватились. А Прокопов на другое утро уехал на базар. Только на четвёртый день забили тревогу. К Прокоповым пришла заплаканная Марфа Левшакова.

– Гринь, ты разве не ходил с Николой на охоту?

– Нет, мы с Сегидовым на базар ездили. А что?

– Да пропал он, уж четвёртый день, как нет его. – Ничего, тёть Маня, Никола – охотник опытный, вернётся.

Левшакова ушла, чуть успокоенная. Прошло ещё два дня. Станишники забеспокоились, начались нешуточные поиски. Прочесали весь Тёмный лес. В поисках участвовал и Григорий. Он осунулся и почернел от страха, что найдут тело и откроется его злодейское убийство. В душе он уже не раз пожалел о содеянном.

– Смерть не страшна, позор и проклятья – вот что ужасно. Уж лучше бы я согласился с Николой Фариду украсть, рядом с такой красавицей и Галя бы, может, забылась, – думал Прокопов.

Наконец поиски прекратились. И лишь Прокопов днями и ночами пропадал в лесу. Возвратится, зайдёт к Гале и снова в лес. На её молчаливый вопрос отвечал отрицательным кивком головы. Наконец и он прекратил поиски. Полгода Киндеева не появлялась на вечёрках и посиделках, и всё это время Григорий не прекращал посещать её. Придя как-то вечером к Киндеевым, он повёл такую речь:

– Мне неудобно говорить, Галя, ведь я друг Левшакова, на себе вынес его из-под турецких пуль и сабель, однако за последнее время я очень привязался к тебе и понял, что люблю тебя. В общем, со-



гласна ли ты стать моей женой? Я не тороплю тебя, понимаю твоё горе, когда надумаешь, скажешь сама. Думаю, что наша общая память о Николае не разъединит нас, а свяжет навсегда.

Не навязчиво, но упорно Прокопов добивался согласия Киндеевой на свадьбу, и, наконец, получил его.

– Я согласна, Гриша. – сказала однажды она, – но сразу забыть я Николу не смогу, так что не вини меня и не упрекай.

– Что ты, Галя, мне и в голову такое не приходит, ведь я его друг, мне тоже трудно забыть Левшакова. Нам вдвоём будет легче перенести эту утрату. Так и поженились они. Горячая любовь Григория, его доброта сделали своё дело, и образ Николая постепенно забылся.

Почему это всё вспомнилось Григорию? Да потому, что именно сейчас они находились на месте убийства, близ могилы Николы. Вот и он, знакомый холмик. Тишина кругом. Но что это? Трава на могиле пошла кругами, и послышался шёпот:

– Ты убил, ты убил.

И кукушка кукует, словно выговаривает:

– Ты убил, ты убил.

Ветер в ушах шумит: – Ты убил, ты убил.

С испугом глянул убийца на жену, но та, занятая сыном, ничего не замечала.

– Галя! Ты всё ещё помнишь Левшакова? – спросил он, когда они отошли подальше.

– Знаешь, я теперь сама не понимаю, как я могла предпочесть его и не замечать тебя. Разве можно сравнить тебя, стройного и красивого, с красноносым Николаем.

Григорий злорадно рассмеялся, не выдержал и рассказал ей всё о том, как убил друга, об их по-

следнем разговоре. Лицо жены потемнело и посуровело. Молча шла она всю дорогу. Наконец вошли Прокоповы к себе во двор. Жена встала на крыльце и загородила дорогу мужу.

– Ты сейчас же пойдёшь и всё расскажешь атаману.

– О чём? – испугался Григорий.

– Не прикидывайся дураком, о своём злодействе расскажешь.

– Ты что, Галя, у нас же дитя растёт.

Он сделал попытку войти.

– Куда!? Вон отсель, убийца! Ты что же думаешь, смерть Николы на моём дите проклятьем лежит, а я тебя целовать и миловать буду, детей тебе рожать? Иди и искупай это убийство.

– Как же так, Галюша, ведь ты сама говорила, что любишь меня сильнее, чем Левшакова.

– Говорила, ибо не знала о твоём подлом убийстве. Так ты идёшь, или нет?

– Не пойду. Что я, дурак, что ли? Сам себя таким позором покрывать. Да меня казаки шашками посекут и куски собакам скормят, или на деревьях раздерут, так всегда с предателями поступали.

– Тогда я пойду.

– А я тебя не пущу.

– Ты!? Да я тебя и не спрошу.

Она повернулась и пошла к выходу.

– Галина! Стой! Стой, говорю!

Прокопов кинулся в хату, сорвал ружьё с ковра. Жена уже взялась рукой за калитку.

– Стой, Галя, стрелять буду!

– Стреляй, подлец, тебе не привыкать, убивец проклятый, невинные души губить, будь ты проклят во веки!

– Замолчи!

– Не замолчу, всё расскажу!



Не целясь, выстрелил Григорий в грудь женщины. Та ойкнула, схватилась за калитку, медленно осела на землю, затем рухнула, распластав руки.

– Ну вот, Коленька, и искупила я своей кровью твою смерть, нету более проклятья на моём дите, – сказала она и испустила дух.

На крыльце криком кричал сынишка.

– Иди к бабуле, сынок, скажи, батька мамку убил, – приказал ему отец.

Сын с криком бросился вон. К хате уже бежали соседи. Григорий спокойно перезарядил ружьё, подошёл к жене.

– Прощай, любовь моя, жаль, что на том свете мы не увидимся, ты попадёшь в рай, как невинно убиенная, а мне гореть в аду. Он заплакал, рыдая, прижал к груди голову любимой и расцеловал её, затем скинул сапог, взял дуло в рот и ногой нажал на спусковой крючок. Раздался ещё один выстрел, и убийца распластался вместе с женой. Правду люди с трудом узнали из детского лепета трёхлетнего сына.

Какое бы преступление не совершил человек, самый большой грех – лишать себя жизни. Без ропота снеси всё, что пошлёт тебе Господь, дабы заслужить его прощение. Нет грехов не прощённых, есть грехи нераскаянные. И Иуду простил бы Иисус, раскайся он в содеянном и попроси прощения.

Сила любви

с. Московское

Если ехать на запад от Ставрополя, то в верстах в четырёх от Русского леса начинается спуск в балку, где при речке Московке находится село Московское. Стояли, говорят, в Петербурге два полка: гре-

надёрский Смоленский и гвардейский Московский. Московским командовал полковник князь Трубецкой, а Смоленским – подполковник князь Оболенский. Постоянно боролись они за первенство, и подогревалось это соперничество старой враждой двух родов Гедеминовичей и Рюриковичей. Императором был тогда Павел. И вот, в день его именин на Петров день князь Трубецкой задумал каверзу и привёз в Смоленский полк две бочки вина. Не знал он, что точно такая же идея пришла в голову князю Оболенскому. Только привёз он в Московский полк бочку водки. Велика была ярость Павла, когда на следующий день оба полка были в стельку пьяными и не смогли участвовать в параде.

– Смоленскому полку отшагать на восток три тысячи вёрст и встать на вечное поселение селом Хмелёвским вместе с офицерами и князем Оболенским. Московскому полку также в полном составе и порядке отшагать тысячу вёрст на юг также с командиром полка и встать селом Московским. Так появилась крепость Московская и село вокруг неё. За время своего существования она дважды становилась станицей и селом. Дворяне-то при Александре¹ вернулись в Петербург, и царь навсегда раздел их, определив им место службы далеко друг от друга. Первые гвардейцы – солдаты были зачислены в казаки в 1782 году, а в 1826 переселены в станицу Барсуковскую. На их место быстро поселились крестьяне. В 1832 году в разгар Кавказской войны крестьяне были снова зачислены в казаки, а в 1864 году переведены в гражданское состояние, в коем находятся по сей день. Село находится в глубокой, тёплой балке, поросшей лесом. На юго-западной её стороне расположена гора, в которой имеются пещеры, доходящие, говорят, сначала до хутора Русского, а потом до Ставропольской крепости и далее



идут к Стрижаменту и селу Александровскому. В прежние времена обитали в них дикие лесные люди лешаки. Шли годы, забывалась тяжёлая Кавказская война, село Московское оказалось в далёком тылу. Жила в нем в то время пара молодожёнов Негодных: Николай да его супруга Надежда, и любили они друг друга необыкновенной, можно сказать, сказочной любовью.

Кто знает силу любви, её меру? Любовь подвигает человека на героизм и предательство. Любящий человек может творить и добро, и зло. А двигает его помыслами одно и то же чувство. Сколько преданий и рассказов, страшных и весёлых, добрых и мрачных рассказывают люди про влюблённых? Вот и в этом сказе пойдёт речь о любви Надежды и Николая. Любили же они друг друга так, что и минуты один без другого прожить не могли, и с годами это чувство не затухало, а всё усиливалось.

Как-то зимой засобирался Николай в степь за соломой на дальнее токовище, ну и Надежда, само знамо, с ним собирается. Матушка Николаева ворчит, с ней они жили, а им хоть бы что, смотрят друг на друга да улыбаются. Зима стояла тихая, спокойная, морозная, однако всем известна наша ставропольская норовистая погода. Одевались они не шибко крепко, ехать всего-то три версты, чего же на себя сто одежек наперяхтивать. Вот эта беспечность и сыграла с ними злую шутку. Когда подъехали к скирду, с запада начала надвигаться страшная чёрная туча. Ветер усиливался. Только набили сани, разразилась яростная зимняя гроза. Яркие молнии бороздили небо. Все скрылось в косых струях дождя. Первое время вода как губкой впитывалась снегом, но вот сугробы перестали

принимать её. Грязные потоки забурлили по оврагам. Образующиеся лужи быстро застывали, покрываясь ноздреватым льдом, потом снова водой и опять замерзали. По дороге катились валы грязи вперемёжку со снегом, по которым по колено брели быки. Кто ездил на них, тот знает, сколь медлительны эти животные, но не дай Бог обидеть, избить их. Обидчику бык припомнит обиду и через несколько лет. На спинах животных образовалась ледяная корка. Ветер становился тише, но холодной. Его жгучие порывы пронимали, казалось, до костей. Негодины промокли насквозь. Вдруг крупными хлопьями повалил снег.

– Я замерзаю, Николенька, – простонала Надежда.

– Зарывайся до сухой соломы, Надюшь.

– Не могу, Коль, руки не гнутся.

Николай начал разрывать солому, пока не дошёл до сухой и запрягал в углубление жену, прикрыв её сверху. Сам залез по одну сторону дышла, ухватился за него, и, греясь о бок быка, брёл рядом до самого дому. Здесь он кое-как, ползком добрался до окна и начал скоблиться в него замерзающими пальцами. Выскочившая мать с трудом затащила сына в хату.

– Надюху вытащи из соломы, мам, замёрзнет.

Свекровь оделась, выскочила на улицу, разрыла невестку, затащила и её. Ноги и руки женщины негнулись.

– Растирай её чихирём, мам, и я сам разотрусь. Он торопливо разделся, растёрся, одел сухую одежду и выскочил на улицу, где быстро распряг быков, убрал их в хлев, затем бегом кинулся домой.

– Ну что, мама?

– Да она без чувств, сынок.



– Давай рукавицы шерстяные, або носки, раздевай её донага.

Они раздели Надю, скинув мокрую, задубевшую одежду и начали растирать всю, макая рукавицы в теплый чихирь.

– Мамань, чеборочку завари, мёду достань, хай чуть кипяток охолонётся, горячего ей надоть подать.

Свекровь, охая, торопливо затопила печь, поставила горшок. Вода закипела быстро. Тогда она кинула в кипящую воду чабрец. Затем набрала глечик, поставила на подоконник остывать. Мало помалу Надежда пришла в себя.

– Холодно мне, Коленька, – прошептала она.

Николай с матерью одели её во всё сухое и чистое, на ноги натянули шерстяные носки, потом напоили чабрецом. Ночью невестка кашляла и дышала с надрывом. Её то бросало в жар, то знобило. И она тогда жалобно просила:

– Ой, холодно мне, Коленька, укрой меня.

Чуть погодя кричала, что ей жарко, скидывала одежду и просила пить. А спустя немного времени снова жалобно просила укрыть её.

– Господи, огневица прикинулась, горе-то какое, чего доброго, в чахотку перейдёт.

А у Надежды начался бред. Так пролежала она неделю. Тело её ослабло. И вот как-то пришла она в себя:

– Коленька! – тихо позвала Надя.

Негодин кинулся на зов жены:

– Чего, Надюша!?

– Умираю я, Коля. Сыночка нашего береги, если женишься, в обиду мачехе не давай. Батюшку зовите, исповедоваться, причаститься и собороваться хочу.

– Чего торопишься-то, Надюша, мабуть оздоровеешь?

– Оздоровею, нет ли, а батюшку зови.

Привели священника. Пока тот пришёл, больная снова начала бредить. Батюшка совершил все обряды над бесчувственным телом. Но перед смертью она очнулась. Рядом сидел Николай, плачущий навзрыд.

– Не плачь, Коленька, не плачь, мой хороший, один ты мне мил будешь и на том свете. Ох, а умирать-то как не хочется!

Она закрыла глаза, хриплое дыхание начало учащаться, на лице появился предсмертный румянец, сделав облик умирающей поистине прекрасным.

– Поцелуй меня, Коля, последний раз, – попросила еле слышно жена.

Николай кинулся к ней, рыдая, начал осыпать её поцелуями. Та обхватила его шею руками. Рядом стояла плачущая свекровь. По телу больной прошла дрожь, она вытянулась и затихла. Долго не могли отнять Негодина от остывающего тела.

Надежду похоронили. Вот уж год прошёл, а у Николая любой разговор с матушкой и соседями всё к умершей жене сводится. Мать поговаривает, пора мол, новую жену в дом привести. Сын же и слушать не о ком не хочет.

– Не нужен мне никто, я Надю люблю.

– Ну и люби, люби, только ведь дитю матушка нужна, я два века не проживу, о нём подумай.

Молчит сын, ничего не говорит.

– Надю люблю, – одно долдонит, и всё тут.

– Да ведь померла она, рази её вернёшь?

– Пусть, а я её каждую ночь вижу, разговариваю с ней.



Глянула мать на сына, головой покачала, а сама думает:

– Кабыть умом не тронулся, забыть жену никак не может. На него вон не только вдовы, а и девки молодые заглядываются. Женить его немедля надо, дабы жинку забыл. Начала следить за сыном, а сама к вдове Никитиной Марии бегаёт. Была та красоты редкостной. Вот и стали они сговариваться, как бы Николая оженить. Как-то старуха среди ночи глянула на постель сына, нет того. Оделась и тихо вышла во двор. Слышит разговор в палисаднике, сын с кем-то разговаривает.

– Господи! – ахнула про себя, – это же Надин голос.

Подкралась она поближе, глядит, сидит сын на скамеечке, а невестка у него на коленях и спрашивает.

– Любишь ли ты меня по-прежнему, Коленька?

– Ох! Люблю, Надюша!

– Знаю, милый мой, знаю! Только эта любовь и твоя верность дают мне возможность являться к тебе. Пойдём туда, ко мне, Коля. Там так хорошо, ни болезней, ни горя, одна радость и лёгкость.

– А как же сынок, Надя?

– Мы и его заберём.

– Жаль его, он же ещё и жизни не видел.

– Зачем ему такая жизнь нужна? Одни муки, а там останется он в вечном детстве, как ангелочек.

– Не могу я, Надя, боязно мне. И как я попаду к тебе? Ты-то в раю, а я? Не руки же на себя накладывать? Да и грех это, самоубийцы в рай не попадают.

– Не надо накладывать. Ты только захоти, поверь мне, и душа твоя сама полетит, не бойся ничего, дурачок. Ухожу я, Коленька, а ты подумай.

Крутнулся вихрь на том месте, и не стало невестки. Перекрестилась мать, спрашивает сына:

– С кем это ты разговаривал?

– С Надей, матушка, – ответил тот, как ни в чём не бывало, будто и не умирала она никогда.

– Да ведь умерла она, зачем же ты душеньку её тревожишь, грех это. Как же получилось, что она к тебе явилась?

– На могилку я каждую ночь ходил, всё просил, чтобы она хоть на минуточку явилась ко мне, вот она и пришла.

– Грех-то какой, сынок! Нечисто тут! Не могут мёртвые живым являться.

– А какой тут грех?

– Да где это видано, чтобы мёртвые с того света приходили? Не верь её уговорам, сынок, не Надя это. Бес подслушал горе твоё и искушает, является в её обличье. В аду тебе гореть вечным огнём и нам вместе с тобой. Тебе Надюша что наказывала? Сына беречь, а ты в ад его собрался отправить. Пожалей внучка, ангелочка невинного. Так уж Господь определил, сначала здесь на земле надоть отведённый нам век прожить, потом по делам своим в рай, або в ад отправляться. Надюша ушла из этого мира людски, она в раю, только там ты и встретишься с ней, а ты с бесом в ад устремляешься, ещё и сына думаешь с собой забрать.

– Что же мне делать?

– А вот мы испытаем её. Как она явится к тебе, ты и скажи, не веришь, мол, что она жена тебе. Скажи, чтобы больше не приходила, а то задом на калёную сковороду посадишь.

– Не могу я, мама, ведь сам позвал.

Долго уговаривала мать сына, кое-как уговорила. На следующий вечер вышел он в малинник, ждёт. Вот крутнулся вихрь, жена явилась.



– Здравствуй, мой ненаглядный! Как, надумал ли идти ко мне.

– Нет, не пойду я, не верю я тебе, не Надя ты. Иди и больше не приходи, на том свете вновь встретимся.

– Нет! Нет! Нет! Не хочу! Я не расстанусь с тобой, мой ты, без тебя не уйду, – она вцепилась в одежду Николая, глаза её загорелись диким нечеловеческим зелёным огнём.

– Повторяю, не пойду я, грех это. А что позвал тебя, так то мой грех, мне его и отмаливать. Может, ты ведьма. Может, ты вообще не жена моя, а бес в её обличье, а ну перекрестись? Неизвестно, куда ты меня зовёшь.

– Ты пойдёшь со мной? – зловеще прошипела жена.

– Крест наложи на себя, если не наложишь и не уйдёшь, вот возьму и посажу задом на раскалённую сковородку.

– Ох! – охнула Надежда и хлёстко ударила его по лицу.

– Подлец! Зачем тревожил душу мою, звал, покою не давал?

– Христос с тобою, – сказал Николай и перекрестил жену. Та завопила страшным голосом, лицо её превратилось в свинячье рыло, она захохотала и исчезла. Больше она не являлась. Лишь на щеке Негодина осталось родимое пятно, точный отпечаток руки бывшей жены. Вскоре мать привела в дом новую невестку Марию Никитину. Обвенчались в церкви, соседи собрались, песни попели, поплясали, счастья молодым пожелали. Потом дети пошли. За заботами стала забываться первая жена, и только там, где-то в глубине души остался холодный комочек тоски по ней.

Новое имя

Моёр

Рассказ

Психологи утверждают, что полное представление о человеке складывается в течение первых тридцати секунд знакомства с ним. Однако в момент знакомства со своим будущим отчимом Ксении уже с первой секунды стало ясно, как он ей не нравится. Звали будущего маминого мужа Владимир Владимирович. Он, хехекнув, так и представился, добавив:

– Почти Маяковский.

«Почти да не почти», – подумала Ксюша, окидывая скептическим взглядом нового члена семьи. И что мать в нем нашла? Усатый, носатый, смеется противно. Сыплет какими-то дурацкими шуточками. Впрочем, поначалу семнадцатилетней Ксении дел особо до отчима не было. «Делайте, что хотите», – решила она, тем более, что ее никто и не подумал спросить, жениться им или нет. У отчима с матерью была своя жизнь, у Ксюши своя. Она даже первое время старалась скрывать свою



**НАТАЛЬЯ
РОМАНОВА**

Проза





неприязнь к Вовану (так она окрестила «почти Маяковского»), но в дальнейшем ничего поделать не могла с тем, что с каждым днем он все больше и больше раздражал ее.

На поверку Вован оказался лихим товарищем, любителем приключений и авантюр. Маму, до мозга костей интеллигентную женщину, это только умиляло. Парочка представляла собой тандем «барышня и хулиган», только великовозрастный. А ещё больше всего раздражала Ксюшу в нем – полная безграмотность. Например, только в одном слове «майор» Вован делал кучу ошибок и писал «моёр», видимо, думая, что оно произошло от слова «моё». К слову сказать, сам Владимир Владимирович был майор в отставке. И Ксюша однажды, попросив у него военный билет, прямо тыкнула этими корочками отчиму в лицо, сказав сквозь зубы:

– Посмотрите, пож-жалуйста, как правильно пишется слово «майор».

И о чем может говорить с ним женщина, владеющая в совершенстве несколькими языками, – недоумевала Ксения, поглядывая на мать. Вован же, как ни старался понравиться, ничего у него не получалось. Он только больше отталкивал Ксюшу от себя. Но сильнее всего молодую особу раздражало то, что Вован был не дурак выпить. И если мама, на дух не выносившая алкоголь, разошлась с отцом Ксении по этой самой причине, то Вовану почему-то позволялось залить за воротник. И выходки Вована в алкогольном состоянии доводили Ксению до белого каления. Вован очень хорошо дрался и слыл большим авторитетом во дворе. Всё потому, что часто мог угостить выпивкой, и в случае чего защитить любого из своих друзей-собутельников.

Между тем отношения падчерицы и отчима не заладились. Ксении было жаль маму, которая по-

стоянно вытаскивала своего муженька из малоприятных историй, и чего скрывать, жалко и денег, отложенных на покупку навороченного компьютера и улетавших во спасение дружков Вована. Ксюша перестала разговаривать как с матерью, так и с отчимом.

– Надо что-то делать, – сокрушенно сказала Елена Васильевна за ужином. – Только что, ума не приложу. Ребёнок третьи сутки отказывается есть с нами.

– Да, – согласился Владимир Владимирович и усмехнулся: – Вот ты мне скажи, что ей сейчас хочется больше всего? О чем она мечтает?

– О чем мечтает? – Елена Васильевна задумалась. – О ремонте в своей комнате, о новом, хорошем компьютере мечтала... – Она многозначительно посмотрела на мужа.

– Ленусик, ну, хватит уже! Сколько можно! – вспыхнул тот. – Знаешь ведь, что во вторник в десять собеседование. Все шансы, что меня возьмут на ту работу.

– Вообще-то Ксюша всегда хотела съездить в Москву и побывать в Третьяковской галерее, – припомнила Елена Васильевна.

– Так давай устроим ей эту поездку! К тому же у меня там родственники живут, будет, где остановиться. И даже лучшая подруга моей тетушки – старый музейный работник, – Владимир Владимирович с гордостью произнёс это, словно сам был музейным работником, а не подруга тетушки. – А работает она именно в Третьяковской галерее.

– Ух, ты! – восхитилась жена.

– Так что, Ленулька, все будет по высшему разряду.

– Прекрасно! Но только преподнести Ксене это надо, как бы между прочим, не потому что мы за-



дабриваем ее, а то будем потом каждый раз заискивать. Скажем, поездка в Москву – подарок на окончание школы. Пусть съездит, развеется, а то скоро поступать в институт. Но вам придется ехать вдвоем. Мне никак. Не отпускают с работы.

Билеты из Новосибирска в Москву были только на воскресный ночной рейс. Елена Васильевна перед посадкой дала наставления обоим отправляющимся, сказала дочери, чтобы та ни на шаг не отходила от дяди Вовы и не грубила ему. Дядю Вову просили же об одном – не пить. И Ксюша, и Владимир Владимирович уверили, что будут вести себя прилично.

С самого начала поездки Ксюша вела себя довольно сухо, в ней стойко держалось мнение о никчемности Вована. Дядя Вова же, как ни в чем не бывало, шутил, балагурил и вновь рассыпал свои идиотские шуточки. Но теперь Ксюша уже терпимее относилась к его солдафонскому юмору. Всё-таки – Москва и Третьяковка...

– Вот обрадуется-то Агния Венедиктовна при виде нас! И Борис Андреевич тоже.

– А Борис Андреевич – это кто?

– Борис Андреевич Полицеймако – муж моей тётки. Интересный человек. Профессор!

У Ксюши при слове «профессор» округлились глаза от удивления.

– А Мишаня-то как от радости зайдется! – щебетал дядя Вова. – Мишанька – мой брат. Увидишь, какие это воспитанные, интеллигентные люди. Они в Москве своей каждый день по театрам ходят. И в библиотеки тоже. Каждый день.

Ксения почему-то думала, что их будут непременно встречать родственники дяди Вовы, но в Домодедово их никто не ждал.

– Неприлично им так рано звонить, – сказал дядя Вова.

– Конечно, неприлично, – согласилась, пожалуй, впервые с отчимом Ксюша, – в пять утра профессора будить.

Они зашли в кафе аэропорта, перекусили.

– Надо бы им какие-нибудь подарки купить, а то с пустыми руками неудобно, – предложила Ксюша, – и почему это вы с мамой не подумали об этом?

– Почему не подумали? Мы с Леной обговаривали этот вопрос. Я ей пообещал, что куплю родственникам презенты, как только прилетим в Москву, а чего таскаться-то с лишними сумками? Вот сейчас пойдём и купим.

Ксюша с отчимом направились в аэропортовые лавки, которые ломились от изобилия товаров. Накупив милых вещичек под руководством Ксюши, дядя Вова почувствовал непреодолимую тягу освоить винный отдел. Что он и сделал. Его глаза явно повеселели.

– Водовка, – наглаживал дядя Вова литровую бутылку. Ксюша презрительно фыркала.

Следующие два часа они, скучая в аэропорту, выжидали время. В восемь дядя Вова позвонил на домашний номер своей тёти Агнии Венедиктовны Полицеймако. В мобильном телефоне долго слышались заунывные гудки. Наконец раздалось человеческое «алло».

– Агния Венедиктовна, – bravo сказал дядя Вова, – доброе утро!

На той стороне, услышав это, казалось, не хотели выдавать своё присутствие.

– Тётя Агния, – повторил дядя Вова, подмигивая Ксении, – это я, ваш любимый племянник.

На том проводе упорно молчали, человеческая речь не возобновилась.



– Тётя Агния, вы меня слышите? Это Володя. Я в Москве. Скоро буду у вас.

– Нет! – почему-то взвизгнула Агния Венедиктовна.

Дядя Вова поначалу немного опешил, но потом повторил:

– Тётя Агния, это же я, ваш любимый племянник, вы слышите меня? Я в Москве, скоро буду у вас.

– Нет! – вновь громко заверещало в телефонной трубке. – Ещё раз говорю, нет!

– Ничего не понимаю, – пожал плечами отчим Ксении, – не узнала она меня что ли?

– Она, кажется, вас оч-чень хорошо узнала, – позлорадствовала Ксения.

– Сейчас разберёмся. Тётя Агния, это я, ваш племянник, Володя, сын сестры Людмилы. В гости к вам сейчас приеду. Не узнали меня?

– Узнала, Вовочка, узнала.

– Ну вот! А что я говорил. – Вован чуть вскинул голову, мол, смотри, Ксюша, с какими людьми сейчас будем иметь дело.

– Вовочка, но я тебя сейчас не могу принять.

– Как это? – искренне удивился Вован.

– А вот так, Вовочка, – запричитала Агния Венедиктовна, – лежу, болею.

– Что с вами?

– Сердце, милый мой, сердце.

– Да что случилось, тётя Агния? – всполошился Владимир.

– Так ты ничего не знаешь? От нас Борис Андреевич ушёл. Бросил нас на произвол судьбы. Нашёл себе девку какую-то молодую, а нас с Мишенькой бросил. – Агния Венедиктовна не в силах была сдержать слез.

– И как Мишаня? – спросил дядя Вова.

– Держится мой мальчик бедный. Он молодец у меня. А отец его козел.

Дальше последовал бурный мат, и Ксюша невольно отшатнулась от телефона.

– А сколько Мишане лет? – шепотом спросила она.

– На четыре года меня младше, – также шепотом ответил ей дядя Вова.

Значит, тридцать четыре, – сосчитала Ксюша.

– Тётя Агния, мы приедем вас проведать, – настаивал дядя Вова.

– В следующий раз, милый, в следующий раз. Не до гостей мне.

Агния Венедиктовна ещё чего-то говорила, жаловалась на здоровье, на своего загулявшего мужа, а потом и вовсе повесила трубку.

– Надо же, – сказал Владимир Владимирович, – а такая крепкая семья была, интеллигентная. Хотя, по правде сказать, Агния – стерва ещё та! Бедный Борис Андреевич. Почти сорок лет терпел эту дуру. Я бы от нее в первый же день сбежал.

– А Борис Андреевич сам-то что из себя представляет? – спросила Ксения, нервно зевая. – Может, зануда редкая.

– Да ты что! Борис Андреевич во какой! – Вован поднял к потолку два больших пальца. – Сейчас ему позвоним, он обрадуется. Знаешь, как меня любит.

– Звоните уже этому полицейскому. Какая у него смешная фамилия!

Владимир Владимирович быстро нашёл в своём телефоне мобильный Бориса Андреевича Полицеймако.

– Слушаю вас, – бодро ответил профессор.

– Борис Андреевич! Дорогой! Приветствую вас!

– Володя, ты?

– Он самый.



Отчим посмотрел на Ксению важно, показывая всем своим видом, что с первых аккордов узнаваем таким значительным человеком.

– Как поживаешь, старина?

– Все хорошо, Борис Андреевич. А как вы?

– О, я в раю, старина.

– Понимаю вас, Борис Андреевич, всем сердцем, – захихикал дядя Вова, – я только что с Агнией созванивался.

– Так значит, ты обо всем знаешь. Как я счастлив, старина, как счастлив, уж и не думал, что на старости лет такое счастье доведется испытать.

– Рад за вас, Борис Андреевич, искренне рад.

– Да? – растрогался Борис Андреевич. – А ведь меня многие осуждают, говорят тебе-то в твоём-то возрасте. А я, может, только сейчас жить начал.

– Понимаю вас, профессор, понимаю. Как все случилось-то?

– Ну, Володь, это с кондачка не расскажешь. Надо бы встретиться, посидеть, поговорить за рюмочкой хорошего коньячка. Родственники мы, в конце концов, или нет? Годами не видимся! Поразъехались, понимаешь, по всей России. Хорошо хоть вспомнил, позвонил, меня, старика, уважил, а то ни слуху ни духу. Давай выбирайся из своей Сибири хоть на денек.

Дядя Вова после такой тирады профессора аж засиял, как натертый до блеска самовар и подмигнул Ксюше.

– Так что давай приезжай, племянник, поговорить по душам. Не затягивай!

– Еду, – засмеялся дядя Вова, – ждите!

– Только ты, старина, заранее скажи, когда тебя ждать.

– А вот прямо сейчас и ждите. Я в Домодедово.

– Где? – неприятно удивились в трубке.

– В Москве! Сейчас приеду, вернее приедем. Я не один, с молодой девушкой, это дочь моей жены. Москву приехал ей показать.

– Ну... это... ну ты даешь, старина.... – Борис Андреевич почему-то после такого известия стал заикаться.

– Так мы едем? Куда? Какой адрес?

В ответ затянулось молчание.

– Понимаешь тут, какое дело, старина, – наконец ожил Полицеймако, – дело в том, что я ведь с недавних пор живу с молодой красивой женщиной. Ты не обижайся, старина, но пока, – подчеркнул слово «пока» Борис Андреевич, – пока я не готов принимать бывших родственников. Моя Милочка очень хрупкая, ранимая, у нее может быть нервный срыв

«Что за чушь? – пронеслось в голове у Ксюши. – Мы-то здесь при чем?»

– Я не собирался ни на кого нападать, – пожал плечами Вован.

– Давай, старина, когда все уляжется, приезжай, посидим где-нибудь в кафешке. А сейчас не могу. Не обижайся, старина. Бывай.

Вован даже не успел попрощаться со своим родственником, как в трубке послышались гудки. Видно было, что он опешил, но тут же собрался и, словно ничего не произошло, молвил:

– Никакой он, кажется, не профессор. Это так его мы называли. Ну чего нам к нему ехать? Чего он нам может рассказать такого, чтобы мы не знали?

Ксюша молчала. Дядя Вова на сей раз упал в ее глазах ниже плинтуса. Самый настоящий придур, с большой буквы.

– И куда мы теперь?

– Мишане позвоню. К нему поедем. А родители его совсем под старость сдурели. Своего же род-



ственника на порог пускать не хотят. Родную кровиночку!

– Неспроста, наверное, – съязвила Ксения.

Брат Мишаня тоже далеко не с первого раза взял трубку.

– В гости? – истерично закричал он. – Да пошёл ты подальше! Чего? Родственник? Да я знать такого родственника не желаю! Ты в прошлый раз что натворил? Не помнишь? Так я тебе сейчас напомним! – двоюродный брат принялся перечислять «боевые подвиги» дяди Вовы, однако тот поспешил отключить телефон.

– Съездили в гости, называется. Прием нам оказан великий. Как псов бродячих гонят прочь, – начинала распалиться Ксения, – я вот сейчас маме позвоню и все ей расскажу, как нас тут привечают. Обцеловали, скажу, со всех сторон.

– Да будет тебе, Ксюша! Честно сказать, это наше счастье, что мы к ним не попали. Так бы утомились, поверь мне! У них же скукота.

– Да неужели? – взметнула Ксения бровь. – А недавно вы мне совсем другое «гнали».

Дядя Вова стоял с виноватым видом, опустив голову. Ксюше даже стало жаль его.

– Ну, бей меня! Я-то в чем виноват? Хотел как лучше.

– Походу, визит в гости отменяется, – подытожила девушка, – а в Третьяковку?

– Да ты что? Третьяковка – святое. Как нас туда могут не пустить? Там таких дурней нет, как эти Полицеймако. Слушай! – вспомнил дядя Вова, – у Агнии подруга в Третьяковке. Давай позвоним тетке, пусть она договорится...

– Ну, уж нет! Звонить Агнии я больше не позволю! Хватит унижаться.

Ксюшу с детства окружали рассказы о Третьяковской галерее. Во время войны в семнадцати вагонах коллекцию из Москвы доставили в далекий Новосибирск, и всю войну она пребывала там. Бабушка Ксюши была одной из тех, кто следил за сохранностью картин вплоть до 1945 года. И девочка, слушая интересные бабушкины повествования, мечтала прикоснуться хоть одним взглядом к шедеврам мирового искусства.

– Подскажите, где вход в Третьяковскую галерею? – обратилась Ксения к старичку с тростью, когда они оказались в Лаврушинском переулке, у здания галереи.

– Сегодня вы-ход-ной, – по слогам произнёс старичок.

– Вы-ход-ной? – тоже по слогам, как эхо, повторила Ксения, не мигая уставившись на старичка.

– Да-с, – подтвердил старичок и зашагал дальше.

Ксюша посмотрела на отчима. Дядя Вова, стараясь не встречаться с ней взглядом, обречённо моргал.

– Вы слышали? – с ненавистью произнесла падчерица. – Выходной!

– Не переживай, Ксюша...

– Что? – взревела девушка. – Не переживай?

– Тише, Ксюша, тише. Люди ведь смотрят. Чего ты разошлась? Ну, выходной. Им ведь тоже нужно отдыхать. Картинам-то. От посетителей, – понес какую-то нелепицу дядя Вова.

– Нет, вы не идиот. Вы, – задохнулась она, – вы придур! Самый настоящий придур. Вот вы кто.

– Ну, заладила! И словцо-то какое обидное подобрала... Ладно бы придурок, а то придур... Не кипятись, сейчас попробуем договориться.

Но Ксения, махнув рукой, зашагала прочь. Отчим догнал ее и развернул в сторону входа в Третьяковскую галерею.



– Сейчас я все устрою, – пообещал он, – где наша не пропадала?

Они подошли к заборчику.

– Ну? – спросила Ксюша и, поставив пакет возле ног, встала в горделивую позу, скрестив руки на груди, как Третьяков на памятнике.

– Сейчас все будет в ажуре!

Для начала дядя Вова подергал ворота. Но стоило ему сделать только пару движений, как показался охранник, причем с автоматом.

– В чем дело? – грозно спросил он.

– Нам бы картины посмотреть.

– Завтра приходите. Выходной сегодня.

– Завтра мы не можем, – стал пояснять дядя Вова, но охранник даже не стал слушать его. – А с кем можно переговорить на эту тему? – вопрошал несчастный, глядя в спину удаляющемуся блюстителю спокойствия.

Дядя Вова с досады стукнул кулаком по кирпичному столбику.

– Но-но, поосторожней! – взъелась на него падчерица. – Нашли где руки чесать.

«По башке своей постучи, дурень!» – так и хотелось сказать Ксюше, но она сдержалась.

– Куда мы теперь?

– Не знаю, – вяло произнесла девушка.

– А давай в зоопарк, – оживился дядя Вова.

– Чего я там не видела, – зевнула Ксюша, – к тому же у меня личная обезьяна имеется, – ухмыльнулась она. – Нет, в зоопарк мы не пойдём. Давайте лучше сходим в театр.

– Куда? В театр? Ещё чего? Чтобы мужики меня обсмеяли? Смешнее ничего не могла выдумать?

– Ну, если вам по театрам ходить смешно, то я не знаю...

– Пойдём в Кремль, – предложил дядя Вова, на что Ксюша благосклонно кивнула.

Они направились в сторону метро. Но и сходить в Кремль им не удалось, так как полил дождь, и пришлось спасаться от него, юркнуть в кинотеатр.

Несмотря на утро понедельника в фойе кинотеатра были посетители. После того как дядя Вова купил две порции попкорна, они с Ксенией прошагали в зрительный зал. Фильм, который им предстояло смотреть, назывался «Поп». Ксюша была услышана про этот фильм и даже подумала, что как-то некрасиво есть попкорн при просмотре такого серьёзного кино, поэтому стала спешно поглощать содержимое стаканчика. Дядя Вова же почему-то думал, что фильм будет развлекательным.

– Почему развлекательным? – удивилась Ксюша.

– Название смешное – «Поп»... гы-гы... – засмеялся Вован.

– Дядя Вова! Вы в своём уме? Это же про войну фильм! Серьёзный!

– Серьёзный, говоришь, – дядя Вова задумался, – а ну, дай пакет.

– Это ещё зачем?

– Дай, говорят!

В этот момент в зале погас свет. На экране сначала появилась реклама новых фильмов, после чего настал черед и самого «Попа».

– Куда стаканчик дела? – услышала Ксюша над ухом шепот отчима.

Ксения с недоумением протянула дяде Вова пустой бумажный стакан из-под попкорна. Дядя Вова деловито налил в него водки.

– Ну, за серьёзное кино!

Ксюша даже не успела моргнуть, как дядя Вова опрокинул стаканчик.



– Вы обалдели, что ли? Это же кинотеатр, а не ваша стекляшка-забегаловка, – гневно прошептала Ксения.

– Тсс, – поднес палец к губам дядя Вова, после чего закинул в рот горсть попкорна.

– В Москве, в кинотеатре, это ж надо такое вытворять!

– Смотри, не отвлекайся! Кино хорошее.

Фильм и впрямь захватил Ксюшино внимание, что было явно на руку дяде Вова. Он время от времени прикладывался к бутылочке, закусывая воздушной кукурузой.

– Какая Усатова органичная.

Эта фраза, произнёсенная Вованом, сильно удивила Ксюшу. Она перевела свой взгляд с экрана на отчима.

– Э... Да вы нарядный! – воскликнула Ксения, с укоризной посмотрев на бутылку, в которой водки было до половины.

– Хороший фильм. Не мешай смотреть!

Дядя Вова делано устался на экран. Время от времени он смеялся невпопад, а потом и вовсе принялся комментировать фильм:

– Вот куда она, дура, в снега попёрлася?

– Тише вы! Кому сказано, тише! – шипела Ксения, но от этого дядя Вова ещё больше распалялся.

– Не горюй, дочка! Выживёт она. Это у них ход такой. Трюк. Напугать зрителя. Все хорошо кончится, вот увидишь! Это тебе я говорю. Знаток человеческих душ.

– Угораздило же этого знатока мне на голову свалиться, – злилась Ксюша, – молчите, прошу вас!

А голос дяди Вовы все громче и воинственнее звучал в зрительном зале. Вскоре с соседних мест посыпались замечания.

– Это ты кому, барбос, сказал? Поттише? Мне, что ли? Нет, это ты мне сказал? – Дядя Вова выбрасывал слова в соседний ряд солидному мужчине в очках.

– За-мол-чи-те! – Ксюша была вне себя от ярости.

– А чего он?

– Дядя Вова, не бесите меня!

– Да чего я такого делаю?

– Да вы всем смотреть фильм мешаете. Сидите смирно!

Дядя Вова тем временем снова отвинчивал крышку. Ксюша пришла в ужас.

– Дайте сюда! – Она схватилась за бутылку. – Со-всем уже ничего не соображает! Вы в общественном месте. В столице, понимаете! В сто-ли-це.

– Как бы не так, – ухмылялся Вован.

– Я вас сейчас бутылкой врежу!

В перетягивании, разумеется, победил Вован. Он резко выхватил бутылку из рук Ксении и стал жадно пить водку из горлышка. Ксюша смотрела на дядю Вову как на дикое существо. Стыдобища-то какая....

Когда они вышли из кинотеатра, дождь уже закончился. Дядя Вова окосел окончательно. То он задирался к прохожим, явно ища повод почесать кулаки, то он был с ними до крайности любезен. То вдруг дяде Вова приспичило узнать о жизни московских таксистов, и они, поймав такси, битых пару часов ездили по столице, вернее стояли в пробках, где дядя Вова учил водителя ездить правильно. В метро совершил попытку прокатиться на перилах эскалатора и кричал:

– Слалом! Слалом!..

– Хватит неандертальничать, – взмолилась Ксюша.

В конце концов, намотав несколько кругов ада, Ксения с огромными трудностями доставила дядю



Вову в Домодедово, где он, растянувшись на сидении, храпел сильнее, чем ревели взлетающие самолеты.

Владимир Владимирович очухался только в самолете, да и то к концу полета.

– Где мы?

Ксения молчала. Она думала только о том, когда же закончится этот кошмар, считая минуты до приземления.

– Матери не говори, а? – жалобно попросил отчим, понемногу приходя в себя. – Попить ничего нет?

Даже если Ксюша ничего бы не стала рассказывать маме, не составляло труда определить по дяде Вове, что по музеям он точно весь день не хаживал. Взъерошенный, в облитой пивом рубашке, с ссадинами на лице и руках, потому что периодически падал, и, самое главное, с полным отсутствием присутствия во взгляде.

– Не говори, прошу, – ещё раз попросил отчим.

В аэропорту Толмачево Елена Васильевна, увидев прилетевших из Москвы дочь и мужа, не сразу поняла, что случилось. Дочка, в которой росту было кот наплакал, за что и прозвали ее с детства кнопочкой, шла со стальным лицом закаленного боями воина. Муж, мало походивший на человека, ковылял чуть поодаль Ксении. На вопрос Елены Васильевны, что случилось, он стал судорожно рыться в сумке, доставать подарки, которые предназначались его родне, и всучивать их супруге. Ксюша зловеще молчала.

– Что произошло? Отвечайте немедленно! Где вы были?

– В зоопарке, цирке, балагане, – стала перечислять Ксения, загибая пальцы, – хорошо, что до борделя не дошли. А! И до родственников тоже.

Глаза Елены Васильевны стали такими же круглыми, как солнце в ясный день и такими же горящими. Дядя Вова, как побитая собачонка, жался к сумке. И вдруг Ксюше стало его жаль. Он ведь действительно хотел как лучше. А родственники? Ну не паразиты ли? Взять так отфутболить человека и ее, Ксюшу, заодно....

На следующее утро у Владимира Владимировича было собеседование о приеме на работу. Чуть позже стало известно, что его берут, хотя и не на ту должность, на которую он рассчитывал. Это дело решили в семье отметить праздничным ужином. Ксюша, конечно же, не отошла ещё от поездочки в Москву, но кошмар понемногу стал уходить в небытие, поэтому она даже изредка перекидывалась с отчимом словами. Маме она ничего не рассказала, чтобы не расстраивать, да и вспоминать о случившемся лишний раз было неприятно. В самый разгар праздничного ужина раздался телефонный звонок. Звонили дяде Вова по мобильному.

– Володя, здравствуй! – услышался голос двоюродного брата Мишани.

– Пошёл ты, – спокойно сказал дядя Вова и нажал отбой. Лицо Елены Васильевны вытянулось.

Через пару минут история повторилась.

– Да выслушай меня! – кричал в трубке Мишани, на что дядя Вова не только сбросил звонок, но и незамедлительно поместил номер московского брата в «чёрный список».

Через пару дней по возвращении Владимира Владимировича с работы, его дома ожидал сюрприз. На кухне Ксения поила чаем с черничным вареньем братца из далекой Москвы.

– Пошёл вон! – рявкнул дядя Вова на брата. – Во-он!



Дядя Вова был вне себя от гнева.

– Сними проклятие! – кинулся гость в ноги Вовану.

– Чего–о?

– Сними, умоляю!

– Чего ты мелешь? В своём уме? Какое проклятие?

– Сними, прошу, сними, Христом Богом прошу!

Дядя Вова недоумевал. Тогда Ксения принялась объяснять, в чем дело. Оказывается, после того, как они побывали в Москве, где их не пустили родственники, у Агнии Венедиктовны на следующий же день дотла выгорела квартира. По счастливой случайности она в тот момент оказалась в поликлинике. А через день у Бориса Андреевича произошёл несчастный случай, он упал с высокой ступени и сломал себе обе шейки бедра. А возлюбленная сбежала.... И у Мишани начались неприятности на работе, в личной жизни и даже со здоровьем.

– Сними проклятие, брат! Сними, – твердил родственник.

Дядя Вова хитро посмотрел на Ксению, а она даже ему подмигнула.

– Встань на середину кухни, – приказал Владимир Владимирович брату.

Мишаня растерянно встал.

– Дочка, возьми мел и очертки-ка дядю Мишу кругом.

Ксюша повиновалась. Она рисовала круг, еле сдерживаясь от смеха. Дядя Вова закрыл глаза, сосредоточился и неожиданно устремил руку с растопыренными пальцами в сторону брата:

– Снимаю!

Там, где светло и просто

У печки бабушка хлопочет,
а над огнем котел лопочет,
и вьется сизо-красный свет.
Скрипит разошедший буфет.

А дед, усевшись на кровати,
сбивает кадку молотком.
Ленивый, старый кот кудлатый
у ног моих лежит клубком.

А за окном бело, морозно;
блестит алмазная парча...
Как было мне светло и просто,
когда, проснувшись в ранний час,

я видел бабушку у печки
и слышал дедов молоток
под бой часов – такой беспечный,
под милый мамин говорок...

О чем шумела рожь

*Маме – Анне Александровне
Арефьевой*

1. О чем шумела рожь, когда
на Родину пришла беда?

О чем шептались леса,
чужие слыша голоса?

О том шумели и шептали:
зачем родимые их сдали?

Трезвонили колокола:
"Война пришла! Беда пришла!"



**СТАНИСЛАВ
КАСПЕРСКИЙ**

Поэзия



2. Мама вздрогнула, мама вздрогнула,
уронила на пол письмо.
И не ойкнула, и не охнула,
но в глазах ее стало темно...

Отошла... У окошка присела
и рукой о стол оперлась
и на нас, несмышленных, смотрела,
долго-долго смотрела на нас.

3. Исчезают окопы... Даже тропки здесь нет,
Где торили подковы свой безжалостный след.

Ряд холмов порыжелых да осины вдали.
Шорох листьев сопрелых, горький запах земли.

Замирает и стынет в сердце боль о былом:
где-то здесь на равнине – прах отца под холмом.

Разнотравья приволье

Разнотравья приволье...Через вымытый ров
я гоню с водопоя стадо пестрых коров.

Вот медлительный, тощий дед встречает меня,
важно лоб свой наморщил, понукает коня.

Он кричит мне: “Эй, Сташек! Я пекишек привез.
Испекла бабка наша. Есть, чай, хочешь до слез?”

А потом у обрыва мы сидим на тропе.
Дед с обидой надрывной говорит о себе.
Золотистое поле и кустов купина.
За сквозною стодолой колокольня видна.

Тереблю холку карего. Деда боль – не своя.
Где-то там, в синем мареве, жизнь большая моя.

Очередь за хлебом

Я помню очередь за хлебом.
Я в ней томился и молчал.
Кусочек голубого неба
в оконной раме замечал.

Я прижимал к вискам ладони,
толпой зажатый, как доской.
Как стригунок на перегоне,
смотрел по сторонам с тоской.

Я окунался в созерцанье
прилавка, полок, продавщиц.
Смотрел на легкое мерцанье
ножей, и рук, и женских лиц.

Дразняще пахло свежим хлебом.
Сжимала карточки рука.
Кусочек голубого неба
манил меня издалека.

Бывало

Рассказывал сосед:
– Бывало,
злом за добро жизнь воздавала,
но я работал день-деньской
то колуном, а то косою...

Подправив старую хибарку,
старик крутил себе сигарку,
садился рядышком в тени
и вспоминал былые дни.

Со мной он толковал как с ровней
о жизни, прожитой неровно,



о Троцком, церкви, о войне,
о русской милой старине.

Он вспоминал тайгу не часто.
А вспоминал – не безучастно.
И все твердил, что не поймет,
за что там мучился народ.

Он говорил:
– А знаешь, все же
в Колымской, Сташек, стороне
еще и ближе и дороже
места родные стали мне.

Золотое детство

Одарило детство золотое
дедовской похлебкой с лебедою,
кителем с плеча отца родного,
перешитым ниткой суровой.

А еще мне детство подарило
черные из бузины чернила,
крепкие сиротские ботинки,
дружбу с урками на черном рынке.

Золотое детство не грустило:
жил я тем, что в жизни нашей было –
слетами, походами, кострами,
собранными в поле колосками.

Детство мое плыло и уплыло,
но оно меня не обделило
пониманьем жизни и людей,
чувством сына к Родине моей.

Моя поэзия

У поэзии тайная сила,
Что волнует порою до слёз.
Я с любовью частенько шутила,
Но стихи сочиняю всерьёз.

Я душой никогда не кривила,
Разбавляя свой крик тишиной;
За поэзией в небо ходила,
И спускалась под землю порой.

И она, моё сердце терзая,
Вырывается, просит: «Уйди!»
То ли это подруга плохая,
То ли свет, что ещё впереди.

Горизонт

Взойдёт окраина села
Вратами радужной погоды.
Не пожалею эти годы,
Что добрым людям отдала.

Но что же нужно мне самой?
Хочу до усталости, до боли,
С утра до ночи светлым полем
Идти до кромочки земной.

А горизонт зовёт, зовёт...
И отдаляется без меры.
Я столько лет живу без веры.
Она сама меня найдёт...



**НАТАЛЬЯ
ОКЕНЧИЦ**

Поэзия





Осень-колдунья

Порой уютно на Земле
В ладонях осени-колдуньи!
Дыханье трепетных петуний
Ложится пряностью на хлеб.

Но так охватывает грусть,
Когда протяжно дует осень
И, завораживая, просит:
«Вернись...» Я запросто вернусь.

Мои стремительные дни
Тасует осень, словно карты.
Рассветы, полудни, закаты –
Как перемешаны они!

Стылая черешня

Мороз и ветер за окном.
Цветет до времени черешня,
На этом свете безутешном,
Где воют волки за селом.

Вдвоём напали на одну –
Мороз и ветер непогоды.
А в бесконечном небосводе
Сменилось солнце на луну.

Черешня всё перенесёт.
В корнях уже достаток силы.
Её бы только не спилили
Со зла в неурожайный год...

Утрата

Распустило лепестки утро.
Солнце к полудню пчелой жалит.
Называли старика мудрым.
Только душу на прокат дали...

И покинула душа тело.
Ветер жалобно завыл в поле.
И нотариус завёл дело,
И наследникам раздал доли.

Неужели это всё, люди?
Кто поставил на судьбе крестик?
Потянулись чередой будни.
А хотелось быть всегда вместе!..

Увидеть прошлое

Я беспокойный человек...
Вчера весь день жила мечтами.
А мне бы в прошлое побег
Устроить, – полетать с орлами;
Увидеть прежний Казахстан;
Любимых: маму, папу, братьев;
Украсить маленькое платье:
В карманчик, положив тюльпан.

Айгюль – подружку отыскать.
Приличия нарушить знаки:
Обнять её и громко плакать.
И выкрасть школьную тетрадь
У времени, что жадно прячет,
Как злой волшебник под горой,
То, что потеряно судьбой:
Простые школьные задачи.



Доверие

Моя жизнь пронеслась со свистом.
То ли явь, то ли сладкий сон...
Доверяла её таксистам
На загруженной трассе «Дон».

Доверяла врачам и скальпелям,
Доверяла учителям
И случайным мужчинам, мальчикам,
И заснеженным поездам.

Доверяла, казалось, многим.
Но, поверьте, в тяжёлый час
Доверяла, всецело, Богу.
Доверяю ему сейчас.

Разрыв

Ты окликнешь вдогонку: «Постой!»
И попросишь вернуть своё счастье.
Я отдам только белое платье,
Что моей обернулось бедой.

Не настанет привычный покой.
Наступили на сердце жестоко.
Ничего... Поживу одиноко,
А потом пожалеет другой.

И затянется времени бег.
Будет день начинаться со вздоха,
Если мне так отчаянно плохо, –
Как же плохо должно быть тебе?!

И снова осень стынет на дворе.
 В полях кубанских затерялось
 лето.
 И слышно, как на утренней
 заре
 Курлычут журавли в тумане
 где-то.
 Мне осени сырая тишина
 И листьев опадающих
 круженье
 Нужны, когда, отрадою полна,
 Душа жива надеждой на
 везенье.
 Скорее я иду тогда на луг.
 В реке камыш дрожит в
 слепом ознобе.
 Я жду, когда ко мне заглянет
 друг,
 И все тогда людской прощаю
 злобе!..



**АНАТОЛИЙ
 ШЕВЯКИН**

Поэзия

Первый снег!
 Желанный, невесомый,
 Я не вор, чтоб заметать следы,
 Незаконный сын родного дома,
 На границе счастья и беды,
 Как и ты – я прост и чист
 душою,
 Отчего ж тогда в душе тоска?..
 Схожа с моей песней и судьбою
 В поворотах яростных река.
 Но я верю: двери первой хаты
 Впустят меня в доброе тепло.





Жизнь! – Она и плата,
И расплата:
Сердцу больно,
А глазам – светло...

* * *

Дорога вся обледенела.
Взошла луна и ветер стих.
Я равновесье то и дело
В пути теряю каждый миг.
Вот посветлело хоть немного,
Скольжу,
 как будто на коньках.
...Крутая отчая дорога
Легка на первых лишь порах.
До хутора верст десять с гаком!
Идти немало, как ни кинь! –
Вдруг ноги – врозь. И как в атаку
Бросаюсь в ледяную стынь.
И вновь вставай, не хнычь напрасно,
А вспомни, как тогда, весной,
Тебе казался он прекрасным,
Путь в город к жизни заводской,
Теперь, пожив на свете много
И задубев на всех ветрах,
Открыл: легка лишь от порога
Слепая дерзкая дорога! –
Назад же – труден каждый шаг.

* * *

Знать, навек со мной: мальчишек лица,
Рыжие кузнечики в траве,
Тихая, полынная станица
В полевой, кипучей синеве...

Бьющие в колокола зарницы –
Памяти ночной колокола,
И в овраге, где дрожит ветла,
Грустный голос одинокой птицы.

Может быть, сейчас вот,
на рассвете,
На черте стремительного дня
Улицу разбудит легкий ветер,
И она вдруг вспомнит про меня.

В день рождения

Как серебрятся вихри над горой!
Как вьюга крышу пробует стальную!
Когда-то я родился в день такой,
В метелицу разгульную, степную.
И неизбывны в памяти моей
Черты неповторимые станицы,
Лет голубей, прохлада купырей,
Глоток криничной ледяной водицы.
О, детство, детство!
Где же ты теперь?
Не докричатся до тебя ни разу.
Как к родничку, все тянется к тебе
Мой беспокойный неумный разум.
Метель не утихает за окном.
Мне будущим грозит она мятежным!
...А я все мчусь веселым летним днем
За мамою по лугу босиком,
По памятным ромашкам белоснежным.

Акация

Как радостна она в цвету!
И кланяется ветру,
И тихо вьюжит на лету,
Качая тонкой ветвью.



Сверну с тропы и подойду
С негаданной надеждой,
Что под акацией найду
Оставленные прежде
Следы в запутанной траве,
Быть может, бантик белый,
И имя «Таня» на коре,
Что вырезал несмело...
Как яростно она цветет,
Степных ветров подруга!
И бередит который год
Мне душу эта вьюга...

* * *

В плену забот, в пылу работы
Не замечаешь дней полет,
Но миг придет, и отчего-то
Так сердце радостно замрет.
И в суете звенящих буден
Неизъяснимая струна
Любви касается и будит...
И просыпается она!

* * *

Так запросто склонилась на плечо,
Разбив на миг все мнимые преграды.
Сказала: «Мой хороший, ни о чем
Меня пока не спрашивай, не надо...»
И грустно так светились в глубине
Вечернего таинственного сада
Ее глаза, как отблеск на волне
Последнего осеннего заката...

Как о хлебе насушном

Духовное состояние нынешнего общества (не отгороженного Кремлевской стеной и кабинетными стенами) мало кого радует. Профессионалы от культуры вопиют уж который год, что нынче бал правят посредственности, способные лишь на фальсификацию, подражательство и пародирование (отчего и попали, совершенно незаслуженно, в ранг творцов Верка Сердючка и господин Галкин). И что в конечном итоге они приведут общество к тому состоянию дебилизации, при котором никакое развитие немислимо. В одном из октябрьских номеров «Аргументов и фактов», отвечая на вопросы корреспондента, фантаст Рэй Брэдбери (это он в романе «451° по Фаренгейту» рассказал о государстве, где правит телевидение, а книги сжигаются) оценивает нынешнее состояние общества: *«Школы не учат детей ничему, вырастает поколение без мозгов – в голове только телевидение и компьютерные игры: они не умеют читать и писать, а про Достоевского думают, что*



**ВИКТОР
КУСТОВ**

**Публицис-
тика**





тот – глава русской мафии. Учителям лень прививать школьнику любовь к чтению, а это очень опасно – можно снова получить костры из книг, как при Гитлере».

(Это про молодых американцев. Но ведь мы их уже почти догнали по этому показателю: сорок процентов школьников читать не любят...)

Если бы я был художником, я изобразил бы нынешнюю нашу культуру картинкой, которую периодически наблюдаю: группа не очень опрятных молодых людей, как правило, в подпитии, нещадно рвет струны неповинной гитары, откровенно фальшиво голая, а перед «певцом» и «поклонниками» (или собутыльниками) пьяно-скоморошно преграждает путь прохожим наглая девица с дежурным речитативом: «Окажите помощь...».

Подражание бездарным певцам, псевдохудожникам, растиражированным графоманам приводит к тому, что создается иллюзия доступности творчества, становясь причиной психического заболевания. И мания гениальности (звезданутости), как микроб, поражает все большее число молодых (и не только) людей, множась через всевозможные телефабрики «звезд», интернет-литературу, выставки абсурда, театр мата... И молодые люди, только познающие жизненные ценности, обманываются, принимают подделки за истинные вершины.

Что можно противопоставить этой интервенции агрессивной бездарности?

Функционирование чиновников от культуры в СССР сводилось преимущественно к массовому охвату, хотя при необходимости, если это нужно было власти, использовался и метод индивидуального подхода. Работа по охвату со временем переродилась в более удобную и менее затратную «галочную». Индивидуальный подход (относившийся

прежде всего к работникам искусства) был отчасти (но не без контроля) отдан на откуп творческим союзам.

Сейчас иные времена, тем не менее два этих принципа вполне могут работать и сегодня. Правда, нужно правильно расставить акценты и бюджетные средства. Массовый охват сегодня – это не забота чиновников от культпросвета, с этим успешнее справляются охотники за деньгами. Попытаться остановить этот базарный процесс размножения сердючек и галкиных – то же самое, что встать перед несущимся экспрессом.

Музыка подворотен, язык матерных окраин и зон, мазня, оригинальностью, зачастую схожая с «мастерством» обезьяны, или элементарный эпатаж в выставочных залах – это реальность. И она уже рождает и выдвигает (и весьма агрессивно) свои идеалы, своих кумиров. В этих реалиях главной задачей культурного ведомства становится формирование действительно талантливого слоя, который станет противоядием этой отравы. Именно на это нужно тратить силы и деньги.

До увеличенной больной печенки можно насытиться пивом.

До безобразных форм – фастфудом.

Можно бравировать тем, что ваш духовный рост не выше планки фанатичного преклонения перед кем или чем-либо.

Но рано или поздно приходит понимание пустоты такого существования. Пустоты и бесцельности.

Понимают ли это наши нынешние власти? Деградация, дебилизация общества – бедствие, подобное природному катаклизму, от которого не защитят ни телохранители, ни стены кабинетов. И прежде всего подобное общество (с планкой на



уровне живота) сметет власть, ибо бескультурье не предполагает уважения ни к чему...

Таланты рождаются преимущественно не в столицах. Рождаются в провинции. И от власти требуется лишь осветить дорожку, дабы не блуждали дарования, напрасно тратя бесценное время. И сделать это прежде всего обязаны те, кто вызвался служить культуре (именно культуре, а не губернатору или министру).

Было время, во всех подворотнях звучали гитары и ломкие юношеские голоса. Это породило спрос на авторскую песню. Затем наступила эпоха вокально-инструментальных ансамблей. Пришла поп-музыка. Нынче общество стало слишком разнородным, но культурные притязания никуда не исчезли, и, как и прежде, в дальних и ближних селах, больших и малых городах есть желающие петь, играть, рисовать, писать стихи, сочинять музыку, моделировать одежду, фотографировать и творить многое другое... А вот кто, сколько и что – это и должно знать учреждение, ведающее культурой. И именно исходя из спроса строить свою работу для реализации этих желаний, то есть подбирать специалистов и создавать необходимые условия для обучения. Для этого, на мой взгляд, не нужен чиновничий аппарат, нужны подвижники на местах. И подспорьем будет Интернет.

А главная нагрузка должна лечь на творческие союзы. Они должны стать преподавателем в том большом мастер-классе, без которого не поднять планку культуры выше пояса. А организатором-посредником – Министерство культуры. И не чиновник должен оценивать творчество, не комиссии, жюри и редсоветы, набранные из людей если и близких к оцениваемому занятию, но не профессионалов, а члены этих самых союзов.

Другая грань деятельности Минкульта – это содействие в выходе к публике действительно соответствующего уровню произведения. («Таланту нужно помогать, бездарность пробьется сама».) А это в свою очередь требует пропагандистской (имиджмейкерской, если хотите) работы, которой сегодня оно практически не занимается.

Одним словом, культура должна стать сильнее бескультурья. Только в этом случае мы свернем с той дорожки, куда нас увлекают сторонники бездуховного потребления. В противном же случае будем иметь то, что имеем.

Культура дня и культура ночи

Отчего во времена кухонной свободы, тотального дефицита в ушедшем в историю советском государстве счастливых людей было больше? Отчего нынче, живя в обществе изобилия, удовлетворения любых потребностей и прихотей, мы все продолжаем вспоминать те годы добрым словом, на отдалении признавая прессинг коммунистического диктатора, неэффективную экономику, нереализованные возможности, недостаток или отсутствие товаров, все же считаем их более интересными и насыщенными? Бытующее мнение, что причина тому – полслевкусие отдаляющейся молодости, в какой-то степени верно, но не является главной причиной. Как и аргумент, что с возрастом человек становится консервативен и невосприимчив к естественным изменениям, к новым временам.

Действительно, освоение новой информации для старшего поколения с низким образовательным цензом затруднительно и может являться фактором отторжения перемен, но для активной части общества зрелый возраст является наиболее



плодотворной фазой жизни: на смену нераспознанным ощущениям приходит осмысленный опыт постижения многомерности бытия.

Основная причина ностальгии по советским временам у тех, кто помнит те годы, лежит в сфере нематериальной, в духовно-нравственной атмосфере, в уровне культуры общества. Обусловлена она контрастом, порожденным резким переходом из одного уклада жизни в другой, заменой шкалы ценностей. В такие периоды особенно остро человек ощущает соответствие или несоответствие происходящего магистральному развитию человечества. Именно интуитивно ощущаемые резонанс или диссонанс подают сигнал, настраивая нас на приятие или отрицание, заставляя пересматривать собственный опыт, и вызывают чувство удовлетворенности или неудовлетворенности тем, что тебя окружает, и в конечном итоге определяют понятие счастливого либо несчастного бытия.

Вот отчего в эти переходы больше становится людей, выпадающих из социума. Убегающих и от богатства, и от успеха. Вот почему, несмотря на материальное изобилие, уменьшается длительность жизни... Не всех устраивает бессмысленное существование. А погоня за тленными богатствами и сиюминутными удовольствиями с точки зрения бессмертной души смысла не имеет.

Целью существования человека (человечества) является созидание именно духовной энергии. Той самой субстанции, из которой в конечном итоге и формируется вечная космическая энергия, в свою очередь пронизывающая и созидающая ноосферу нашей планеты. Уровень этой энергии мы измеряем духовностью, которая, в свою очередь, является непосредственной производной общечеловеческой культуры, ибо с латинского «культура» перево-

дится как *возделывание, воспитание, образование*. И эти три слова отражают составляющие единого процесса, который мы объединяем этим термином. Стержнем духовности является религия. Она издревле задает направление человеческим деяниям в этом мире. И все религии при кажущейся разнице имеют единый вектор этого направления. Это бессмертие любви... Любовь – это та ткань, из которой ткется духовность. Светский вариант объяснения смысла и загадки бытия – в философских приближениях к истине.

От того, в какой культурной среде вырастает и живет человек, как возделывается, воспитывается и образовывается, зависит, какую сторону космической энергии, ночную или дневную, светлую или темную он будет создавать.

Эта среда в течение срока жизни одного человека, как правило, меняется в возрастном диапазоне, так как сущность человека меняется с изменением накапливаемого опыта. И каждому поколению обязательно – как испытания духа – выпадают глобальные перемены. (Нашим дедам таким испытанием была революция, отцам – война, нам – перестройка, смена формации.)

Видимая сторона культуры является итогом понимания и следования религиозным заповедям. Как некоей данной нам константе.

Духовная незримая составляющая понятия культуры складывается одновременно из мыслеобразов людей различных возрастов, то есть разного жизненного опыта. Дети, так же, как и взрослые, созидают ее.

На жизнь моего поколения выпало три различных среды, три культуры. Первая пришлась на два послевоенных десятилетия, когда в силу возраста превалировало незамутненное социу-



мом познание мира. Это – прерогатива детства и юности. Это время для любого поколения является познавательным. Происходит постижение как материальной, так и нематериальной составляющих мироздания. Моему поколению довелось довольствоваться довольно ограниченным объемом доступной информации, относящейся к миру материальному. К тому же она была тщательно отфильтрована предыдущими поколениями, идеологическими институтами советского государства, взрослыми. Она была предельно рафинирована в угоду идеологии. Но в то же время среда эта априори (пора восторга открытий!) была комфортна, субъективно казалась бесконечной и контуры ее границ угадывались разве что из наблюдений за коллизиями жизни родителей и взрослых...

Что же касается мира нематериального, мира фантазий и грез, то здесь ограничений извне практически не было. Доступ к литературе (а именно она лежала в основе образования моего поколения) развивал воображение, умение видеть невидимое.

В период этой культуры мои сверстники выработывали энергию, в основе которой преимущественно лежали верность мушкетеров, патриотизм молодогвардейцев, героизм самопожертвования во имя других и идеи, романтика первопроходцев неизведанных просторов, жизнелюбие героев советского кино... Несмотря на столкновения, выяснения отношений (интуитивного узнавания, кто на какой стороне) в массе своей мы генерировали энергию любви к окружающему миру и, прежде всего, к себе подобным.

Второе двадцатилетие нам, взрослеющим, уже входящим в общество, против воли или охотно втягивающимся во взрослые игры, приоткрыло

другие горизонты, иные отношения и тайны, возбуждая желание горизонты эти достичь, а тайны непременно разгадать. Я определяю этот период как время осознания полярности мира и жизни, постижения закона единства и борьбы противоположностей, взаимоединства «ин» и «янь». В этот период мы остро ощутили ограниченность открываемой нам информации и пытались восполнить этот недостаток, отчего любили группу «Битлз» и джаз, Высоцкого и бардов, поэзию и толстые журналы, чтение между строк разрешаемого и скрупулезное изучение попадавшего в руки запретного, софистику споров и демагогию деклараций. Это был период неудовлетворенного любопытства, жажды познания истины (оттого и страна была самой читающей в мире). Благодаря этой жажде и запретам мы пропитывались культурой доступного бывшего, ушедшего в историю, пережитого другими, культурой предтеч, культурой человечества... Мы читали много и жадно, тем самым развивая интуицию, стимулируя процесс познания. Я думаю, мы, как и другие поколения на этом возрастном этапе, постигали емкость времени и вкус свободы. Но наше отличие от сверстников на противостоящем Западе было в том, что мы делали это под идеологическим прессом. Отчего больше и лучше запоминали. И выдавали в Космос мощный импульс стремления во что бы то ни стало знать истину, а также импульс свободолюбия, который в нас, принудительных атеистах, был сродни любви к Создателю, ибо человек, по сути, несвободен только от Бога.

Но культурная среда этих десятилетий в сравнении с первым периодом (периодом радостного открытия жизни, омрачаемая разве что физическим насилием взрослых и более сильных да неразделенными чувствами) из-за недостатка до-



стоверной информации именно о многообразии материального мира, который все более довлел реалиями и вытеснял мир иллюзий, уже казалась душноватой. Хотя все еще оставалась комфортной благодаря существованию оазисов близких по духу и устремлениям людей и, самое главное, преобладающей атмосфере служения пусть и не ясному (коммунистическая идея уже не окрыляла), но чему-то светлому, возвышающему... И культура нашего поколения складывалась из надежности друга, верности любви, мужской воли и силы, нежности женщины...

Перестройка и последовавший за ней период капитализации, напоминающий воровской шабаш, пиратское, шокирующее вторжение иной, неведомой прежде культуры, базирующейся на удовлетворении сугубо материальных потребностей и на попрании ценностей духовных. Культуры, превозносящей физиологические потребности после почти пуританской жизни. Социальный крен в сторону удовлетворения сиюминутных желаний вызывали у большинства любопытство неопита и детское нетерпение узнать наконец-то неведомое прежде, вкусить запретный плод. Мы учились лгать (потому что конкуренция предполагала объегоривание другого), бахвалиться богатством (это довольно быстро стало модным), коллективно смотреть порнофильмы (долой всяческие, даже такие, тайны!), верить рекламе, пропитываясь раболепием перед вещами, считать хорошим тоном бездумно предаваться наслаждениям...

Не ведая того, мы вдруг не только впустили к себе, но и сами стали в какой-то мере проводниками и проповедниками иной, чем была в большой, многоязыкой и многоукладной стране, менее ду-

ховной, не обогащающей, а напротив, принижающей, выхолащивающей человека культуры.

Культуры воинствующего невежества.

Культуры постоянной лжи (реклама – образчик и пример для подражания).

Культуры нескрываемого и даже поощряемого, возводимого в ранг добродетели, эгоизма.

Культуры тщеславных тусовок и бездарных телешоу.

Одним словом, культуры ночи, тьмы...

Мы постепенно привыкали ко все большему дозам этого оглуляющего оболванивания, деградирова и не отдавая себе в этом отчета...

Недавно увидел, поразился и запомнил надолго телесюжет о праздновании юбилея одного из сибирских городов. Жизнерадостная девушка лет восемнадцати, отвечая на вопрос журналиста, чем понравился ей праздник, не задумываясь, бойко выпалила то, что давно уже сидело в ее юной головке: *«Было много интересного, многих можно было увидеть, и даже героев нашего времени: грабителей банков и специальных агентов...»*

Символичное признание – пару лет назад подобное откровение я отнес бы к недоразумению. К скудоумию и девушки, и журналиста. На худой конец объяснил бы его появление на телеэкране непрофессионализмом тех, кто этот сюжет делал и выпускал. Но...

...В центре Ставрополя недавно существовал пивной ресторан... Он назывался – «Шекспир»...

Прежде я посчитал бы это не очень удачным оригинальничанием. Теперь же убежден: имел место умысел. Это продуманное смещение понятий, перемена векторов.

Грабители банков, спецагенты – герои нашего времени.



Шекспир – всего лишь пивной бренд...

Это ли не символы уровня культуры наших дней и нашего сегодняшнего общества...

В книжных магазинах полки заставлены поделками литрабов, бездарно, безвкусно, а зачастую и безграмотно тиражирующих одни и те же сюжеты, украденные у предшественников.

Телеканалы соревнуются, кто выпустит сериал потупее и покровавее.

Театр превращается в место, где собираются снобы, выдающие себя за ценителей этого жанра, но зачастую не знающие о классике этого жанра.

Мастерство живописца низводится к выставлению унитаза в углу пустой комнаты.

Того, кто еще не сошел с ума, не поверил в талантливость подобных «произведений», ежедневно обрабатывают проповедники масс-медийных структур.

Разлагающая ядовитость подобных подмен уже настолько пропитала наше общество, что у большинства перестает вызывать отторжение. Раздражение сменяется апатией привыкания. И наконец – потребностью застыть на уровне примитива. Молодое поколение, получившее условно-формальное образование, в основной своей массе культурно дезориентировано, но зато успешно подготовлено к жвачному образу жизни, существованию в культурной резервации (или в организованном бизнес-инкубаторе?), не ведая об истинно высоких образцах материализации духа...

По закону единства и борьбы противоположностей этот процесс разрастания до уровня безкультурия (*культуры ночи*) неизбежно должен смениться и сменится возвращением к истинным ценностям (*культуре дня*). Думаю, мы уже преодолели низшую точку, нахожу все больше и больше фактов, под-

тверждающих это. Вот недавно в одном из госучреждений увидел охранника, читающего потрепанную книгу. Это оказался роман Алексея Толстого. А столь необычный читатель признался, что открыл от скуки, да потому что под руку попала, а теперь вот оторваться не может. «Интересно пишет, – не без удивления сказал он и признался: – А книги современных авторов листаешь побыстрее, чтобы узнать, чем кончится...».

Как вернуть наше общество в культуру дня?

Вопрос этот не праздный для тех, кому предназначено своей деятельностью созидать культуру, воссоздавая систему *возделывания, воспитания, образования*. И кто полагает единственно верным понимание этого термина как *культуры дня*.

Что или кто более всего сегодня сопротивляется возвращению вектора на свое место?

Бесспорно, фундаментом культуры ночи является служение золотому тельцу. Библейские тридцать сребреников – это вечная плата иудам всех времен и народов. Плата и неотвратимое наказание. Это лишь кажется тем, кто польстился на сребреники, что оно далеко. Сегодня основной проповедник антикультуры, *культуры ночи* – телевидение. За исключением канала «Культура» менять вектор необходимо всем без исключения. Понимание этого овладеет все большей частью общества. Но процесс этот не быстрый. Нужны другие авторы, режиссеры, журналисты, ведущие... Нужно полное обновление, естественно: те, кто сегодня кормится с этого стола, по доброй воле не уйдут, выдавливание может ускорить лишь смена владельцев телеканалов, легче всего этот путь вверх пройти региональным телестудиям, где не было того нравственного (да и профессионального) падения, как на центральных каналах. Но с другой стороны здесь меньше потен-



циал, дефицит по-настоящему квалифицированных кадров. Новости на региональных так же, как и на центральных каналах, делаются под копирку. Попытки выйти на злободневные вопросы бытия проваливаются во многом по причине непрофессионализма, недостаточной образованности, кругозора журналистов, привыкших подвизаться во всяческих пулах, не владеющих репортерскими навыками, не имеющих творческого багажа. Оригинальных тем, интересных собеседников они не видят.

Провинциальные художники, пожалуй, сегодня наиболее приспособившаяся к переменам прослойка творцов. Совмещая творчество для себя с работой по заказу, они постепенно возвращают себе истинного ценителя искусства.

Хуже обстоят дела у писателей. В регионах нет торговой сети, заинтересованной в реализации плодов их труда. Пару лет назад получили финансовую независимость, а точнее, были отправлены на вольные хлеба библиотеки, которые прежде худо-бедно, но что-то у местных авторов приобретали. Уровень знаний современной литературы у нынешних библиотекарей далек от должного (что вполне естественно, многие из них тоже росли и все без исключения живут в этой среде культуры тьмы) и не распространяется далее набивших оскомину, разрекламированных поделок и подделок. Что же касается местных авторов, оставшихся верными реалистическим традициям, то их былая слава растаяла, оставив след, который ведом узкому кругу истинных читателей. Тех, кому суждено отделять плевела от зерен, стать неподкупными судьями литературных произведений для будущих поколений...

На мой взгляд, в этой ситуации библиотеки должны стать собирателями и хранителями ори-

гинальной литературы, а не складировать изыски ловких графоманов и ремесленников, зашибающих на этом поприще «бабки», стригущих «купоны», набивающих «бабло» и тому подобное, и прочих, отнюдь не способствующих познаниям реалий жизни, сочинений. Литература – это все-таки предмет постижения жизни, а не ухода от нее. Сегодняшние технические возможности и Интернет вполне позволяют библиотечному центру, закупив у автора право на тиражирование (за определенные отчисления от каждого проданного экземпляра) распространять оригинальные произведения по региону, стране, да и по всему миру. Пора возвращаться от избы-читальни к монастырской библиотеке. Нынче нет необходимости ликвидировать безграмотность. Сейчас время собирать и сохранять пока не востребованное обществом... Главная задача книгохранилища, каковым сегодня, как и было издревле, становится библиотека, – это все-таки не удовлетворение сиюминутного читательского спроса, а сохранение действительно важных документов истории. К пониманию этого наши хранители человеческих знаний и опыта придут не сразу. Но придут...

Начинать же возвращаться к магистрали общечеловеческой культуры дня следует с перемен в государственных управленческих структурах. И что необходимо перекроить в наших учреждениях культуры в первую очередь, так это зависимость культуры общества (*возделывания, воспитания, образования*) от культуры чиновника. Поставить этот предмет с головы на ноги. Культура в первую очередь зависит от того, кто возделывает, воспитывает, образует. От творца, а не от управленца. Но мы пока не встали на ноги. У нас пока все на-



оборот. Этот парадокс стал неотъемлемой частью нашей жизни. Он давно уже мифонизировался в воспоминаниях, рассказах, полуанекдотичных и грустно-смешных историях, отражающих, кажется, вечное противостояние творца и чиновника. Так было прежде, при коммунистах, так есть и сейчас. Так же, как при советской власти, сегодня именно чиновник определяет, на что и кому выделять деньги. Так же, как и в советские годы, хорошему делу и талантливому человеку немало требуется сил, здоровья и веры, чтобы реализовать то, что потом признается шедевром. И как правило, оценивать и ценить у нас привычнее после смерти.

Не могу забыть недавний разговор с занимающим значимое место и влияющим на культуру чиновником. Могу назвать и фамилию, но пример этот не единичен и чиновник тоже многолик. Главное, что этот чиновник и сегодня продолжает «рулить». Так вот, на предложение посодействовать изданию книг местных писателей он искренне удивился и тому, что еще кто-то пишет, и тому, что кому-то книги, оказывается, нужны. И посоветовал выставлять написанное в Интернет. Дешевле, так дешевле для бюджета... Аргумент о том, что настоящая литература весьма далека от сетевых излишней, он не воспринял...

...Когда художник судит о работе коллеги – это понятно. И это приемлемо, ибо это оценка человека знающего и делающего то же дело... Но вот отчего чиновник, не умеющий ни рисовать, ни сочинять музыку, ни писать стихи, судит обо всем?

Отчего ему сегодня дано право решать, давать деньги или не давать на то или иное действие? Отчего он считает, что миллионы, вложенные в скучней-

шие и помпезные площадные или стадионные мероприятия эффективнее *возделывают, воспитывают и образуют*, повышают уровень культуры, чем изданная книга или вернисаж? Отчего как расходовать крохи, отпущенные на культуру, решают не мастера культуры?..

В девяностые годы прошлого века в Ставропольском крае гремел фонд культуры, который возглавлял Михаил Григорьевич Новиков, хорошо знающий эту среду. Это был наглядный, впечатляющий пример того, что может сделать энтузиаст. Фонд давал возможность реализовать себя художникам, писателям, музыкантам... Пришедший на смену Новикову шоумен принес иной, разрушительный заряд. Теперь очевидно, что это было начало наступления *культуры ночи, антикультуры*.

Идут годы, и по отдалении роль первого и второго становится выпуклее и зримее. Об одном вспоминают с благодарностью. О другом... Думаю, скоро и помнить перестанут..

И тем не менее я вижу сегодня единственным действенным инструментом возрождения культуры (при ее вечном недофинансировании) и всемерное содействие общества и тех же чиновников созданию подобных фондов. Больших и маленьких. Под конкретные дела. Пример для подражания уже есть. В селе Терновском местные энтузиасты, любители поэзии, вспомнили своего талантливое и рано ушедшего из жизни земляка – поэта Андрея Бахтинова, собрали деньги, издали книгу его стихов, увековечили память... Официально они даже никакого фонда не открывали. Просто собрали деньги. Кто сколько дал...

Именно поощрение властью таких инициатив, создание фондов по возвращению общества к цен-



ностям истинной культуры может сегодня ускорить возвращение на магистраль общечеловеческой культуры. Вот этим бы заняться чиновникам... А распределять бюджетные средства следует не в кабинетах за закрытыми дверями, а в открытых обсуждениях с творческими организациями, прислушиваясь к тому, что говорят истинные профессионалы по *возделыванию, воспитанию и образованию* наших детей и внуков....

История человечества подтверждает: в памяти людей остается *культура дня*, света, она – единственный источник с живой водой. Я – сторонник этой культуры, служащей жизни и Богу, выдающей в Космос энергию любви.

«Ужасный край чудес!»

*По следам кавказских
путешествий А. С. Пушкина*

Впервые побывав у Горячих вод, двадцатилетний Пушкин задумал поэму «Кавказский пленник». Дальнейшая судьба поэта вполне отчетливо показала, что кавказским пленником оказался, в сущности, он сам. «Ужасный край чудес», как писал он о Кавказе, надолго, если не навсегда завладел его творческим вниманием.

**«Был новый для меня
Парнас»**

Имя Николая Николаевича Раевского связывают обычно с первой поездкой Пушкина на Кавказ в 1820 году, когда поэт побывал здесь с семьей прославленного генерала. Знакомство же самого Раевского с Кавказом началось намного раньше. Боевое крещение он принял под Бендерами, где впервые услышал свист турецких пуль. Будучи племянником всемогущего Потемкина, он мог бы рассчитывать на быстрый взлет в военной карьере. Однако дальновидный покровитель пособил



**НИКОЛАЙ
МАРКЕЛОВ**

Краеведение



своему любимцу странным образом: отправил его в казачий полк с предписанием употреблять Раевского рядовым казаком. Школа горячей и опасной службы в аванпостах, атаках и партизанских рейдах оказалась столь действенной, что Раевский окончил кампанию уже подполковником и на двадцатом году жизни получил под начало кавалерийский полк.

Раевский воевал впоследствии с поляками, шведами, французами, а потом снова с турками на Дунае. Одно время он стоял на Кавказской линии с Нижегородским драгунским полком, и здесь, в Георгиевске, в 1795 году родился его старший сын Александр. Раевский, наряду с А.П. Ермоловым и М.И. Платовым, участвовал в персидском походе графа В.А. Зубова, когда русские войска пробились за грани Кавказа.

Войну 12-го года он встретил, командуя корпусом в армии П.И. Багратиона. В бою под Салтановкой сам водил пехоту в штыки и, оттеснив маршала Даву, дал возможность Багратиону увести армию за Днепр. Защищал Смоленск и навеки прославил свое имя в Бородинском бою, в котором вместе с ним сражались его сыновья Александр и Николай (о чем в стихах упомянули Жуковский и Пушкин). В «Битве народов» под Лейпцигом получил рану в плечо, но остался в строю до конца боя. Ратный путь окончил генералом от кавалерии.

Раевский был связан личной дружбой с Багратионом и Ермоловым, а с последним еще и близким родством. Пушкин называл его великим человеком. «Я не видел в нем героя, славу русского войска, – признавался поэт, – я в нем любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою; снисходительного, попечительного друга, всегда милого, ласкового хозяина. Свидетель Екатерининского

века, памятник 12 года; человек без предрассудков, с сильным характером и чувствительный, он невольно привяжет к себе всякого, кто только достоин понимать и ценить его высокие качества».

У генерала и его супруги Софьи Алексеевны (внучки М.В. Ломоносова) было шестеро детей: два сына, Александр и Николай, и дочери Екатерина, Елена, Мария и Софья. С Николаем Раевским-младшим, офицером лейб-гвардии Гусарского полка, Пушкин познакомился еще в лицейские времена. Знакомство перешло в дружбу, о которой поэт писал вскоре брату Льву: «Ты знаешь нашу тесную связь и важные услуги, для меня вечно незабвенные». Николаю Раевскому Пушкин посвятил «Кавказского пленника».

С полковником Александром Раевским Пушкин познакомился на Горячих водах в 1820 году. Тот в это время служил на Кавказе и сопровождал Ермолова в его экспедициях и походах. Скептицизм и саркастический ум Александра произвели на поэта сильное впечатление. «Сила его обаяния, – замечает современник, – заключалась в резком и язвительном отрицании». Сам Пушкин предрекал ему блестящее будущее, находя, что он «будет более нежели известен». Считают, что Александр Раевский послужил прообразом главного пушкинского литературного героя – Евгения Онегина.

Побывали с генералом на водах и две его младшие дочери Софья и Мария (в будущем жена С.Г. Волконского, отправившаяся за ним в Сибирь). Раевские и Пушкин провели на Пятигорье два месяца, испытав на себе силу знаменитых целебных ключей.

Подробности пребывания на Кавказе, а также впечатления Н.Н. Раевского-старшего известны по его письмам к старшей дочери Екатерине, кото-



рые он отправлял отсюда с каждой почтой (то есть каждую неделю). «Воды горячие истекают из горы, называемой Мечук, над рекой Подкумок лежащей; – делится он наблюдениями, – самый низкий ключ не менее 6 или 7 сажен вышины, истекают от подошвы небольшой долины, в которой все селение расположено в 2 улицы; я заметил до 60 домов, домиков и лачужек, и как сего недостаточно для приезжающих, то нанимают калмыцкие кибитки, палатки и располагаются лагерями, где кому полюбится, и как будто подделываются нестройной здесь природе. Ванны старые, хотя стоят казне довольно дорого, ни вида, ни выгод не имеют, новые же представляют и то и другое и возможную чистоту и опрятность. Вид из оных наиприятнейший на Бештовую гору или Пятигорию, ибо по оной бывшее тут в древности княжество называлось...»

Генерал вставал в пять часов утра, купался в источнике, потом пил «кофий» и проводил досуг за картами, иногда читал, а больше прогуливался с семейством по округе. Молодежь развлекалась, как могла: однажды устроили лотерею, и Пушкин отдал для розыгрыша свое кольцо. Выиграла его Мария Раевская. Вечером на Петров день гарнизон Константиногорской крепости устроил маленький фейерверк.

В это время Пушкин создает стихотворение «Я видел Азии бесплодные пределы...», где слово «бесплодный» означает, скорее всего, «выжженный солнцем», что следует из сопоставления со строкою письма поэта к брату Льву («Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях») и к тому же весьма свойственно местному ландшафту в разгаре лета. Помимо поэтического описания местности он приводит и выразительную характеристику зарождающегося курорта:

*Ужасный край чудес!.. там жаркие ручьи
Кипят в утесах раскаленных,
Благословенные струи!
Надежда верная болезнью изнуренных.
Мой взор встречал близ дивных берегов
Увядших юношей, отступников пиров,
На муки тайные Кипридой осужденных,
И юных ратников на ранних костылях,
И хилых стариков в печальных сединах.*

Беглый обзор недужных посетителей Кавказских Минеральных Вод вполне согласуется с медицинскими показаниями, содержащимися в научной литературе того времени. Стихотворение не было опубликовано при жизни Пушкина, но этот первый краткий очерк «водяного общества» поэт еще во многом повторит, иногда дословно, приведя на берега Подкумка путешествующего Онегина.

Упомянув «благословенные струи», Пушкин хорошо знал, о чем писал, так как на себе испытал их целительный эффект. «...Воды мне были очень нужны, – сообщал он брату Льву, – и чрезвычайно помогли, особенно серные горячие. Впрочем, купался в теплых кисло-серных, в железных и в кислых холодных. Все эти целебные ключи находятся не в дальнем расстоянье друг от друга, в последних отрясах Кавказских гор».

В отечественной классике именно Пушкин стал первым певцом (и первым восходителем!) горы Бештау, у самого подножия которой располагался молодой курорт. Упомянув в Посвящении к «Пленнику» название горы, он сделал особое примечание: «Бешту, или правильнее Бештау, кавказская гора в 40 верстах от Георгиевска. Известна в нашей истории». Русскому читателю, еще плохо представлявшему себе необъятные просторы недавно приобре-



тенной южной провинции, именно Георгиевск, наш кавказский форпост, где был подписан знаменитый Георгиевский трактат, служил в данном случае отчетливым ориентиром.

Упомянув «нашу историю», поэт, разумеется, не ошибся: сведения о районе Пятигорья – «земле Пятигорских черкас» встречаются (наряду с названиями Бештов, Бештовы горы, Пять гор) в русских летописях и ряде исторических документов. Вспомним, что когда союз русских с кабардинцами был закреплен в 1561 году браком Ивана Грозного с дочерью князя Темрюка Идаровича – Кученей, принявшей при крещении имя Марии, то в народе царица получила прозвище Пятигорки. Знаменитый исследователь кавказских минеральных вод Ф.П. Гааз сравнивал Бештау с Везувием.

Поход по каменистым тропам в заоблачную высь возглавил Н.Н. Раевский. Очевидно, что именно из-за решимости 49-летнего генерала «лезть на стену», а в какой-то мере и его любопытства могло совершиться в один из июньских дней 1820 года путешествие на вершину пятиглавого исполина. «При первом хорошем дне положено ехать на верх шпица Бештового, с которого верст на сто открывается на все стороны», – писал Раевский дочери. А в конце июня упоминал об уже состоявшемся восхождении: «ездили мы на Бештовую высокую гору...»

У жителей равнинных областей России вид Бештау вызывал невольное восхищение. У Пушкина Бештау предстает как «пятихолмный», «заоблачный», «остроконечный». Дважды упомянув о восхождении на Бештау в письмах, он запечатлел это событие и в поэтической форме – в эпилоге «Руслана и Людмилы», написанном на водах Беловой автограф его имеет помету: «Эпилог поэмы Руслан. Кавказ, 26 июля 1820». Здесь Пушкин передал свое

душевное состояние, привел поэтический очерк сопутствовавших кавказской поездке обстоятельств своей жизни и связанных с ними переживаний и, наконец, нарисовал ту грандиозную картину Большого Кавказа, которая открывалась его взору с вершин Машука и Бештау:

*Забытый светом и молвою,
Далече от берегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немymi
И чудной прелестью картин
Природы дикой и угрюмой...*

Ощутить себя находящимся «над» крутыми горами Кавказа здесь можно, пожалуй, в одной только точке – именно на вершине Бештау. «На скате каменных стремнин» – это, несомненно, каменные осыпи и обрывистые склоны, которые приходилось преодолевать поэту и его спутникам при подъеме на «острый верх» главного купола горы.

Созвучные мотивы слышны и в письме поэта к брату Льву от 24 сентября 1820 года, где названия окрестных гор выступают не только как поэтические, но, скорее, как географические ориентиры: «Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками, разноцветными и недвижимыми; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной».

Вид, открывшийся поэту с головокружительной высоты Бештау, надолго врезался в память.



Позднее, в письме к Н.И. Гнедичу от 24 марта 1821 года он сообщал: «С вершин заоблачного бесснежного Бешту видел я только в отдалении ледяные главы Казбека и Эльбруса».

Побывав на Железных и Кислых водах, путешественники отправились в дорогу – в Тамань, проделав опасный маршрут по правому берегу пограничной тогда Кубани. С левого, черкесского, берега в любой момент можно было ждать нападения. «Видел я, – пишет поэт, – берега Кубани и сторожевые станицы – любовался нашими казаками. Вечно верхом, вечно готовые драться...» Память о днях, проведенных под полуденным небом, Пушкин навсегда сохранил в своем сердце. «Суди, – признавался он брату, – был ли я счастлив: свободная, беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался...»

Память о счастливых днях, проведенных «в соседстве Бештау и Эльбруса», Пушкин всегда хранил в своем сердце. Он писал, что создал себе нерукотворный памятник. А на земле Пятигорья нерукотворный памятник поэту воздвигнут самой природой: величественный пятиглавый храм, пушкинский Парнас – Бештау хранит на своих каменистых тропах след поэта. Священный след.

«В глухих ущельях Кавказа»

Покинув Пятигорье, Пушкин увез отсюда замысел своей первой «южной поэмы» – «Кавказского пленника», сюжет которого был подсказан ему самой жизнью. В Посвящении к поэме, обращенном к Н.Н. Раевскому-младшему, Пушкин вполне определенно говорит и о том, где возник замысел «Пленника», называя этим местом

*...Кавказ,
Где пасмурный Бешту, пустынный величавый,
Аулов и полей властитель пятиглавый,
Был новый для меня Парнас...*

Эти строки не только отдают дань памяти и признания краю, подарившему поэту минуты высшего вдохновения, но содержат и невольное пророчество: под сенью Бештау творили потом и Лермонтов, и Лев Толстой, создавшие, вслед Пушкину, свои произведения под тем же названием. Но он первый начал эту горькую тему – трудных отношений русских с горцами, открыв для нее сюжетную формулу, ставшую классической в русской литературе.

Основные события Кавказской войны разворачивались все же в некотором удалении от Горячих вод, и, понимая это, Пушкин признавался в письме к Н.И. Гнедичу, что «сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа – я поставил моего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца – где возвышаются в дальнем расстоянии друг от друга четыре горы, отрасль последняя Кавказа...»

К счастью для русской литературы, сам Пушкин в глухие ущелья так и не попал, но что там творилось на самом деле, мы попробуем себе представить.

Русский путешественник С.Д. Нечаев, тогда же побывавший на Кавказских водах и любовавшийся со склонов Машука цепью снежных гор вдаль, оставил современникам предостерегающее замечание: «Жаль, что горы, увеселяя зрение, заставляют вместе терпеть мучение Танталово. Желалось бы полюбоваться на них поближе, желалось бы



сколько можно далее проникнуть в каменные их недра, но недреманная их стража не выпускает из рук оружия – и горе любопытному, дерзающему проникнуть в последний приют необузданной свободы! Разбой составляет главное упражнение горских народов, мщение – главную страсть. Дерзость их наездников известна; злоба за пролитую кровь доводит иногда родственников до совершенного исступления...»

Справедливости ради отметим, что литературную моду на кавказских пленников открыл для русской читающей публики французский писатель. Звали его Ксавье де Местр. Уроженец Савойи, с присоединением последней к Франции Наполеоном, он эмигрировал в Пьемонт, откуда в 1800 году попал в Россию вместе с армией А.В. Суворова, возвращавшейся из Итальянского похода. Стал офицером русской службы, участвовал в кампании 1812 года. Несколько лет воевал и на Кавказе, где его внимание привлекла история офицера, побывавшего в плену у чеченцев. В ноябре 1808 года майор Каскамбо и несколько других офицеров, сопровождаемые небольшим казачьим конвоем, отправились из Моздока в Ларское укрепление на Военно-Грузинской дороге. Путешествие длилось недолго: в двадцати верстах от Моздока команда была атакована крупной партией чеченцев, достигавшей четырехсот человек. Многие наши были убиты на месте, другие ранены и захвачены в плен. Каскамбо и его денщик, уведенные чеченцами в горы, провели в неволе больше года. Военные сводки сохранили некоторые подробности этой драматической истории. Вот что сообщалось в рапорте командовавшего тогда на Кавказе генерала А.П. Тормасова в Петербург:

«По переправе Маиора Каскамбы на нашу сторону объявил он Полковнику Тарасову, что он из-

бавлением своим обязан Сотнику Чернову, который чрез мирных Чеченцев нашел способ открыть с ним сношение, и истощив все средства, чтобы извлечь его чрез своих приятелей, послал ему туда по требованию его железную пилочку, чтобы он ею перепилил железа и приготовил себя к побегу в назначенное от него место, что употребивши в пользу, Майор Каскамбо принужден был наконец решиться с помощью деньщика убить во время ночи хозяина, где он содержался, и жену его собственным того хозяина кинжалом, дабы обеспечить побег свой...»

Повесть де Местра «Пленники Кавказа» была опубликована в Париже в 1815 году на французском языке. События здесь представлены еще более жестко, чем это было в действительности: чтобы проложить путь к свободе, верный денщик Иван хладнокровно убивает старика, его невестку и спящего внука – Мамета, любимца майора. За пленного офицера чеченцами был назначен невысказанный выкуп – десять тысяч рублей. Беглецы, вырвавшись из недр ущелий и находясь уже у заветной цели – берега Терека, вынуждены были все же прибегнуть к помощи здешнего жителя, мирного чеченца, согласившегося за двести рублей укрыть у себя обесилевшего в пути Каскамбо.

«Точность исторических реалий, – замечает современный исследователь, – соседствует в повести Ксавье де Местра с прекрасным знанием топографии и этнографии края, о котором он пишет. Любопытно, что в отличии от многих последующих писателей, в том числе и Пушкина, которые обозначали горские племена более или менее произвольными названиями, Ксавье де Местр пишет именно о чеченцах, стремясь воссоздать своеобразие их национального быта и психологии... Вся тонкость мысли, выраженной Ксавье де Местром в своей небольшой



повести, состоит в том, что в изображенной им трагедии вину несут все, и похитители, и жертвы, ибо зло порождает зло» (Забабурова Н.В. Кавказский сюжет графа Ксавье де Местра).

В 1815 году де Местр написал еще одну повесть о России. Она также была переведена на русский язык и под названием «Параша Сибирячка» получила широкую известность. Кроме того, де Местр публиковал научные работы по физике и химии и прекрасно рисовал. Одно время он даже давал уроки живописи в знатных русских домах и учил рисованию Ольгу Пушкину – старшую сестру будущего поэта. Более того, сохранился выполненный им миниатюрный портрет матери Пушкина – Надежды Осиповны. Был ли знаком сам поэт с французским графом и его повестью на жестокий кавказский сюжет? Однозначного ответа на этот вопрос сегодня нет.

Отголоски истории Каскамбо или генерала И.П. Дельпоццо, пробывшего в плену у чеченцев больше года, или какой-то другой, услышанной Пушкиным на юге, и дали, вероятно, первоначальный толчок к замыслу поэмы «Кавказский пленник». В давнем романе Д.Л. Мордовцева «Железом и кровью», посвященном ермоловским временам на Кавказе, приводится эпизод, когда Пушкин вместе с Николаем Раевским слушает в духане на Кислых водах поразивший его рассказ бывалого казака. Ветеран, на деревяшке и с солдатским «Георгием» на груди, поведал поэту, как его горцы арканом перетаскивали за Кубань. Свободу ему вернула черкешенка Зюльма, сама распилившая узнику кандалы. Как считал Мордовцев, «рассказ этот и послужил темой для знаменитой поэмы Пушкина». В подтверждение автор добавил от себя особое примечание: «В детстве, в 40-х годах, я знал одного донского войскового

старшину, который рассказал мне об этом пребывании Пушкина в Кисловодске».

Хотя в «Кавказском пленнике» Пушкин и упоминает гремящие цепи и ноги узника, закованные в «железы», передать средствами романтической поэмы весь ужас долгого плена было невозможно, к тому же автор имел в виду совсем другие художественные цели. В Посвящении к поэме он не преминул еще раз вспомнить о своем недавнем пребывании в краю, «Где рыскает в горах воинственный разбой». О близкой угрозе нападения Пушкин мог судить и по личным впечатлениям, полученным во время кавказских странствий. В письме к брату он сообщал: «Ехал в виду неприязненных полей свободных, горских народов. Вокруг нас ехали 60 казаков, за ними тащилась заряженная пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасться на аркан какого-нибудь чеченца».

Приведем еще выдержку из записок хорошо известного на Кавказе военного топографа Ф.Ф. Торнау: «Вечерняя встреча в поле с конными людьми в мохнатых шапках, когда, к тому же, лица были укутаны башлыками, и у передового ружье вынуто из чехла, редко предвещала добро. Сердце сжималось болезненно, когда в степи неожиданно появлялась шайка подобных ездовых; рука судорожно ложилась на курок ружья или пистолета, и тоску отводило только в счастливом случае, если удавалось разглядеть у них более сапогов, чем чевяк: значит казаки, а не чеченцы и не закубанцы».



Торнау очень хорошо знал, о чем писал: в свое время он осмелился, как говорили о нем горцы, «сунуть свою голову в пасть волку», то есть в одиночку проникнуть в горы. Эта дерзость обошлась военному разведчику слишком дорого: он провел в мучительном плену два года и два месяца. Хозяин пленника Аслан-бек Тамбиев надеялся получить за него пять четвериков (двадцать пудов) серебряной монеты. История дошла до государя Николая Павловича, распорядившегося выкупить несчастного офицера, если разбойники умерят требования. Но горцы не пошли на уступки и оценили своего пленника буквально на вес золота. Достоверный и подробный в деталях рассказ Торнау о днях, проведенных в неволе, постоянно заставляет вспоминать пушкинского «Пленника»: здесь и тяжкие оковы, и распиленная цепь, и помощь влюбленной в узника девушки Аслан-Коз, снабдившей его лепешками и ножом, и попытка преодоления при побеге полноводной горной реки Сагуаши. Правда, все описанные действительные события относятся к тридцатым годам XIX века, когда поэма была уже хорошо известна русским читателям. Ну что ж, это тот замечательный случай, когда не литература делает свои пронизательные наблюдения над жизнью, а жизнь удивительным образом подтверждает реальность поэтического сюжета.

Над «Пленником» Пушкин работал всю вторую половину 1820 года. Первый беловик был закончен к концу февраля следующего года, а еще через месяц в письме к Н.И. Гнедичу (издавшему до этого «Руслана и Людмилу») Пушкин уже сообщает о намерении прислать ему для печати свое новое творение.

Поэма увидела свет в Петербурге в 1822 году. Точнее было бы назвать ее повестью, как значилось на титуле первого и всех последующих изданий.

«Назовите это стихотворение сказкой, повестью, поэмой или вовсе никак не называйте», – писал об этом Пушкин своему издателю. Тонкая книжечка в 53 страницы имела приложение – портрет поэта работы Егора Гейтмана. Это первое изображение Пушкина, появившееся в печати, и Гнедич сделал по этому поводу особое примечание: «Издатели присовокупляют портрет автора, в молодости с него рисованный. Они думают, что приятно сохранить юные черты поэта, которого первые произведения озаменованы даром необыкновенным».

Получив в Кишиневе только что напечатанного «Пленника», автор в ответном письме поблагодарил Гнедича, а о своем портрете заметил: «Александр Пушкин мастерски литографирован, но не знаю, похож ли, примечание издателей очень лестно – не знаю, справедливо ли».

Не будем гадать, чем был вызван ошеломляющий успех поэмы у публики: картинами дикой природы, изображением ли воинственных горцев или историей трогательной любви юной черкешенки к русскому пленнику. «Черкесы, их обычаи и нравы занимают большую и лучшую часть моей повести... – признавался автор. – Вообще я своей поэмой очень недоволен и почитаю ее гораздо ниже «Руслана» – хоть стихи в ней зрелее».

Характер главного героя, «потерявшего чувствительность сердца», он считал неудачным, простоту плана – близкой «к бедности изобретения» и соглашался, что «поэму приличнее было бы назвать “Черкешенкой”». Некоторая несообразность романтического героя и тех обстоятельств, в которые он поставлен, была для Пушкина вполне очевидна, и он не раз потом (в письмах к Гнедичу, Горчакову, Вяземскому) подвергал весьма критической оценке собственное детище.



Изображая жизнь горцев, он не преминул детально описать их боевое снаряжение («Черкес оружием обвешан...» и далее), подготовку к воинственным делам («Летал по воле скакуна, К войне заранее приучаясь»), приемы внезапного и неотразимого нападения («верного боя») и, наконец, сбор всего аула для предстоящего набега («Кипят оседланные кони, К набегу весь аул готов»). Для характеристики черкесов у автора приготовлен продолжительный ряд таких эпитетов, как «воинственный», «бранный», «разбойничий», «коварный хищник» и тому подобных. В разделе примечаний поэт объяснил также значения слов, незнакомых русскому читателю (аул, уздень, шашка, сакля, байрам, чихирь) и выписал строки Державина и Жуковского, посвященные Кавказу. Перефразируя слова Белинского о «Евгении Онегине», можно сказать, что пушкинская поэма явилась для своего времени маленькой энциклопедией кавказской жизни.

В Петербурге в 1823 году пушкинского «Пленника» поставили на балетной сцене. Сделал это знаменитый балетмейстер Карл Дидло, а черкешенку (получившую имя Кзелкая) танцевала Авдотья Истомина. Находясь за тридевять земель от столицы, в Кишиневе, в «бессарабской глуши», Пушкин, сгорая от любопытства, просил в письме младшего брата: «Пиши мне о Дидло, об Черкешенке Истоминой, за которой я когда-то волочился, подобно Кавказскому пленнику». Сценическое воплощение поэмы потребовало идеологических изменений: действие спектакля было перенесено в Древнюю Русь, а пленник превратился в молодого славянского князя Ростислава. Финал полон торжественного апофеоза: пленный черкесский хан Сунчелей добровольно вступает в подданство России.

Во время поездки в Тифлис дорожные впечатления невольно вернули Пушкина к некоторым сценам «Кавказского пленника»: «Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе». Теперь, девять лет спустя после первого знакомства с Кавказом, его глазам предстали и горькие плоды «благотворной» деятельности наших военных властей: «Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги».

Тема трудных отношений русских с горцами, зародившаяся когда-то под сенью Бештау, по-прежнему находилась в круге творческого внимания поэта. Известно, что он вынашивал план кавказского романа, где похищение и плен играли в развитии сюжета не последнюю роль. Уходя от условностей романтической поэмы к грубой прозе жизни, Пушкин искал достоверные детали, рисующие бедственное положение пленника. Характер этих подробностей наводит на мысль, что поэт узнал о них, так сказать, из первоисточника: «Пленников они сохраняют в надежде на выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием, заставляют работать сверх сил, кормят сырым тестом, бьют, когда вздумается, и приставляют к ним для стражи своих мальчишек, которые за одно слово вправе их изрубить своими детскими шашками».

Для Пушкина «Пленник» всегда оставался одним из самых любимых творений: «отеческая нежность не ослепляет меня насчет «Кавказского пленника», – писал он, – но, признаюсь, люблю его сам не знаю, за что; в нем есть стихи моего сердца. Чер-



кешенка моя мне мила, любовь ее трогает душу».

Путешествуя по Военно-Грузинской дороге, на станции Ларс Пушкин обнаружил список своей поэмы и был обрадован встрече с собственной юностью: «Здесь нашел я измаранный список «Кавказского пленника» и, признаюсь, перечел его с большим удовольствием. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено верно». В эпилоге поэмы есть строки, где автор предрекает то время, когда

*Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые...*

События наших дней говорят, что, видимо, не все здесь «угадано и выражено верно» и что «бурные дни Кавказа» еще не окончены. Однако истекшее время позволяет толковать пушкинскую поэтическую формулу не только как боевой эпизод, но и как то, что русское сердце навсегда осталось в плену у Кавказа.

«Преданья грозного Кавказа»

Неразумные, если верить Пушкину, хазары занимали когда-то обширные территории, захватывая при этом и прикаспийские области Северного Кавказа. Простирался ли столь далеко праведный гнев «вещего» Олега, сказать теперь трудно. Продолжатель его мстительной исторической миссии Святослав разрушил на Дону хазарскую крепость Белую Вежу. Еще дальше в неудержимом стремлении на юг продвинулся с дружиной князь Мстислав – внук Святослава и герой задуманной, но неосуществленной поэмы Пушкина.

Напомним читателю, что первая, нечаянная, поездка поэта к «пределам Азии» подарила России «Кавказского пленника». Заряд впечатлений, полученный Пушкиным под сенью Бештау и Эльбруса, не был исчерпан этой поэмой. В ее эпилоге, рисуя фантастический полет своей музы на Кавказ, он намечает круг тем, которые могли еще вылиться из-под его пера в виде новых творений:

*Богиня песен и рассказа,
Воспоминания полна,
Быть может, повторит она
Преданья грозного Кавказа;
Расскажет повесть дальних стран,
Мстислава древний поединок...*

В примечаниях к поэме Пушкин счел необходимым сделать пояснение: «Мстислав, сын св. Владимира, прозванный Удалым, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косогами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. Ист. Гос. Росс. Том II».

Последуем пушкинскому совету и обратимся к «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. В разделе, посвященном событиям 1022 года, историк пишет: «Через несколько лет Мстислав объявил войну касогам или нынешним черкесам, восточным соседям его области. Князь их Редедя, сильный великан, хотел, следуя обычаю тогдашних времен богатырских, решить победу единоборством. «Начто губить дружину?» сказал он Мстиславу: «одолей меня, и возьми все, что имею: жену, детей и страну мою». Мстислав, бросив оружие на землю, схватился с великаном. Силы князя Российского начали изнемогать: он призвал в помощь Богородицу – низвергнул врага и зарезал его ножом.



Война кончилась: Мстислав вступил в область Редеди, взял семейство княжеское и наложил дань на подданных».

Здесь Карамзин передает события так, как они изложены в первом общерусском летописном своде – «Повести временных лет», составленной на основе более ранних летописей, преданий, повестей и сказаний – исторического, а иногда и сказочного характера. «Повесть» приводит еще и ту подробность, что Мстислав, обратившись в роковой миг к помощи богородицы, обещает построить церковь во имя ее. («О пречистая богородице! помози ми; аще бо одолею сему, съзижу церковь во имя твое»). Одержав верх в поединке, князь выполнил свое обещание («И пришедъ Тмутороканю, заложи церковь святыя богородица, и созда ю, яже стоит и до сего дне Тмуторокани»).

Также и безвестный автор «Слова о полку Игореве» отдал дань памяти «храброму Мстиславу, иже зареза Редедю предъ пълкы касожькыми».

Расскажем подробнее о русском витязе, будившем поэтическое воображение Пушкина.

Мстислав Храбрый (или Удалой) – внук киевского князя Святослава, сын Владимира Святого и младший брат Ярослава Мудрого. Получил в княжение Тмутаракань и в 1022 году совершил поход «на касоги», который и окончился счастливым для него поединком с касожским князем Редедю. В 1023 году, по словам летописца, «поиде Мстислав с коза-ры и с косаги на великого князя Ярослава» (коза-ры – хазары, а касогами русские летописи называли черкесов). Под Лиственном (недалеко от Чернигова) на берегах реки Руды он разбил своего старшего брата Ярослава, но потом заключил с ним соглашение, по которому оставил за собой все земли к востоку от Днепра. «Искреннее согласие двух государей

российских, – сообщает Карамзин, – продолжалось до смерти одного из них. Мстислав, выехав на ловлю, вдруг занемог и скончался. Сей князь, прозванный Удалым, не испытал превратностей воинского счастья: сражаясь, всегда побеждал; ужасный для врагов, славился милостью к народу и любовью к верной дружине; веселился и пировал с нею подобно великому отцу своему, следуя его правилу, что государь не златом наживает витязей, а с витязями злато. Он поднял меч на брата, но загладил сию жестокость, свойственную тогдашнему веку, великодушным миром с побежденными, и Россия обязана была десятилетней внутреннею тишиною счастливому их союзу, истинно братскому. – Памятником Мстиславовой набожности остался каменный храм Богоматери в Тмутаракане, созданный им в знак благодарности за одержанную над касожским великаном победу, и церковь Спаса в Чернигове, заложенная при сем князе: там хранились и кости его в Несторово время. Мстислав, по словам летописи, был чермен лицом и деibel телом; имел также необыкновенно большие глаза. Он не оставил наследников: единственный его сын, Евстафий, умер еще за три года до кончины родителя».

В период княжения Мстислава его столица Тмутаракань стала крупным городом с мощными крепостными стенами и выстроенными им каменными церквями. В современной историографии утвердилось мнение, что поединок князя с Редедей «был ритуальным. “Божий суд” передал власть Мстиславу над всеми зихско-касожскими объединениями. Мстислав стал не только тмутараканским князем, но и касожско-зихским сувереном, главой адыгских групп, оседавших в городе и его ближайшей округе, светским главой находившейся в Тмутаракани зихской епархии. После этого поединка в дружин-



ной среде Мстислав назван Храбрым, в посадской среде – Удалым, в церковно-монашеской Лютым... Дань, которую наложил Мстислав на касогов, по существу являлась податью и состояла в основном из продуктов местного земледелия» (Алексеева Е.П. Вопросы взаимосвязей народов Северного Кавказа с русскими в X–XV вв. в отечественной исторической науке).

Известно также, что Мстислав с дружиной совершил два военных похода в Закавказье – в Ширван. Спустившись на ладьях по Куре и вдоль берега Каспийского моря, он достиг стен Баку, однако крепость взять не смог.

Имя касожского князя Редеди встречается в русских летописях. В Родословных книгах сказано, что Мстислав, убив его, взял двух его сыновей, крестил и назвал одного Юрьем, а другого Романом. За последнего выдал свою дочь. Так кровь Редеди, пролитая некогда Мстиславом, смешалась с кровью русских князей и бояр.

Теперь обратимся к источникам противоположной стороны – в данном случае к «Истории адыгейского народа» кабардинского просветителя и поэта Шоры Ногмова. В своем труде Шора поведал о походе адыгейских племен на Тамтаракай (Тмутаракань). О столкновении своих дальних предков с дружиной Мстислава он сообщает следующее:

«Тамтаракайцы вышли к ним навстречу со своим ополчением: когда обе армии сблизились, Редедя, по обычаю тогдашних времен, захотел решить участь войны единоборством. Он стал просить у тамтаракайского князя бойца и говорил ему: “чтобы не терять с обеих сторон войска, не проливать напрасно крови и не разрывать дружбы, одолей меня и возьми все, что имею”. Князь Тамтаракайский решился и не стал искать в своем войске еди-

ноборца, а пошел сам на вызов великана. Противники сняли с себя оружие, положили его на землю и начали борьбу, продолжавшуюся несколько часов. Наконец Редедя пал, и князь поразил его ножом. Происшествие это прекратило войну, и адыгейцы возвратились в отечество, более сожалея о потере лучшего воина, чем о неудаче предприятия».

О самом Редеде говорится, что «не было в адыгейском народе никого, кто бы мог устоять против силы Редеди; почему современники прославили его в следующей песне: ой, Ридадя, о Ридадя махореда, о Ридадя махо! – то есть “Редедя, Редедя, многосчастливый Редедя!” Эту песню и ныне поют во время свадьбы, жатвы или сенокоса, когда народ бывает в сборе».

В статье Талиба Кашежева «Свадебные обряды кабардинцев», впервые напечатанной журналом «Этнографическое обозрение» в 1892 году, приводятся сведения, что кабардинцы «при въезде в аул тянут обыкновенно свадебную песню: «О-Ридадо!» и непременно джигитуют, унося при этом шапки один другого далеко по дороге и бросая их на землю...» И далее: «Выпив бузу, старухи, как бы для увеселения молодой, поют песни, а некоторые из них и пляшут. После этого певчие затягивают на дворе «О-Ридаде», и молодую выводят из дома... Простившись с хозяевами, все выходят из дома. Затягивается «О-Ридаде» и товарищи со стрельбою провожают молодого до самого дома».

Исторический труд Ногмова, составленный по преданиям кабардинцев, издан полтора века тому назад, однако свадебный припев, о котором он пишет, можно услышать у горцев и в наши дни, а иногда, в несколько искаженном и упрощенном виде (о, райда, райда) и у русскоязычного населения Северного Кавказа.



Но не все здесь так просто. То, что в нем звучит имя Редеди, не раз ставилось под сомнение, равно как и сам рассказ Шоры, что кабардинские предания сохранили память о давнем поединке. Считали, что Ногмов излагал события слишком близко к русским летописным источникам и версия о том, что «черкесы помнят о Редеде, не более, как миф, – результат простого недоразумения: неверного истолкования припева к свадебным песням» (Н.С.Трубецкой). Другие же склонялись к правоте кабардинского историка и в звуках припева слышали прорвавшийся сквозь толщу столетий отголосок реальных событий, разыгравшихся когда-то у склонов Кавказа.

Спустя несколько лет после гибели Редеди, как повествует Ногмов, адыгейцы собрали большое войско, подкрепленное шестью тысячами оссов (осетин), и после упорной борьбы овладели Тамтаракаем. Захватив богатую добычу и множество пленных, они вернулись домой. С той поры у адыгейцев существует пословица: «Да будет тебе участь Тамтаракая». Еще говорят бранясь: «Будь ты Тамтаракаем!»

Но вернемся к поэтическим замыслам Пушкина. «Преданья темной старины» имели над поэтом несомненную власть. Имя Мстислава (как возможного героя поэмы на исторический сюжет) он упомянул еще раз – в письме от 23 февраля 1825 года к Н.И. Гнедичу, завершившему в то время перевод «Илиады» Гомера: «...Отдохнув после «Илиады», что предпримете Вы в полном цвете гения, возмужав во храме Гомеровом, как Ахилл в вертепе Кентавра? Я жду от Вас эпической поэмы. Тень Святослава скитается не воспетая, писали Вы мне когда-то. А Владимир? а Мстислав? а Донской? а Ермак? а Пожарский? История народа принадлежит поэту».

(Последняя фраза представляет собой измененные слова из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина: «История народа принадлежит царю»).

К этому времени Пушкин уже написал «Повесть о вещем Олеге», сюжетом которой послужил летописный рассказ, почерпнутый поэтом в первом томе той же «Истории...» Успех поэмы «Руслан и Людмила», воскрешающей «дела давно минувших дней», а потом и ошеломляющий успех «Кавказского пленника», открывшего читающей России «великолепные картины» Кавказа, – все это могло подтолкнуть Пушкина к мысли объединить историческую тему с кавказской в пределах одного поэтического сюжета, и выбор здесь пал именно на «Мстислава». К тому же, как замечает исследователь, «бой Мстислава с Редедей... привлек внимание Пушкина потому, что произошел на севере Кавказа, в местах, которые посетил он в 1820 г.»

В 1822 году Пушкин сделал наброски плана новой поэмы, как бы очертив еще не ясные контуры будущего сюжета, заставляющего вспомнить некоторые ситуации и мотивы «Руслана и Людмилы». Действие начинается в Киеве, когда князь Владимир делит Россию на уделы. Дальше же идет волшебная, приключенческая сказка, финал которой (как и в «Руслане») возвращает нас к событиям, близким к исторической реальности, – набегу печенегов. Мстислав же «увлечен чародейством в горы Кавказские», в него влюбляется царевна косогов. В сущности, Пушкин отходит от замысла о реальном единоборстве Мстислава, в набросках плана нет даже имени Редеди. В сюжет вплетается линия Ильи Муромца, встречающегося со своим сыном.

Трудно судить о том, что из этих отрывочных набросков получилось бы в окончательном вариан-



те; твердо мы знаем лишь то, что замысел о Мстиславе не был осуществлен.

Поэма о «древнем поединке» князя Мстислава – не единственный из неосуществленных или неоконченных замыслов Пушкина о Кавказе. Среди них поэма «Тазит», замыслы о русской девушке и черкесе и роман на Кавказских водах. Даже не воплощенные, они остаются свидетельством активного художественного освоения огромного пространства – новых южных провинций России, когда, по выражению Белинского, «с легкой руки Пушкина Кавказ сделался для русских заветною страню не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страню кипучей жизни и смелых мечтаний!..»

«Я ехал в дальные края...»

Новой встречи с поэтом Кавказ ждал долгих девять лет. В черновиках предисловия к «Путешествию в Арзрум» Пушкин так объяснил цель своей второй поездки на юг: «В 1829 году отправился я на Кавказ лечиться на водах». Вероятно, были и другие причины, которые поэт не имел намерения выставлять на суд публики. Еще за два года до путешествия, в мае 1827 года, в письме из Москвы к брату Льву, служившему тогда в Тифлисе, Пушкин был более откровенен: «Из Петербурга поеду или в чужие края, т.е. в Европу, или восвоюси, т.е. во Псков, но вероятнее в Грузию, не для твоих прекрасных глаз, а для Раевского». Поясним, что полковник Николай Николаевич Раевский-младший подвергся аресту по делу о 14 декабря, но вскоре был освобожден с очистительным аттестатом». С сентября 1826 года он пребывал в должности командира Нижегородского драгунского полка, расквартирован-

ного в Грузии.

Много позднее, в 1832 году, в черновом незавершенном отрывке Пушкин набросал поэтическую формулу, раскрывающую внутреннюю, глубоко личную суть предпринятого вояжа:

*Желал я душу освежить,
Бывалой жизнью пожить
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей.
Я ехал в дальние края...*

Самовольная поездка Пушкина на Кавказ и дальше в Грузию, и еще дальше – к стенам турецкого Арзрума вызвала недовольство императора Николая. Вынужденный если не оправдываться, то хотя бы формально объяснить обстоятельства этого путешествия, поэт в ноябре 1829 года обратился с письмом к Бенкендорфу:

«По прибытии на Кавказ я не мог устоять против желания повидаться с братом, который служит в Нижегородском драгунском полку и с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому, другу детства, с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника...»

Как отмечал поэт в путевом дневнике, он «решился пожертвовать одним днем и из Георгиевска отправился в телеге к Горячим водам». Кто знает, какие причины заставили его изменить прямой маршрут в Грузию, – скорее всего, это был зов серд-



ца, горячее желание еще раз вдохнуть воздух юности, тех далеких и «милых сердцу дней», когда «забытый светом и молвою» он исцелял свои недуги и тревоги холодным кипятком нарзана и дружбой братьев Раевских.

После первого пушкинского визита на юг здесь, на водах, в 1823 году побывал 19-летний Михаил Глинка. Много лет спустя он вспоминал, что «вид теперешнего Пятигорска в то время был совершенно дикий, но величественный: домов было мало, церквей, садов вовсе не было; но так же, как и теперь, тянулся величественно хребет Кавказских гор, покрытых снегом, так же по равнине извивался Подкумок и орлы во множестве ширяли по ясному небу». Полагают, что посещение Аджи-аула у подножия Бештау вдохновило впоследствии композитора на создание лезгинки, вошедшей в цикл восточных танцев в опере «Руслан и Людмила». Еще два года спустя у целебных ключей побывал Н.И. Гнедич.

Но вернемся к поездке Пушкина. На этот раз поэт провел в Пятигорске всего лишь несколько часов и нашел на водах «большую перемену», которой молодой курорт был обязан командиру Отдельного Кавказского корпуса А.П. Ермолову, прекрасно понимавшему значение этой лечебной базы для вверенных ему войск. Именно «проконсул Кавказа» положил начало продуманному и планомерному устройству курортной местности. «Из Георгиевска я заехал на Горячие воды, – читаем в первой главе «Путешествия в Арзрум». – Здесь нашел я большую перемену... Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склонению Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи обделаны, выложены камнем; на стенах ванн прибиты предписания от полиции;

езде порядок, чистота, красивость... Признаюсь: Кавказские воды представляют ныне более удобностей; но мне было жаль их прежнего дикого состояния...»

В наступлении цивилизации на владения «природы дикой и угрюмой» Пушкин готов был признать «естественный ход вещей», но с понятной грустью вспоминал то время, когда «ванны находились в лачужках, наскоро построенных. Источники, большею частию в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы». А сам поэт черпал «кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки» и карабкался по крутым каменным тропинкам над неогороженной пропастью пятигорского Провала. Воспоминания о днях, проведенных здесь с семьей генерала Раевского, сопровождали Пушкина на обратном пути в Георгиевск. В наступавших сумерках контуры Бештау на горизонте становились все чернее, а потом растаяли в темноте. Внизу шумел по кремням Подкумок. Может быть, именно в эти минуты рождались строки:

*Все тихо – на Кавказ идет ночная мгла.
Мерцают звезды надо мною.
Мне грустно и легко, печаль моя светла...*

На следующее утро, покинув Георгиевск, поэт отправился в Екатериноград, откуда в то время начиналась Военно-Грузинская дорога.

В путешествии 1829 года по кавказским предгорьям Пушкину припомнился один из героев недавнего прошлого – знаменитый шейх Мансур. «Черкесы очень недавно приняли магометанскую веру, – замечает поэт. – Они были увлечены деятельным фанатизмом апостолов Корана, между ко-



ими отличался Мансур, человек необыкновенный, долго возмущавший Кавказ противу русского владычества, наконец схваченный нами и умерший в Соловецком монастыре».

Эта история произошла на Северном Кавказе в 1785 году. Уроженец чеченского аула Алды по имени Ушурма, постигнув премудрости шариата, стал проповедовать соплеменникам газават, то есть войну против «неверных». Он внушал им простую идею: бедствия, которые горцы терпят от русских, есть наказание всевышнего, посланное им за отступничество от истинной веры. И еще утверждал, что во сне ему явились посланцы Аллаха – два всадника в белых одеждах и велели вести за собой народ. Ушурма принял имя шейха Мансура, его призывы имели успех, и, почувствовав опасность, военные власти направили в Алды карательный отряд полковника Пъери, дабы захватить «лжепророка». При первых же выстрелах Мансур успел скрыться, русские сожгли аул и, посчитав дело конченным, двинулись во свояси. И вот тут в дремучих лесах на берегах реки Сунжи разыгрались главные трагические события этого печального дня. Сам Пъери и восемь его офицеров были убиты. Отряд, состоявший из трех батальонов пехоты, почти полностью истреблен, часть людей и два орудия захвачены нападавшими. Это была «первая большая наша неудача в горах Чечни, – замечает историк, – когда, по чеченскому преданию, от всего русского войска остались только фуражки, несшиеся по течению реки». Уцелела лишь горстка русских, а среди них, по счастью, адъютант Пъери – унтер-офицер князь Петр Иванович Багратион, уроженец Кизляра и будущий герой Бородинской битвы.

На крыльях успеха Мансур повел толпу своих приверженцев на Кизляр. Атакованный ими Кар-

гинский редут, прикрывавший подходы к городу, был охвачен пожаром и взлетел на воздух от страшного порохового взрыва. Ночью чеченцы переправились через Терек, чтобы с рассветом начать штурм Кизляра, но в темноте безнадежно завязли в болотах. Утопая в трясине, лошади сбрасывали седоков, а подоспевшие казаки открыли плотный перекрестный огонь.

Мансур ушел, быстро теряя разбежавшихся сторонников, но вскоре объявился в Кабарде, где пламя газавата стало разгораться с новой силой. Он напал на Григориополисское укрепление, снова попытался взять Кизляр, но всюду был отбит. Для борьбы с мусульманским мессией военные власти сформировали ударный отряд полковника Нагеля, насчитывавший четыре батальона пехоты, роту артиллерии и Моздокский казачий полк. Под этот каток Мансур, также собравший внушительные силы, угодил в ноябре месяце вблизи развалин древнего Татартупа, был наголову разбит и бежал к туркам за Кубань. В 1791 году, когда генерал Гудович взял штурмом Анапу, ее десяти тысячный гарнизон был почти полностью истреблен, а укрывшийся в крепости Мансур взят в плен и отправлен в столицу империи.

Для полноты картины добавим, что существует еще и, так сказать, итальянская версия происхождения Мансура, изложенная, например, в первом томе «Кавказской войны» В.А. Потто. Из нее следует, что после поражения шейха на Северном Кавказе один из его сподвижников скрылся, похитив у своего предводителя драгоценности и важные бумаги. Эти подлинные мемуары и письма Мансура осели, в конце концов, в Туринском государственном архиве, где их, годы спустя, обнаружил профессор местного университета. «По этим документам шейх



Мансур, – излагает военный историк, – есть ни кто иной, как итальянский авантюрист Джованни Батиста Боэтти, уроженец Монферата, где отец его был нотариусом. Пятнадцати лет от роду отец отправил его изучать медицину. Но Боэтти, которому наука не пришлась по душе, скоро бежал в Милан и завербовался в солдаты. Достаточно было двух месяцев, чтобы и военная служба опротивела ему: он бежал в Богемию и после целого ряда странствований, отмеченных то забавными, то печальными похождениями, явился в Рим, где и поступил в монахи в доминиканский монастырь».

Еще через несколько лет Боэтти отправился миссионером на Восток, но эта миссия была для него невыполнима. Всюду изгнанный, пережив череду бедствий, скандалов и заключений под стражу, он скитался по городам и весям от Багдада до Тифлиса, пока, наконец, в его голове не возник фантастический замысел явиться в мусульманском мире новым пророком. Захваченный этой безумной идеей, новоявленный претендент на роль Магомета не замедлил выучить на память весь Коран, но тут же, заподозренный в шпионстве, был арестован турецкими властями и в кандалах доставлен в Константинополь.

Он сумел выбраться и отсюда и счел за лучшее вернуться в Европу и, между прочим, три месяца провел в Петербурге, где настойчиво предлагал Потемкину план военного вторжения в Турцию. Свои виды на Константинополь были, разумеется, и у русских, но ввязываться в чужую авантюру светлейший не стал. Обжегшись однажды на турках, Боэтти не захотел больше испытывать судьбу и теперь решил разыграть свой кровавый сюжет среди гор и ущелий Северного Кавказа.

«Плененный Мансур отправлен был в Петербург, – заключает свой рассказ Потто. – Императрица пожелала видеть пленника, и его привезли в Царское Село, где тогда находился двор. Там, как рассказывают, его приказали водить около дворцовой колоннады взад и вперед под окнами, из которых на него смотрела Екатерина».

Достоверность итальянской версии вызывала большие сомнения уже у Потто. Серьезные возражения по этому же поводу высказывал и советский профессор Н.И. Покровский, детально рассмотревший реальность сведений о Мансуре, мелькавших когда-то на страницах итальянской печати. Все эти данные, считал он, слишком неточны, чтобы они могли исходить от человека, стоявшего в самом центре событий. «Мы не хотим всем этим сказать, – заключает свои наблюдения знаменитый историк-кавказовед, – что Боэтти никогда не существовал. Может быть, он даже действовал в Малой Азии и Армении. Но одно несомненно: отождествление Мансура-Боэтти с чеченцем Мансуром не имеет под собой никакой почвы и является плодом поверхностного подхода к источникам и погони за сенсацией».

И Пушкин, и Потто и даже Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона допускают неточность, утверждая, что Мансур был сослан Екатериной в Соловецкий монастырь. «Ея императорское величество, – говорят документы, – не почитая его отнюдь за военнопленного, как сущего развратника... указали допросить о всех его нахождениях и всех деяниях его, содержа между прочим под крепкою стражею». Воля императрицы была исполнена: несколько лет мятежный шейх провел в строгом заточении и в 1794 году окончил свои дни в каменном гробу Шлиссельбурга.



«Вблизи развалин Татаруба»

На Военно-Грузинской дороге Кавказ открылся Пушкину во всем своем мрачном величии. Вид окрестных гор и ущелий с тех пор едва ли изменился. Пристальный взгляд поэта выделил на этом фоне и ряд кавказских древностей, некоторые сведения о необычной судьбе которых нам удалось разыскать.

Первая крепость на Тереке появилась еще при Иване Грозном. Она так и называлась – Терки и находилась на его левом берегу, напротив устья Сунжи. Сползание молодой империи на юг решительно устремил Петр. Взятием Азова он попытался прорубить окно в Азию, а в 1722 году, предприняв Дагестанский поход, без боя покорил Дербент и в устье реки Сулак основал крепость Святой крест. Через десять лет небольшой экспедиционный отряд, направленный из этой крепости на территорию современной Чечни, имел боевое столкновение с жителями аула Чечень. Таким образом, и первые сведения, да и само название чеченцев вошли в русскую жизнь и русский язык из военных реляций.

Среди своих предшественников в описании Кавказа Пушкин назвал Жуковского, поместив в примечаниях к «Пленнику» несколько его «преlestных стихов» из «Послания к Воейкову»:

*Ты зрел, как Терек в быстром беге
Меж виноградников шумел,
Где, часто притаясь на бреге,
Чеченец иль черкес сидел
Под буркой, с гибельным арканом...*

Далее следует описание грандиозной кавказской природы и обширный перечень соседственных нам теперь горских племен. Некоторые из них

(что понятно и простительно) названы поэтом не совсем верно, а некоторые (например, невразумительные «чечереец» или «бах») до сих пор вызывают трудности в идентификации. Кончается этот прелестный, как считал Пушкин, отрывок сценой, когда горцы в ауле

*В дыму клубящемся сидят
И об убийствах говорят,
Иль хвалят меткие пищали,
Из коих деды их стреляли;
Иль сабли на кремнях острят,
Готовясь на убийства новы...*

Некоторые этнографические неточности, правда, иного рода, есть и у Пушкина. Действие его второй кавказской поэмы «Тазит» происходит в Кабарде – «вблизи развалин Татартуба», и персонажи поэмы, соответственно, «адехи», то есть адыги (адыге – самоназвание кабардинцев, черкесов и адыгейцев). Потом автор об этом как будто забыл, и из дальнейшего текста следует, что его герои уже чеченцы. Поэма посвящена, собственно, проблеме кровомщения. Старший сын старика Гасуба «рукой завистника убит». Младший сын Тазит неожиданно проявляет себя как отступник горских обычаев: встретив во время дальней отлучки убийцу брата, он из каких-то странных гуманитарных соображений пощадил кровника. Свой поступок он объясняет тем, что «Убийца был Один, изранен, безоружен...» Обвиняя сына в неисполнении «долга крови», старик «грозно возопил»:

*Поди ты прочь – ты мне не сын,
Ты не чеченец – ты старуха...*

Поэму Пушкин не окончил, сохранились только черновые планы, породившие в ученых кругах раз-



норечивые предположения о развязке сюжета. Полагают даже, что, встретив миссионера, Тазит принял христианство, поступил на русскую военную службу и сражался против своих.

Поэму очень высоко (и страстно!) оценил Белинский. «Отец Тазита, – писал он, – чеченец душой и телом, чеченец, которому непонятны, которому ненавистны все нечеченские формы жизни, который признает святою и безусловно истинною только чеченскую мораль и который, следовательно, может в сыне любить только истого чеченца».

Белинский, может быть, в жизни никаких чеченцев не видел и до их морали дела ему вовсе не было. Для него это только форма подцензурного иносказания. «Галилея в Италии, – продолжает он, – чуть не сожгли заживо за его несогласие с чеченскими понятиями о мировой системе, но там человек знанием опередил свое общество и, если б был сожжен, мог бы иметь хоть то утешение перед смертью, что идей-то его не сожгут невежественные палачи... Здесь же человек вышел из своего народа своею натурою без всякого сознания об этом, – самое трагическое положение, в каком только может быть человек!.. Один среди множества, и ближние его – враги ему; стремится он к людям и с ужасом отскакивает от них, как от змеи, на которую наступил нечаянно... И винит, и презирает, и проклинает он себя за это, потому что его сознание не в силах оправдать в собственных его глазах его отчуждения от общества... И вот она – вечная борьба общего с частным, разума с авторитетом и преданием, человеческого достоинства с общественным варварством! Она возможна и между чеченцами!..»

Все это показательно в том смысле, что Тазит у Пушкина, как потом и Мцыри у Лермонтова, – чеченец, можно сказать, не этнический, а чисто литера-

турный. Национальная раздвоенность (или удвоенность) персонажей поэмы имела свои последствия. После вдохновенного пассажа о «чеченских понятиях» Белинский вдруг сбивается и воздает хвалу Пушкину за последние стихи поэмы, представляющие уже «живое изображение черкесских нравов». Столь явная нестыковка заставила издателей «Полного собрания сочинений» Белинского сделать особое примечание: «Отождествление чеченцев с черкесами восходит к тексту поэмы Пушкина. Какой именно народ (чеченцы или черкесы) изображен в «Тазите» – еще не установлено».

Впоследствии похожие затруднения («какой именно народ») вызвал у Белинского и анализ лермонтовской «Бэлы». Героиню повести он именуется черкешенкой, забывая, что черкешенки не говорят по-татарски. Азамат для него то черкес, то татарчонок. Население аула, куда Максим Максимыч и Печорин приглашены на свадьбу, также черкесы, хотя действие повести происходит за Терекон, в Чечне. Трудно упрекать в этой путанице великого критика, преодоление подобной этнографической нечуткости не состоялось, кажется, в нашем сознании и по сей день. Говоря современным языком, и Тазит, и Бэла, и вся ее родня – это всего лишь, увы, «лица кавказской национальности».

Упоминание Татартупа (буквально «Татарский стан») в «Тазите» навеяно, несомненно, дорожными впечатлениями Пушкина. «Первое замечательное место есть крепость Минарет... – вспоминал поэт, работая над «Путешествием в Арзрум». – Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет сви-



детельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудями камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичках славлюбивыми путешественниками».

Татартупский минарет, грандиозный памятник старины, достигал в высоту более 20 метров. Столь выдающаяся деталь ландшафта обращала на себя внимание всех проезжающих, и редко кто мог устоять от соблазна окинуть взглядом окрестность с верхней площадки монумента, уступающего высотой разве что колокольне Ивана Великого. «Правильность фигуры сего минарета, – сообщает путешественник, – свидетельствует, что строители были весьма искусны в архитектуре. Внутри идет улиткою лестница, по которой всходил я на самый верх».

Дважды запечатлел минарет на своих рисунках знаменитый художник Никанор Чернецов, чьею картиною «Вид Дарьяла» Пушкин украсил свой кабинет в доме на Мойке.

Археологические раскопки говорят, что когда-то здесь шумел многолюдный город; он лежал на важном торговом пути. Среди горцев развалины Татартупа пользовались особенным почитанием, Пушкин мог слышать об этом на Кавказе, к тому же в его личной библиотеке хранились книги Сегюра, И. Дебу и С. Броневского со сведениями об этом древнем поселении. Шора Ногмов утверждал, что особое значение Татартупа у кабардинцев получило даже устойчивую словесную формулу: «предание продолжало сохраняться в пословице; народ вместо клятвы говорил для утверждения своих слов: татартуп пенжесен – да буду в татартупе многажды!»

Выдающийся кавказовед Л.П. Семенов полагал, что у Пушкина «упоминание о Тартарупе – тонкий художественный штрих, углубляющий драматическую фабулу, развиваемую в поэме; сын Гасуба убит близ места, чтившегося горцами; тот, кто искал здесь прибежища, считался по адату неприкосновенным; следовательно, тот, кто нарушал этот обычай, усугублял свою вину, так как являлся не только убийцей, но и клятвopеступником».

Трудно судить, какую роль в развитии сюжета сыграл бы в «Тазите» этот «тонкий художественный штрих», а пока, неспешно передвигаясь по предгорьям Северного Кавказа в сопровождении okazji (то есть надежного конвоя и пушки с курящимся фитилем), поэт-философ предавался раздумьям о будущей судьбе горских народов. Девять лет назад, упомянув в эпилоге «Кавказского пленника» имя Ермолова («Поникни снежною главой, Смирись, Кавказ: идет Ермолов!»), он оказался плохим пророком: Ермолов пришел и ушел, а Кавказ все еще оставался неусмирённым. Вся война, беспримерная по перенесенным тяготам и принесенным жертвам, была еще впереди. В первой главе «Путешествия в Арзрум» поэт набросал конспективный план покорения Кавказа, высказав сначала стратегически разумные соображения о перекрытии кислорода, а окончив, увы, наивными прожектами о пользе самовара и христианских проповедей: «Что делать с таким народом? Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия».



Впрочем, что делать с Кавказом, тогда (равно и теперь) не знал никто. Павел Пестель, которого Пушкин назвал «одним из самых оригинальных умов» полагал в «Русской правде» мирных горцев оставить на месте, а буйных «силой переселить во внутренность России, раздробив их малыми количествами по всем русским волостям». В противоположность ему другой знакомый Пушкина и тоже декабрист – генерал М.Ф. Орлов (муж Екатерины Раевской) был убежден, что «так же трудно поработить чеченцев и другие народы того края, как сгладить Кавказ. Это дело исполняется не штыками, но временем и просвещением, которого и у нас неизбыточно...»

Пора столь масштабных, как прогностически виделось Пестелю, экспериментов тогда еще не пришла. Нам же, его дальним потомкам, история продемонстрировала мучительную нерезультативность такого пути. В конце концов, победу (если можно говорить о победе) тут одержал не самовар и даже не штык, а топор, то есть все-таки ермоловская осадная стратегия рубки леса, о чем потом одноименным рассказом, а особенно отчетливо в «Хаджи-Мурате» напомнил Лев Толстой.

(Окончание следует).

М. Е. Салтыков-Щедрин в творческой судьбе Я. Абрамова

Ставрополье по праву гордится тем, что в мировую историю и культуру вошло имя Я. В. Абрамова, родившегося в Ставрополе-Кавказском 22 октября 1858 года и ушедшего из жизни в этом же городе 18 сентября 1906 года.

Первыми, кто заметили Якова Абрамова, приехавшего в Петербург из провинциального Ставрополя в декабре 1880 года в надежде на литературную карьеру, и более того – поддержали его, были знаменитые писатели Г. И. Успенский и М. Е. Салтыков-Щедрин. Именно автор «Истории одного города» и «Господ Головлёвых» предложил начинающему литератору сотрудничество в самом лучшем периодическом издании демократического направления того времени – в журнале «Отечественные записки». М. Е. Салтыков-Щедрин прозорливо разглядел в молодом писателе «талантливого», «толкового человека». Такую характеристику дал он Якову Абрамову в письмах Н. К. Михайловскому, известнейшему общественному



**ВЯЧЕСЛАВ
ГОЛОВКО**

***Литературо-
ведение***





деятелю, прозаику, литературному критику, публицисту. Имя Я. В. Абрамова, активно печатавшегося во многих столичных периодических изданиях того времени, очень быстро стало известным всей России.

Непосредственное окружение писателя-просветителя в редакциях петербургских журналов и газет 1880-х годов, безусловно, способствовало его укреплению на позициях легального народничества. В «Отечественных записках» Я. В. Абрамов работал вместе с Н. К. Михайловским, Г. З. Елисеевым, А. М. Скабичевским, С. Н. Кривенко, С. Н. Южаковым и другими предшественниками и теоретиками народничества.

В сознании многих современников его имя ассоциировалось с практикой «малых дел», появился даже термин «абрамовщина», введённый в журналистский обиход идейными оппонентами писателя-просветителя. Сегодня мы уже знаем, что его общественно-политические и эстетические взгляды далеко не во всём совпадали с основами народнического мировоззрения. Гораздо больше в наследии Я. В. Абрамова обнаруживается точек соприкосновения с идеологией демократического просветительства и теорией эволюционизма. Течение демократического просветительства в его народнической разновидности до сих пор изучено недостаточно, слабо дифференцируется в ряду других идеологий последних десятилетий XIX века.

В современных исследованиях учёных-историков разных научных школ уже ставится вопрос о неправомочности маркировки теории «малых дел» именем Я. В. Абрамова.

М. Е. Салтыкова-Щедрина как «хранителя идейного наследства» демократов-шестидесятников в художественных произведениях Якова Абрамова привлекало то, что в них не выражалась вера в

особый уклад, в общинный строй русской жизни, которая поддерживалась народниками «почвеннической» ориентации. Не было в них идеализации «деревни» и крестьянской общины, что и отличало молодого писателя от многих прозаиков и публицистов русского народничества. Более того, с иронией говорил он о тех, кто «идеализировал» «боготворимый народ» или «восхищался всем строем деревенской жизни». Нет в его произведениях и проповеди идей субъективной социологии, субъективных теорий общественного прогресса, столь характерных для идеологов народничества. В отличие от ортодоксальных народников Яков Абрамов, как и Салтыков-Щедрин, не считал капитализм случайным явлением, которое надо оценивать однозначно отрицательно.

То, что по своему мировоззрению и устремлениям Я. В. Абрамов отличался от сподвижников в легально-народническом окружении, позволило М. Е. Салтыкову-Щедрину и Н. К. Михайловскому не только привлечь в 1881 году молодого литератора к работе в «Отечественных записках», но и выделить его из этой среды. М. Е. Салтыков-Щедрин дал высокую оценку «Программе вопросов для собирания сведений о русском сектантстве» Я. В. Абрамова, где ставились вопросы о «способности русского народа к творчеству новых форм жизни», о взаимоотношении народа и интеллигенции, о путях «выхода стеснённых сил... народного духа», о поисках «солидарности в людских отношениях» и новых форм «организации экономических отношений» в целях преодоления социальных противоречий «нового порядка». М. Е. Салтыков-Щедрин писал Н. К. Михайловскому 18 февраля 1881 года о том, что после публикации «Программы» Я. В. Абрамова «непременно останется впечатление и мнение». В феврале 1884 года он обращался к тому же адресату



с предложением «приспособить Абрамова» к подготовке материалов для одного из самых сложных и ответственных отделов журнала – «Внутреннее обозрение».

«Внутреннее обозрение», написанное молодым публицистом к мартовскому номеру «Отечественных записок» 1884 года, дало повод М. Е. Салтыкову-Щедрину сделать вывод о том, что «Абрамов будет дельнее Кривенко и в тысячу раз талантливее Южакова». Он имел в виду как аналитические способности Якова Абрамова, так и его идиостиль, особенности языка, мышления, силу аргументаций. Сопоставление Я. В. Абрамова с такими широко известными публицистами, как С. Н. Кривенко и С. Н. Южаков, говорит о многом. Первый из них представлял в «Отечественных записках» радикальную часть народнической интеллигенции 1870 – 1880-х годов; второй, будучи сторонником абсолютизации сельской общины и артели, – тех народников, в концепциях социального прогресса которых главная роль отводилась этическому фактору. М. Е. Салтыков-Щедрин, как видим, предпочтение отдавал Я. В. Абрамову, мировоззренческие позиции которого позволяли рассматривать вопросы «народной жизни» в свете «общечеловеческой правды и справедливости», исходя не из «готовых идей», а из закономерностей и факторов естественно-исторического развития.

«Будущность России» Я. В. Абрамов связывал с уяснением факторов развития народной жизни в условиях капитализма, усиливающегося расслоения русского общества, а более всего – с «умственной деятельностью русского народа», с позитивными результатами «борьбы народных принципов с влиянием капитала...». Литературные и художественно-документальные произведения писателя, создававшиеся в первой половине 1880-х

годов, показывают, что он обратился к почти научному, художественно-социологическому анализу «итогов» первых пореформенных десятилетий, обнажая конфликты времени во имя поисков путей к преодолению «всеобщей неправды». И в этом он был не одинок. Более того, он развивал традиции демократической беллетристики 1860-х годов (Н. В. Успенский, В. А. Слепцов, М. А. Воронов, А. И. Левитов, Н. Г. Помяловский, Ф. М. Решетников и др.), шёл в одном направлении с писателями-народниками (С. Каронин, П. В. Засодимский, Н. Н. Златовратский, Н. И. Наумов и др.) и близкого к ним Г. И. Успенского. Примечательно, что герои Якова Абрамова – «мещанские мыслители» – в своём духовном развитии проходят нравственную школу именно этих беллетристов-демократов, читая их произведения. Писатель изображал людей из мещанской среды, ищущих нравственный смысл жизни и пути к осуществлению идеалов социальной справедливости (рассказы «Механик», «Мещанский мыслитель», «Гамлеты – пара на грош»). Он показывал расслоение в деревне, формирование «типа деревенского кулака» («коммерсанта»), обнищание «обираемых мужиков» и городской бедноты, «разорение и закабаление населения» («В степи», «Как мелентьевцы искали воли», «Корова»), усиление власти денег, капитала, появление «культы золотому тельцу» и утрату «чистой совести», «гуманных привычек». Тип «деревенского кулака», «коммерсанта», «капиталиста», недавнего крестьянина-общинника, воссозданный в таких повестях и рассказах, как «В степи», «Бабушка-генеральша», «Ищущий правды», «Неожиданная встреча» и др., характеризуется отсутствием всякой «гражданской ответственности»: его «деятельность» подчинена одной цели – «наживе», и с этой целью он «эксплуатирует все отрасли народного труда», занимается «ростовщичеством



и торговой эксплуатацией», скупает «пожалованные... военным и чиновникам земли», «прибирает к рукам “мир”» («В степи»).

Ещё в 1860-е годы М. Е. Салтыков-Щедрин по достоинству, высоко оценивал творчество многих беллетристов-демократов, в частности, Н. Г. Помяловского, В. А. Слепцова, Н. А. Благовещенского. Даже «коротенький рассказ» В. А. Слепцова «Питомка» был для Щедрина «гораздо драгоценнее, нежели целое литературное наводнение, выданное г. Писемским под названием “Взбаламученное море”». Подобно своим предшественникам – писателям-демократам шестидесятых годов, Я. В. Абрамов рассматривал художественную «правду без всяких прикрас» (Н. Г. Чернышевский) как выражение глубокой заинтересованности писателя в развитии «народной жизни», в пробуждении самосознания общества, как вклад в реальную помощь крестьянству, в оздоровление нравственных основ народного мирозерцания. М. Е. Салтыкова-Щедрин привлекало творчество Я. В. Абрамова именно его связью с традициями объективного анализа жизни и поисками конкретных форм «работы в народе».

Синтез «трезвой, реальной правды» (М. Е. Салтыков-Щедрин) в художественном исследовании общественного, экономического, нравственного состояния деревни, закономерных трансформаций в социальной психологии общинника, с одной стороны, и аналитического изображения жизни в системе экспериментальной поэтики, – с другой, определил черты творческой индивидуальности Абрамова-писателя.

«Невероятность», «фантастичность» пришедшей в движение русской жизни пореформенной поры в произведениях Я. В. Абрамова приобретает характер всеобщности, несводимости к быту: его герои выбиты из «наезженной колеи», из привыч-

ной системы ценностей, они видят, что «мир во зле лежит» («Мещанский мыслитель»), что люди перестали «жить по правде» («Бабушка-генеральша»), что рушатся устои «мира», «общества» («Ищущий правды»), распадается патриархальная семья. «Фантастичность» явлений общественного быта и облик «хозяев жизни» у Я. В. Абрамова не случайно маркируются щедринскими образами-символами Угрюм-Бурчеева («Неожиданная встреча»), Деруновых, Разуваевых, Колупаевых («Программа вопросов для собирания сведений о русском сектантстве»). Отвечая на вопрос «Для чего пашет землю русский крестьянин?», Я. В. Абрамов использовал прежде всего опыт сатирика М. Е. Салтыкова-Щедрина: «...Для набивания мошны Колупаевых и Разуваевых, Фишеров и Бобринских...».

Очерки-портреты «коммерсантов» появляются в произведениях Я. В. Абрамова в связи с анализом механизма формирования типа кулака, исследования «системы», которая позволяет одним «обирать» и «закабалать» других («В степи»). И вновь он обращается к сатире великого писателя. Художник-социолог буквально изучает психологию «грабителей» периода «накопления», механизмы ограбления народа, которые М. Е. Салтыков-Щедрин маркирует концептами «отдай» и «пропала совесть».

В апреле 1884 года журнал «Отечественные записки» был запрещён, поскольку, как говорилось в официальном сообщении, «открывал свои страницы распространению вредных идей...». До сих пор остаётся не выясненным, как отразились на судьбе журнала яркие, содержательные анализы внутренней жизни России, с которыми выступил Я. В. Абрамов на страницах того номера, которому суждено было стать последним. Закрытие «Отечественных записок» резко изменило судьбу и М. Е. Салтыкова-Щедрина, и многих сотрудников этого



издания. В конце марта 1885 года Щедрин писал Г. З. Елисееву: «Все работали, мнили себя чем-то – и вдруг все оказались за флагом и убедились, что никому до них дела нет... Михайловский, Абрамов и проч. положительно нигде места себе найти не могут. И все эти люди в полном цвете лет. Прежде хоть надежда на просвет была, а теперь всё, положительно всё заглохло... Скабичевский, Абрамов и Южаков почти нищенствуют...». Хотя Я. В. Абрамов вскоре оказался в числе ведущих сотрудников гайдебуровской «Недели», его идейные и творческие связи с М. Е. Салтыковым-Щедриным не прерывались и не ослабевали. «"Деревня", придуманная "Неделей"» (И. С. Тургенев), не могла «ослепить» молодого сотрудника этой газеты: Яков Абрамов в отличие от тех легальных народников, с которыми его часто отождествляют, хорошо знал истинное положение дел в деревне. В своих ярких, темпераментных статьях он обращался к демократически настроенной интеллигенции с призывами «идти в народ», «распространять технические сведения в народе», способствовать «подъёму производительности народного труда», осуществлять «народно-просветительскую, организационно-врачебную и иного вида культурную деятельность» в земских учреждениях. В рассказе «Гамлеты – пара на грош» (1882) Абрамов выразил своё неприятие основной идеи «русских марксистов», которые утверждали, что «воцарение капитала» и «скорейшее разорение и закабаление народа» приведёт к осознанию им «необходимости переустройства жизни на новых началах». Он, как и Салтыков-Щедрин, был убеждён, что некоторые «последовательные марксисты» вульгаризировали учение К. Маркса.

В анализе общественно-литературной ситуации последних десятилетий XIX – начала XX века идейным ориентиром для публициста-просветителя

оставались мировоззренческие позиции М. Е. Салтыкова-Щедрина, «голосу которого, – по словам Я. В. Абрамова, – внимала вся Россия». В своих воспоминаниях о Щедринах как «деятельном бойце слова» он поставил вопрос о значении творчества великого сатирика для русской культуры, говорил о «могучей силе таланта» автора «Истории одного города», «Пошехонской старины» и других произведений, которые «читались и читаются всей образованной Россией». В собственной литературной деятельности Я. В. Абрамов последовательно и целеустремлённо следовал принципу эстетики М. Е. Салтыкова-Щедрина, суть которого, по словам Г. А. Лопатина, заключалась в том, что писатель призван «помогать людям разбираться в... трудных вопросах жизни», «освещать тьму, их окружающую».

В произведениях Я. В. Абрамова нашли отражение процессы появления первых симптомов сознательного протеста, пробуждения чувства личности, того «роста русского человека», о котором М. Е. Салтыков-Щедрин писал в статье «Напрасные опасения». Изображение «подъёма чувства личности», обусловленного разложением «старого строя жизни», молодой писатель осуществлял в специфических формах щедринского психологизма и его социальной типизации, путём изображения истоков и причин поступков героев, их реакций на всё, происходящее в обществе. «Работа мысли» всех героев Я. В. Абрамова, «ищущих правды», приводит их к выводам о том, что «так жить нельзя», к уяснению причин укрепления «новых порядков», увеличения «численности босой команды», «голоштанников» (по словам разорённого крестьянина, героя «Неожиданной встречи»), то есть тех, кто составляет «особый класс людей, дошедших до последней ступени бедности, на какой только может существовать человек». «Громадные мас-



сы» людей, – писал Я. В.Абрамов в статье-очерке «Босая команда», – находятся в таком положении, что «ум отказывается верить, воображение – представить, чтобы было возможно подобное ужасное существование». Лучшие герои писателя ищут ответы на вопросы, почему невозможно жить «по дружбе, по любви, по совести». И в этом Я. В. Абрамов тоже следовал традициям М. Е. Салтыкова-Щедрина, его манере освещения действительности в свете «скрытого» идеала, при активном проявлении заданности утверждающего начала в системе, казалось бы, доминирующе-обличительного изображения противоречий современной жизни. В просветительской устремлённости Щедрина к идеалу социальной гармонии, разумности общественного мироустройства проявлялась демократическая позиция писателя, его стремление к формированию литературными средствами общественного самосознания, веры в достижимость гражданских свобод личности. Это воспринималось Я. В. Абрамовым, как можно судить по его воспоминаниям о работе сатирика в журнале «Отечественные записки», в качестве программы, определяющей «обязанность каждого интеллигентного человека... работать над облегчением материальной нужды народной массы и духовным просветлением её».

Поскольку оценка Я. В. Абрамовым опыта предшественников является существенной стороной его творческой программы, основой художественного новаторства, то усвоение и обогащение традиций М. Е. Салтыкова-Щедрина в произведениях писателя предстаёт как процесс целенаправленный, вполне осознаваемый, являющийся фактом его самоактуализации в литературной деятельности.

О детской литературе и "крякающих комариках"

В детской краевой библиотеке им. А. Екимцева был назначен методический вебинар по теме «В Год литературы о детской литературе: взгляд на актуальные проблемы». Когда мне предложили принять в нём участие, я с готовностью согласилась, поскольку означенная в повестке дня тема меня давно и живо интересует. Но прежде хочу разъяснить смысл термина «вебинар», который заставляет переспрашивать, как только услышат: «что-что? Повторите по буквам...» Так же переспрашивала и я. Но когда в конференц-зале библиотеки увидела экран, на который проецировалась картинка с изображением присутствующих, стало ясно: слово «вебинар» понятийно связано с «веб-камерой». А это устройство хорошо знакомо пользователям виртуальной сети, которые в массе охотно беседуют со своими знакомыми по скайпу, тут уж ничего объяснять не надо.

В нашем случае принцип общения похож на скайповый,



**ЕЛЕНА
ИВАНОВА**

*Литературо-
ведение*





только обратная связь ввиду множественности слушателей, для которых транслировалась озвученная картинка, осуществлялась в чате: все участники вебинара, сотрудники детских библиотек края, могли задавать вопросы, делать какие-то высказывания в виде посланий по электронной почте.

А теперь о самом онлайн-семинаре, которым по сути являлось это очень интересное и полезное в познавательном отношении профессиональное общение специалистов в области детского чтения.

Было озвучено шесть сообщений, все они при разнообразии тем сводились к одному: как эффективнее сделать работу с детским читателем, как преодолеть те непростые проблемы, которые встают сегодня перед сотрудниками библиотек.

Я с большим интересом выслушала все сообщения, радуясь в душе: судя по всему, в нашем крае у детской книги, претерпевающей невыгодное для неё соперничество всемирной паутины Интернета, есть великолепные, профессионально подготовленные, творчески мыслящие защитники и пропагандисты. А вот с чем им сегодня приходится порой работать, с книгой какого содержания и литературно-художественного качества – ещё одна животрепещущая тема, именно мне и предстояло высказаться на эту тему.

Беседа длилась уже третий час, когда мне дали слово. Понимая, что наши слушатели по ту сторону экрана уже переполнены информацией и впечатлениями, я вынуждена была высказаться немногословно и лаконично, тогда как хотелось сказать многое. Ограничилась ответной реакцией на тот посыл, который содержался в одном из сообщений.

Библиотеки, стремясь приобщить детей к чтению, охотно приглашают на встречи с ними «писателей». В нашем случае были названы имена трёх

безвестных авторов, которые не значатся в списке ни краевого отделения Союза писателей России, ни регионального отделения Союза российских писателей. Лично я довольно скептически отношусь к этому самому списку, поскольку член творческого союза и писатель – для меня понятия отнюдь не тождественные. Мне помнится, как Александр Ефимович Екимцев, уже тогда сложившийся мастер слова, ещё лет сорок назад в беседе со мной сетовал на то, что творческий союз превратился в некое подобие профсоюза. Требования при приёме снижены донельзя и членство в Союзе писателей перестаёт быть объективным признанием профессионализма обладателя писательского звания. А в годы перестройки и те, что последовали за ней, когда литературное дело перестало быть заботой государства и оказалось отданным на откуп частным лицам, и вовсе требования при приёме оказались ниже среднего уровня. В творческий союз устремились, как говорится, все, кому не лень.

Много лет назад, будучи начинающим автором, на одном из краевых семинаров для молодых я навсегда запомнила прозвучавшее высказывание одного из наших наставников, Евгения Васильевича Карпова. По его словам, Лев Николаевич Толстой стеснялся называть себя писателем – так высоко ценил он значение миссии таланта, владеющего Словом. А в наше время званием «писателя» мы не долго думая одариваем каждого, кто напечатал свои словесные упражнения в стихах или в прозе. Принцип же ныне таков: были бы деньги, а напечатать можно всё что угодно.

В прошедшем году в Ставропольском крае было выпущено в свет около семисот наименований изданий (!). Когда эта цифра была озвучена на онлайн-семинаре, слышались разочарованные



возгласы: «Мало!..» Меня же такое сообщение привело в полное уныние, поскольку качество подобной литературы от любителей водить пером по бумаге мне хорошо знакомо.

Да, сегодня, к глубокому сожалению, издаётся, пусть и мелкими тиражами, огромное количество печатной продукции, выдаваемой за художественную литературу, которая годится разве лишь для утилизации в виде макулатуры. И авторы этих сомнительного качества изданий охотно идут в школы, в библиотеки. Заметьте, чем менее одарён человек, тем больше он стремится к популярности, известности хотя бы в пределах своего микрорайона. И вот результат.

Когда опросили юных посетителей той библиотеки, которая охотно представляет детям сочинителей с улицы, кого они знают из писателей, ребята, естественно, назвали имена трёх представившихся им самодеятельных авторов.

Стоит ли радоваться тому, что дети не знают Пушкина, но зато имели счастье лично лицезреть некоего Пупкина? На этот мой риторический вопрос аудитория ответила дружным смехом. Да я что-то и не припомню, чтобы Александр Сергеевич ходил по лицам и гимназиям, библиотекам и читал свои стихи. Его произведения как-то сами собой находили путь к сердцам читателей, как взрослых, так и детей. Писательский труд требует полной самоотдачи, сосредоточенности на внутренней работе ума и души. А создание книг для детей – дело ещё более ответственное, чем работа на взрослого читателя.

Сознание ребёнка – это чистый лист; что мы напишем на нём, то и останется с ним навсегда. Именно поэтому признанный мастер детской литературы К. И. Чуковский сказал: «Для детей нуж-

но писать так же, как для взрослых, только гораздо лучше».

А как надо писать для взрослых? И как это – ещё лучше? Что вообще в литературе хорошо, что плохо? В чём состоит художественное мастерство писателя? Должна ли литература воспитывать? Если да, должна, то как именно? Этими и ещё множеством других вопросов задаётся истинно одарённый человек в самом начале своего творческого пути, ищет на них ответы, анализирует лучшие образцы творений признанных мастеров слова, мучительно бьётся над каждой строкой, стремясь к совершенству.

В то же время невежественный сочинитель, мнящий себя не иначе как самородком, никакими такими вопросами не задаётся и недоумевает, когда ему говорят: нет, это не то, что надо! Ведь и взрослым, и детям нравится... Как тут не вспомнить высказывание А. П. Чехова: «Стать писателем очень нетрудно. Нет такого уroda, который не нашёл бы себе пары, и нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя». В особенности легко обмануть восприятие ребёнка: у маленького читателя, слушателя ещё не сформирован художественный вкус, нет, естественно, и критического отношения, он с полным доверием относится ко всему, что исходит от взрослого.

И наши сочинители дуют в свою дуду, не смущаясь той чепухой, которую насыпают в уши наивным ребятишкам. Вот, к примеру, стихи от некоей «бабушки Нади»:

*Захотел с икоркой блин,
Поезжай на Сахалин –
Там икры полно, не счесть,
Можно даже ложкой есть.*



Может, на Сахалине ещё и булки на деревьях растут? В таком случае не надо трудиться и блины печь: срывай сразу калач с ветки и икрой зернистой намазывай. Ну, а если в действительности так не бывает, есть же ещё такой жанр – небылицы. Иные авторы понимают этот жанр как дозволение нести всякую чушь, не заботясь о причинно-следственных связях между изображаемыми предметами и явлениями. Помню, как В. И. Сляднева, когда была членом экспертного совета, впечатлившись шедеврами стихотворчества, буквально заходилась смехом, цитируя: «Мухи и комарики *крякают!* – кошмарики». Шедевр принадлежит между прочим перу члена Союза писателей России – это ли не наглядный пример того, что звание не страхует от творческих неудач.

Или вот ещё образчик того, как не надо писать для детей, а написал, опять-таки, «профессионал» – член СП, призывая ребятишек: «Полюби молоко – с ним живётся легко!». А если «не выпил бы каждый стакан молока», вот что было бы:

*...И взрослые б тоже пустили слезу:
«Свело поджелудочную железу...»
«Ах, печени тяжко...» «Сосуды болят...»
«От коликов в почках туманится взгляд...»*

Да, так и напечатано: «От коли**ков**». А чего стоит вот это весьма «благозвучное» звукосочетание: «И взрослые **б** ...»

Думаю, приведенных примеров достаточно, чтобы нам с обоснованной мерой осторожности относиться к тому словотворчеству, которое несут детям современные сочинители, как самодеятельные, так и титулованные.

Нельзя без боли душевной думать о том, что сегодня происходит никем и ничем не сдерживае-

мый процесс замещения подлинной литературы её суррогатами. И это настоящее бедствие современности. Оно ведёт к тому, что наше время с большой долей вероятности не оставит после себя ничего достойного в области литературно-художественного творчества. Существует опасность, что в мутном потоке псевдолитературы растворится и то ценное, что было создано мастерами слова предшествующих поколений.

И тут я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что заслуживающие внимания произведения для детей мы должны искать именно в нашем литературном наследии. Оно у нас в крае вовсе не бедное, и отнюдь не устарело. Стихи, к примеру, Александра Екимцева, чьё имя заслуженно носит краевая детская библиотека, образные, идущие от природного естества, нужны маленькому читателю сегодня ещё больше, чем вчера. Дело в том, что под влиянием технического прогресса, информационных технологий у детей формируется «клиповое» сознание, способное превратить ребёнка в эмоционально бедное существо, в некоего киборга. Вот почему участники онлайн-семинара живо поддерживали тех, кто утверждал необходимость давать детям литературу, обращённую к душе. Чтение не ради только приобретения нужной информации, знаний, но для удовольствия, нравственного и эстетического удовлетворения – вот чего сегодня недостаёт нашим детям.

Все присутствующие на семинаре сошлись в едином мнении, что назрела необходимость создать в крае издательскую программу «Литературное наследие», чтобы дать читателю, и в первую очередь, детскому, лучшие образцы литературно-художественного творчества наших талантливых писателей, ушедших из жизни. Сегодня в фондах



библиотек остались единичные экземпляры книг даже такого признанного и широко издававшегося в своё время классика детской литературы, как Александр Екимцев. А вслед за ним можно назвать и другие имена: Леонид Епанешников, Михаил Усов, Виктор Колесников, Анатолий Линёв, Михаил Маликов... К глубокому сожалению, забытые имена.

Сведения об авторах

Головко Вячеслав Михайлович. Родился в 1944 году. Известный российский литературовед, исследователь жизни и творчества Марины Цветаевой. Доктор филологических наук. Профессор. Автор более 250-ти научных и литературоведческих работ. Лауреат общероссийских и литературных премий. Член Союза российских писателей. Живет в Ставрополе.

Иванова Елена Львовна. Родилась на Брянщине. Окончила факультет журналистики МГУ. Работала в газетах, на телевидении. Автор десяти сборников стихотворений. Член Союза писателей СССР и России. Лауреат премии губернатора Ставропольского края. Живет в Ставрополе.

Маркелов Николай Васильевич. Родился в 1947 году. Окончил филологический факультет МГУ. Автор многих книг и публикаций, посвященных истории Кавказа и связанных с ним выдающихся соотечественников. Член Союза писателей России. Лауреат престижных литературных премий. Награжден Золотой медалью Международного фонда имени Лермонтова. Живет в Пятигорске.

Касперский Станислав Шакирович. Родился в Новочеркасске в семье офицера Красной Армии. Окончил филологический факультет Саратовского госуниверситета. Сотрудничал во многих газетах и журналах СССР и России. Автор многих книг стихотворений и прозы. Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.

Крыласов Владимир Георгиевич. Родился в 1949 г. в Пермской области. Окончил сельскохозяйственный техникум. Сменил несколько профессий. Долгие годы занимается собиранием устного фольклора. Автор двух книг «Истории и сказы Ставрополья». Живет в посёлке СНИИСХ Шпаковского района.

Кустов Виктор Николаевич. Родился в 1951 году в Смоленской области. Прозаик. Журналист. Драматург. Лауреат премии «Литературный Олимп». Глав-



ный редактор журнала «Южная звезда». Член Союза писателей России. Живет в Ставрополе.

Мосинцев Александр Федорович. (1938 – 2010). Родился в селе Китаевском на Ставрополье. Окончил горный техникум и Литературный институт им. М. Горького. Выдающийся современный поэт, близкие творческие отношения связывали его с Николаем Рубцовым и Юрием Кузнецовым. Автор многих поэтических сборников и публицистических книг. Лауреат премии губернатора Ставропольского края. Воспитатель целой плеяды известных литераторов

Окенциц Наталья Владимировна. Родилась в Киргизии. Окончила Ставропольский электротехникум связи. Автор нескольких поэтических сборников, песенников и детских книг, публикаций в периодике. Член Союза писателей России. Живет в Михайловске.

Подольский Станислав Яковлевич. Родился в 1940 году в Кисловодске. Окончил Новочеркасский политехнический институт. Автор многих книг стихотворений и прозы. Признанный воспитатель литературной смены. Член Союза российских писателей. Живет в Кисловодске.

Сургучев Илья Дмитриевич. (1881 – 1956). Выдающийся русский писатель, драматург, публицист. Родился в ставропольской купеческой семье. Первый рассказ опубликовал в 1906 году в «Журнале для всех». Большой успех и известность в стране принесли роман «Губернатор» и пьеса «Осенние скрипки», поставившие его в один ряд с классиками отечественной словесности. Нынешняя публикация романа «Ротонда» – это первое знакомство российских читателей с замечательным произведением нашего земляка на страницах альманаха.

Шевякин Анатолий Николаевич. Родился в 1950 году в станице Филимоновской на Ставрополье. Окончил Ставропольский пединститут. Публиковался в периодике, в альманахе «Ставрополье». Автор поэтического сборника «Кто же я?» Живет в Ставрополе.